

*НОВЫЙ
Журнал*



*THE NEW
REVIEW*

Нью-Йорк

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, July 2, 1946 and June 11, 1960 (74 Stat. 208) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1960.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 25, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issue). 1117.

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 29th day of September, 1960, James Sweetman, Notary Public, State of New York, Qualified in New York County, My Commission Expires March 30, 1961.

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцатый год издания

Кн. 64
1961

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, June 1961

Quarterly, No. 64

2700 Broadway, New York 25, N. Y.

Subscription Price \$9. — for one year

Publisher: New Review, Inc.

*Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.*

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

| | |
|---|-----|
| <i>Ив. Бунин</i> — Десятого сентября | 5 |
| <i>Зинаида Гиппиус</i> — Четыре стихотворения | 8 |
| <i>Д. Мережковский</i> — Св. Иоанн Креста | 10 |
| <i>Олег Ильинский</i> — Пять стихотворений | 45 |
| <i>Сурен Санинян</i> — Ксения | 49 |
| <i>Ирина Одоевцева</i> — Два стихотворения | 69 |
| <i>В. С. Яновский</i> — Заложник | 72 |
| <i>Алексис Раннит</i> — Три стихотворения | 100 |
| <i>Георгий Адамович</i> — Table Talk | 103 |
| <i>А. Величковский</i> — Четыре стихотворения | 117 |
| <i>Н. Берберова</i> — Великий век | 119 |
| <i>Вл. Смоленский</i> — Таисии Смоленской (стихи) | 141 |
| <i>В. Вейдле</i> — О ранней прозе Пастернака | 144 |
| <i>Ек. Таубер</i> — «Розы или рожь?» | 151 |

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

| | |
|--|-----|
| <i>Н. Н.</i> — Дневник разочарованного коммуниста | 159 |
| <i>В. Н. Муромцева-Бунина</i> — Беседы с памятью. Италия | 205 |
| <i>А. Седых</i> — М. А. Алданов | 221 |

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

| | |
|---|-----|
| <i>В. Некрасов</i> — «Московские чудаки» | 238 |
| <i>Гр. Аронсон</i> — С. М. Дубнов, как историк | 254 |
| <i>Н. С. Тимашев</i> — Вместо комментария | 267 |
| <i>Т. И. Троянов</i> — Новый уголовный кодекс РСФСР | 275 |

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

| | |
|---|-----|
| <i>Юрий Арбатский</i> — Humanitas Heroica | 287 |
|---|-----|

БИБЛИОГРАФИЯ:

| | |
|--|-----|
| <i>Д. Шуб</i> — R. Daniels. The Consience of the Revolution. Вяч. Завалишин — Л. Т. Осипова. Явное рабство и тайная свобода. | |
| <i>А. Yarmolinsky. Literature Under Communism</i> | 292 |
| Книги для отзыва | 301 |

ДЕСЯТОГО СЕНТЯБРЯ*

Почти все дачи были уже пусты, шло начало сентября, на сад, на желтые клены то и дело шумно сыпал крупный дождь, всё сквозь солнце и быстро стихавший. Отец и мать говорили, что пора возвращаться в Москву, — она отвечала холодно и небрежно:

— Ступайте хоть завтра. Я раньше десятого не поеду.

По целым дням она лежала на диванчике, в комнате рядом с гостиной, с шалью на плечах, с книгой в руке, то бессознательно читая, то упорно глядя своими красивыми коровьими глазами на желтизну сада за окнами. Мягкая коса заплетена кое-как, слегка опухшее лицо бледно. Дни в молчаливом доме, где жили только отец, мать, старая нянька и молодой лакей, шли медленно, однообразно и так же медленно и однообразно шли в ней всё одни и те же чувства, мысли, воспоминания — о том постыдном, что случилось с ней летом и казалось ей самым значительным в мире. Порой она мрачно-насмешливо ухмылялась, подбирая ноги, одергивала подол: да, если бы кто знал, глядя на эту серую юбку то, чего вот-вот уже не скроешь!

Масальский каждый день заходил часа в четыре. Вот слышно, как он бодро говорит в лакейской:

— Здравствуйте, Сергей. Дома?

* Этот рассказ прислан нам В. Н. Буниной из архива И. А. Рассказ печатается впервые. РЕД.

— Князь с княгиней только что вышли на прогулку.

— А княжна?

— Дома-с.

Потом шаги в гостиной и притворно простой голос:

— Княжна, можно к вам?

Ей казалось, что он знает дачные сплетни о ней, то, что она брошена, обманута и даже то, что недаром решила не возвращаться в Москву до десятого сентября: догадывается, что она назначила на этот день последнее ожидание ответа на все ее безответные письма в лагерь под Петербургом и в Петербург. Но приход Масальского всё-таки доставлял удовольствие, — он давно был тайно влюблен в нее, был с ней неловко весел, над ним можно было издеваться, и она медленно отзывалась:

— Милости просим.

Он весело входил:

— Здравствуйте, княжна. Чудная погода, а вы всё с книжками!

Она презрительно пожимала плечом.

— А вы всегда с одними и теми же фразами. И не вижу ничего чудесного в том, что льёт с утра до вечера.

— Да ведь льёт с антрактами, — грибной дождь, как говорит ваша нянюшка... И очень хорошо, что вы не уезжаете.

— И совсем нехорошо, что вы тоже не уезжаете. Почему позвольте спросить?

Он сел на кресло возле диванчика, глядел на ее поджатые ноги, — подозрительно, как ей казалось, — и шутя повторял ее слова:

— Я раньше десятого не поеду.

— Не остроумно, — брезгливо говорила она.

Раз он сказал (тоже с легкой усмешкой):

— Не помню, чьи это стихи: «Как идет к вам эта бледность, этих дней осенних бедность!»

Она подняла на него свои коровьи глаза и спокойно ответила:

— Как идет к вам ваша глупость! Прошу вас и даже требую: не соваться десятого со своими услугами при нашем отъезде.

Десятого он уехал в Москву утром. А перед вечером, когда старенький, маленький князь и рослая, большеликая княгиня, уже одетые, с зонтиками в руках, сидели в опустевшем доме, из которого выносили последнюю мебель, когда они покорно ждали выхода дочери, за домом кто-то вдруг радостно закричал что-то, потом с топотом пробежали мимо окон в сад мужики, нанятые везти мебель в Москву, а впереди них какой-то резвый босоногий мальчишка...

Из пруда за садом ее вытащили баграми только в сумерки, с трудом принесли в дом и положили, мокрую, ледяную, тяжелую, с синим лицом, на голом полу в пустой гостиной, темно освещенной чьей-то кухонной лампочкой.

Ночью шел уже ровный, затяжной осенний дождь.

Москва, 1903 г.

Ив. Бунин

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ*

1

Никогда не читайте
Стихов вслух.
А читаете — знайте:
Отлетит дух.

Лежат, как скелеты,
Белы, сухи...
Кто скажет, что это
Были стихи?

Безмолвие любит
Музыка слов.
Шум голоса губит
Душу стихов.

2

Не скажу тебе ничего.
Юный месяц круглится тонко.
Тяжело обмануть — но всего
Тяжелей обмануть ребенка.

Спаси меня от меня.
Снова сны древние снятся.
Но в кольце твоего огня
Я хочу ничего не бояться.

* Эти стихи З. Н. Гиппиус печатаются впервые. Они присланы нам В. А. Злобиным. РЕД.

3

Люблю огни неугасимые,
Любви заветные огни.
Для взора чуждого незримые,
Для нас божественны они.

Пускай печали неутешные,
Пусть мы лишь знаем, — я и ты, —
Что расцветут для нас нездешние,
Любви бессмертные цветы

И то, что здесь улыбкой встречено
Как будто было не дано,
Глубоко там уже отмечено
И в тайный круг заключено.

А Р Ф А

Откуда плывут эти странные звуки?
В них горечь свиданья, в них тайна разлуки,
На здешнюю муку нездешний ответ.
Из дальних покоев волна их струится.
На арфе любимой играет царица,
Жена Александра — Елизабет.
На струнах лежат ее нежные руки
И падают, падают легкие звуки.
Их ангел как будто на крыльях принес.
Но падают тихими каплями слез.

3. Гиппиус

СВ. ИОАНН КРЕСТА*

СВ. ИОАНН КРЕСТА И МЫ

Бог есть Личность, — этот религиозный опыт христианства и всего духовного движения, подвопившего человечество к христианству, нужен, как никому, людям наших дней, когда бытию человеческой личности угрожает, как нигде и никогда в истории человечества, воля к безличности.

Личность будь для человека
Высшим благом на земле.
Höchstes Glück der Erdenkinder
Sei nur die Persönlichkeit, —

это слово Гёте, и еще другое:

Никаких потерь не бойся, —
Только будь самим собой.
Alles könne man verlieren
Wenn man bleibe, was man ist, —

эти два слова, повторяемые, как звук повторяется отзывными гулами глубоких пещер, — два остерегающих, — слова сказаны, может быть, не случайно, а именно тогда, — в первой четверти XIX-го века, когда началось то духовное движение — антихристианство, — которое привело к этой воле к безличности почти всю Европу и грозит привести к ней весь мир.

* Эта, впервые публикуемая, работа Д. С. Мережковского о св. Иоанне Креста была им написана во время последней войны. Рукопись прислана нам В. А. Злобиным из архива Мережковских.

Можно ли уничтожить человеческую личность так, чтобы свести ее к безличности не только муравья, но и зернышка паюсной икры, или даже единицы механических сил?

Если можно, то безличность непобедима, а если нельзя, то рано или поздно, в мире духовном произойдет нечто подобное тому, что происходит в мире физическом при «расщеплении атома»: взорвана будет стальная броня безличности разрядом бесконечных сил, заключенных в атоме неистребимой Личности, и чем крепче была сжимавшая ее броня, тем сокрушительнее будет взрыв.

Если когда-нибудь люди устанут приносить жертвы Молоху войн, сами кидаться и кидать других в его раскаленное докрасна, железное чрево, то вспомнят они религиозный опыт христианства: Бог есть Личность, — и поймут, что ничем иным, кроме этого опыта, не может быть потушен огонь, раскаляющий чрево Молоха, — воля к безличности.

И когда люди это поймут, то почувствуют, как единственно близок и нужен им тот человек, который, обнажая до последних глубин метафизические корни человеческой личности, ее первозданный гранит, это сделал так, как может быть никто никогда не делал за две тысячи лет христианства. Этот человек св. Иоанн Креста.

«Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла... Кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». (Мт. 21, 42:44).

Камень, отвергнутый строителями тоталитарной государственности, — божественная Личность Христа, — и есть тот вечный гранит, на котором человеческая личность непоколебимо основана. Лучше этого нельзя понять, чем по религиозному опыту Св. Иоанна Креста: вот почему, когда начнется освобождение человеческой личности, он будет людям нужнее, чем кто-либо.

Рано или поздно исполнится притча о злых виноградарях, потому что «небо и земля прейдут, а слова Его не прейдут»:

«Сына увидев, виноградары сказали друг другу: пойдем, уьем его и завладеем виноградниками.

И, схватив его, вывели вон из виноградника и убнили.

Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?

Говорят Ему: «злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». (Мт. 21, 38-41).

«Сына выгнали вон из виноградника», значит выключили из всего строения человеческой жизни божественную Личность Христа, а вместе с Нею — и личность человеческую; «Сына убили», значит убили или хотели бы убить божественную Личность Христа, а вместе с Нею — и человеческую личность. Но Отец придет и казнит убийц Сына. Это в религиозном опыте св. Иоанна Креста предчувствуется так, что, когда это начнет совершаться, то он будет опять-таки нужнее людям, чем кто-либо.

2

Самое личное из всех человеческих чувств — любовь, потому что только любящий видит в любимом то единственное и неповторяемое в вечности и потому драгоценнейшее, что делает возможного человека действительным, делая его личностью. Эта то единственность человеческой личности и есть признак ее Божественности, потому что Бог един. Но Он же есть и любовь: вот почему величайшее в мире явление Личности, — Христос, есть и величайшее явление любви.

«Отче праведный! и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня... да любовь которою Ты возлюбил Меня, в них будет и Я в них». (Ио. 15, 12; 17, 25-26).

Самое личное чувство — любовь, а самая личная любовь — брачная, потому что личности во всякой другой любви только сближаются, но остаются разделенными в последних глубинах своих преградою плоти, а в брачной любви падает эта преграда, и личности духовно-плотски соединяются, входят друг в друга. Полная личность не в духе и не в плоти, а в соединении духа с плотью: вот почему полноты своей дости-

гает личность не в одном духовном, и не в одном плотском, а в духовном и плотском вместе соединении брачной любви.

Но в религиозном опыте христианской мистерии брачная любовь — только малая, здесь на земле, видимая зарница невидимой великой грозы; человеческий брак — только вещное знамение, символ того, чему в Елевзинских таинствах, на этой ближайшей к христианству вершине всего до-христианского человечества, дано то же имя, как и в христианской мистерии: **Теогамия, Богосупружество**. И это совпадение имен не случайно, если, по слову Св. Августина, «в мире всегда было то, что, по явлении Христа во плоти, люди назвали христианством», и если, по слову Шеллинга, «всемирная история есть эон, чье единственное содержание, причина и цель — Христос».

Высшая точка всего религиозного опыта св. Иоанна Креста есть «брак души человеческой с Богом», их «совершенное соединение в любви»:

О, ночь, меня ведущая,
Желаннее зари!
О, ночь, соединившая
Возлюбленную с Любящим!
О, ночь, преобразившая
Любимую в Любимого!

Эта «желанная ночь» и есть тайна Богосупружества.

В райский сад... Супруга вошла...
И сколько хочет, покоится
В объятьях Любимого.

«Супруга» — душа человеческая, а «Любимый» — Сын Божий. Вот почему и ап. Павел учит: «будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я же говорю о Христе и о Церкви» (Еф. 5, 31-32). Церковь — Невеста, а Жених — Христос. Так, на брачной, наиболее личной любви строится жизнь не только каждого человека в отдельности, но и всего человечества в Церкви — Граде Божиим и человеческом вместе.

«В брачном соединении души человеческой с Богом, — учит св. Иоанн Креста, — происходит между ними прямое касание существа к Существо», личности к Личности. В Бого-

супружестве «достигается такое (личное) соединение Существа Божия с существом человеческим, что каждое из них как бы становится Богом... и хотя здесь, на земле, не может произойти такое соединение во всей полноте, но все-таки оно выше всего, что ум человеческий может постигнуть». Это и значит: весь путь человечества ведет к этой цели — к Бого-супружеству.

Крайнего напряжения достигает воля к Личности в наиболее личном и внутреннем, брачном соединении человека с Богом. Этот религиозный опыт переживает св. Иоанна Креста с такою силою, как, может быть, опять-таки никто, за две тысячи лет христианства, кроме св. Бернарда Клервосского, св. Франциска Ассизского и ближайшей спутницы Иоанна, его ученицы и учительницы вместе, св. Терезы Иисуса. Знает Иоанн Креста, что в брачном соединении «Бог сообщает душе... страшную силу». Сила эта и есть та бесконечная, никаким насильем непобедимая сила человеческой личности, которую взорвана будет при «ращеплении атома», — Личности, — воля к безличности наших дней. Вот почему, когда осуществляемая в христианстве воля к Личности начнет бороться с антихристианской волей к Безличности, то св. Иоанн Креста и в этом религиозном опыте своем — наиболее личном, брачном соединении души человеческой с Богом будет людям нужнее, чем кто-либо.

3

Но людям наших дней он так ненужен, так не существует для них, что им трудно поверить, что такой человек был. Самое противоположное им существо, их самый крайний духовный антипод — св. Иоанн Креста. Чтобы это почувствовать, стоит только сравнить две оценки знания — одну у св. Иоанна Креста, и другую у людей нашего времени. Знание, или вернее та низшая часть его, в которой изучаются только законы действующих в мертвой материи механических сил, заменяет людям сейчас то, чем некогда была для них религия. Люди наших дней верят в сверхъестественную силу знания почти так же

слепо и грубо-невежественно, как дикари — в колдовство. Если бы св. Иоанн Креста имел несчастье жить в наше время, то он понял бы жалкий обман такого знания. Один из первых основателей того, что мы называем «критикой познания», он понял, что человеческий разум вечно колеблется, как на двух чашах весов, между возможностью и невозможностью действительного, за покров явлений проникающего, знания; понял, что не знать для человека иногда нужнее, чем знать. «Нет ничего более соответственного разуму, чем его отречение от себя самого», скажет Паскаль, духовный близнец св. Иоанна Креста. «Нет ничего более соответственного знанию, чем его отречение от себя самого», мог бы сказать Иоанн. Люди думают, что день покрывается ночью; Иоанн знает, что наоборот:

Ночь покрывается днем,

как учит незапамятно-древняя, вавилонская клинопись; знает он что звездная ночь того, что другой духовный близнец его, св. Дионисий Ареопагит называет «Божественным Неведением», *Agnosia*, глубже, чем солнечный день человеческого знания.

Не зная куда, я молча вхожу,
и в незнании моем,
я выше всякого знания.
Не зная как, я вошел
в темное место, в беспричинное действие...
где кто-то что-то сказал мне великое,
и понял я, что незнание мое
выше всякого знания...
Смертная борьба в душе моей;
я самого себя уже не знаю;
я мое бежит от меня,
и пустота во мне бесконечная.
А всё же, в незнании моем,
я выше всякого знания.

Что́ это для человека наших дней, как не дикий лепет изувера или бред сумасшедшего? А вот нечто, еще более для него нелепое, антиподно-опрокидывающее всё:

Не легкого желай, а трудного,
 Не вкусного, а пресного...
 Не бóльшего, а меньшего...
 Желай не желать ничего.

Или это:

Чтобы вкусить от всего,
 Ничего не вкушай;
 Чтобы всё познать,
 Не знай ничего;
 Чтобы всем обладать,
 Не имей ничего;
 Чтобы сделаться всем,
 Будь ничем.

Если бы люди наших дней поняли, что это «изуверство» или «сумасшествие» может, сделавшись снова таким же заразительным, каким оно уже было некогда, при основании христианства, иметь для них необозримые последствия; что в этом «сумасшествии» заключена опасная взрывчатая сила, достаточная для «расщепления атома» — Личности; если бы люди наших дней это поняли, то не сожгли бы св. Иоанна Креста, как едва не сожгла его Св. Инквизиция, а только посадили бы в лечебницу для душевнобольных, как сделали бы, вероятно, и с Тем, Кто это «сумасшествие» начал, Сыном Божьим, — не удостоив Его, в наши дни, и креста.

Чтобы пережить антиподно-противоположный, «Преисподний опыт» св. Иоанна Креста, человеку наших дней надо, по евангельскому слову, в полном и страшном смысле его, «обратиться», «перевернуться», «опрокинуться», как бы сделать себе самому «антиподом». Но если бы он «перевернулся» так, то бывший «антипод» его, св. Иоанн Креста, оказался бы не в опрокинутом, а в естественном положении тела, и не страшно далеким от него, а страшно близким, нужным ему, как никто, чтобы помочь твердо стать на ноги и выйти под новое небо, на новую землю, — «Ибо мы (верующие во Христа), по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». (II Петр 13). Первая и последняя правда всего человечества, что Бог есть Личность — и человек тоже.

4

Самое страшное во всякой войне, это то, что люди сами кидаются и кидают других в раскаленное чрево Молоха, «летят на смерть, как мухи на мёд», по слову Тертуллиана о христианских мучениках.

Кажется, если бы столько жертв, сколько приносится войне, приносилось Тому, Кто сказал: — «мир оставляю, мир Мой даю вам; не так, как дает мир, Я даю вам». (Ио. 14, 27), то давно уже наступил бы вечный мир на земле, начало Царства Божия.

Может быть, людей, чувствующих ужас войны, больше, чем это кажется. Но сколько бы их ни было, всё достойное этого имени человечество — в них.

Ужас войны для них — ужас Гефсиманской ночи, наступившей для всего человечества: — «Начал ужасаться и тосковать... И пал на землю и молился». (Мк. 14, 33-35) — «И, находясь в борении, еще с большим усилием молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю». (Лк. 22, 44-45).

Весь «преисподний опыт» св. Иоанна Креста, всё что он называет так просто и глубоко «Темной Ночью», *Noche Oscura*, — есть Гефсиманская ночь. «Спящими от печали» нашел учеников своих в ту ночь Иисус. «Смертная мука Иисуса будет длиться до конца мира; в это время **не должно спать**», это знает Паскаль; знает и св. Иоанн Креста. Весь религиозный опыт его есть исполнение этой не исполненной мольбы Сына Божия о человеческой помощи: — «бодрствуйте со Мною». (Мт. 26, 38).

Весь религиозный опыт св. Иоанна Креста есть ни что иное, как прободрствованная с Ним одним, до конца мира бодрствующим, Гефсиманская ночь.

Если бы кто-нибудь из учеников бодрствовал в ту ночь и видел, как борется Сын до кровавого пота, — с кем, только ли с самим Собой, или также и с Отцом? — то, может быть, почувствовал бы то же, что чувствовал св. Иоанн Креста и

чем он жил всю жизнь.

«В эту Темную Ночь, уже невозможно... молиться, — вспоминает он, — а если всё-таки молишься, то с такой... безнадежностью, что кажется, Бог не слышит молитвы... Да и в самом деле, лучше тогда не молиться, а только лежа лицом в пыли, покорно и молча терпеть эту муку». Муку эту терпят сейчас те, кто не «спит от печали», а бодрствует и чувствует ужас войны, как Гефсиманскую ночь всего человечества. Вот почему им ближе и роднее, чем кто-либо, страдающий и бодрствующий с ними, в эту ночь, св. Иоанн Креста.

ЖИЗНЬ СВ. ИОАННА КРЕСТА

1

Меру человека дает жизнь его, — это общее правило для св. Иоанна Креста недействительно, потому что он только и делал, что уходил от жизни, или, по крайней мере, от того, что людям кажется жизнью; уходил от внешнего мира в себя. Внутренняя жизнь его так превосходила внешнюю, что эта исчезала перед той, как пламя свечи перед солнцем. Вот почему жизнеописание Св. Иоанна Креста трудно, почти невозможно. Трудность увеличивается тем, что свидетели жизни его изображают его не таким, каким он действительно был, а каким бы ему следовало быть, по общему канону святости; пишут не жизнь его, а житие, в котором живое лицо человека поглощается иконописным ликом святого. Но сила внутренней жизни его так велика, что и в этих житиях проступает иногда сквозь мертвый лик живое лицо, такое необычайное, единственное, что достаточно увидеть его, чтобы уже никогда не забыть и с бесконечным удивлением почувствовать, насколько живее многих, как будто полную жизнью живших людей, этот всегда от жизни уходивший человек.

«*Doctor Nihilis*, Учитель Ничего», так называли его современники, именем неверным, потому что только половиной цельного имени: «Учитель Ничего и Всего».

В твоём «ничто» я всё найти надеюсь.
In deinem Nichts hoff ich Alles finden, —

говорит Фауст Мефистофелю; то же могли бы сказать, хотя и в ином, конечно, смысле, св. Иоанну Креста посвященные в его мистерию: **Все и Ничто, *Todo y Nada***.

Только что ты на чем-нибудь остановишься,
 Как перестанешь погружаться во Всё,

учит он делать других и делает сам: не останавливается во внешней жизни ни на чем, сводит ее к Ничему, чтобы через внутреннюю жизнь погрузиться во Все.

«В самое, самое внутреннее, в самое глубокое, в сердце души», — этот путь Совершенства, у св. Терезы Иисуса есть путь и св. Иоанна Креста. Легок и широк общий путь людей: от самого глубокого, внутреннего к самому поверхностному, внешнему, — от действительного Всего, может быть, к Ничему; узок и труден путь необщий: от внешнего к внутреннему — от того, что может быть, есть Ничто, к тому, что наверное — Все.

Если хочешь всем обладать,
 Не имей ничего;
 Не имей Ничего;
 если хочешь быть всем,
 будь Ничем, —

учит и этому св. Иоанн Креста других и учится сам: хочет быть Ничем во внешней жизни, чтобы сделаться во внутренней — Всем.

Если путь Ничего-Всего, «нищета-нагота», — «Прекрасная Дама» св. Франциска Ассизского, — всё еще на половину этика, — внешнее действие на внешний мир, то у св. Иоанна Креста это уже метафизика или говоря на языке наших дней, «критика познания», осуществляемая в мистике, — совершенно внутреннее действие на внутренний мир. Это путь из поверхностного, внешнего, — «в самое, самое внутреннее, в самое глубокое, в сердце души», — из Ничего во Все.

Внешняя жизнь св. Иоанна Креста, — почти ничто, — те желтые лишай и серые мхи, что растут на голом граните высочайших гор, или те туманно-белые, подобные легкому

кружеву, цветочки-звездочки в расщелинах скал, что кажутся такими слабыми, но и сокрушающих скалы громов не боятся. Эта скудная внешняя жизнь в житиях св. Иоанна Креста еще больше скудеет или обогащается мертвым богатством — серебром, золотом и драгоценными камнями тех риз, которыми скованы лики святых на иконах. Но иногда и сквозь этот иконописный лик сквозящее лицо его дышит такой глубокою внутренней жизнью, что, как это ни трудно, всё-таки можно, и по глухим намекам житий, по уцелевшим в них огненным точкам жизни, угадать ее, по крайней мере, настолько, чтобы понять, как влияло на нее сделанное им великое открытие вечного в мире взаимодействия двух премирных начал — Ничего и Всего — подобного двойному шествию Ангелов, нисходящих и восходящих по лестнице Иакова.

Для того и нужно знать жизнь св. Иоанна Креста, чтобы понять, какое значение имело это открытие не только для него самого, но может иметь и для всего человечества.

2

Св. Иоанн Креста, дон Жуан де Иэпес родился, вероятно, — потому что люди забыли даже точный год рождения этого «неизвестного святого», как его называли уже современники, — в 1542 году, за два года до смерти Лютера и через два года по выходе в свет «Установления Христианства», *Institutio Christianismi*, Кальвина, — следовательно между концом Лютера и началом Кальвина — в самом огненном сердце Реформы, в ее раскалении до-бела.

Бедный, захолустный городок Фонтиверос, где родился Жуан, находится на одном из плоскогорий Старой Кастилии, близ города Авилы, где родилась св. Тереза Иисуса. Это плоскогорие довольно унылое, напоминает более север, чем юг. Дремлющие в глубоком затишьи, бесконечные луга и пастбища; двойные ряды тополей, уходящие вдоль пустынных дорог, в еще более пустынные дали; кое-где ослепительно, как расплавлен-

ное серебро, сквозь тощие перелески сверкающие на солнце болотные пруды-лагуны, откуда вечером стелется под квакание лягушек и крик коростелей голубовато-серый туман: «ведьмы кашу варят»; самая злая из них — Лихорадка, с трясущимся телом и синим лицом. Единственная прелесть этого глухого, людьми забытого края — тишина, нарушаемая только далекой пастушеской свирелью да вечерним колоколом *Ave Maria*. И на самом краю неба призрачно-голубеющая, почти всегда убеленная снегом, величественная цепь Сиерра-де-Гредос ограждает стеной это заколдованное царство тишины.

В тесных улочках городка Фонтивероса, извилистых и каменных, как русла высохших горных потоков, в низеньких белых домиках с почти плоскими кровлями и решетчатыми оконцами стучали с утра до вечера ткацкие станки, потому что большая часть Фонтиверских жителей занималась, кроме полевых работ, тканьем шерсти и шелка. В одном из таких домиков и родился Жуан.

Отец его, дон Гонзало де Иепес происходил из древнего, знатного и богатого рода. Прадед его, дон Франчиско Гарчия де Иепес, лет за сто до рождения Гонзало, был сначала одним из любимых рыцарей Испанского короля Жуана II, а потом — Толедским инквизитором; другой предок дон Диэго де Иепес был Тарагонским епископом и духовником короля Филиппа II. Между родственниками дона Гонзало были также три каноника и один старший капеллан Толедского собора. И хотя другая ветвь рода обеднела и захудала, — к ней принадлежал и отец Жуана, — но, по обычаю всех обнищавших благородных гидальго Старой Кастилии, чем ниже падал род, тем больше гордились потомки величием предков и незапятнанной «чистотой», «ясностью крови». Только один из них, дядя дона Гонзало разжился на шерстяном и шелковом промысле так, что сделался богатейшим Толедским купцом. Злые языки говорили, что не всегда удавалось ему соединить торговую выгоду с рыцарской честью. Но купеческая туго набитая кошница нисколько не мешала ему хвалиться древним величием рода.

К дону Гонзало были равнодушны и ни добра, ни зла ему не делали все остальные богатые родственники, кроме Толедского купца, который приняв его в свой дом, совсем обнищавшего по смерти отца, сделал приказчиком своим. И племянник так сумел войти в милость дяди, что тот ему обещал, если он и впредь себя хорошо поведет, завещать бóльшую часть своего имущества. Но дон Гонзало повел себя нехорошо.

Едучи однажды по торговым делам на большую Мединодель-Кампскую ярмарку, случайно остановился в городке, Фонтивересе, случайно увидел молодую поселянку, жившую из милости у чужих людей, бедную сироту, чудесную красавицу Каталину Альварец, и полюбил ее с тою внезапностью, с какою любовь иногда поражает и испепеляет душу, как молния. Он полюбил ее не только за красоту тела, но и за благородство души, потому что «не было в те дни, — вспоминают свидетели — ни одной девушки в Старой Кастилии более прекрасной и добродетельной, чем Каталина Альварец». Прелесть ее под грубой и бедной одеждой поселянки была еще пленительней и всё существо ее дышало таким «благородством», что «ясность крови», текущей в жилах ее казалась несомненнее, чем у многих знатных дам.

Голос благоразумия, может быть, остерегал молодого рыцаря-приказчика, что чванливый дядя-самодур не простит ему неравного, «ясность» благородной крови Изэпесов помутившего, брака с простой поселянкой. Но голос благоразумия, как почти всегда бывает в любви, заглушен был другими головами, сильнейшими и сладчайшими. Может быть, он легкомысленно надеялся, что, если женится потихоньку от дяди, тот на него посердится, но, как умный человек, поймет, что прошлого, всё равно, не воротить и рано или поздно простит. С этой надеждой он и женился. Но дядя не простил, а проклял его, выгнал из дому и лишил наследства. Так же прокляли его и все остальные, знатные родственники, богатые и бедные. «Всеми был он отвержен, *avorrícido*», по воспоминанию свидетелей. И выгнанный, как собака, на улицу, он остался без куска хлеба. Но, может быть, в первом упоении любви

не слишком этим огорчился и даже как будто хорошенько не понял, что с ним произошло. Та, кого он любил, была для него таким сокровищем, что бедность его не пугала.

3

Переселившись в городок Фонтиверос, дон Гонзало разделил смиренную долю жены и начал учиться ткацкому ремеслу. Но учение шло трудно и медленно; жесткие нити грубой козьей шерсти резали нежные пальцы тонких белых рук с голубыми жилками, в которых текла благородная кровь Изпесов. Сколько ни учился, хорошего ткача из него не вышло. Заработок даже искусных ткачей был скуден, а так как муж был плохим для Каталины помощником и ей приходилось работать за двоих, то они едва сводили концы с концами. Всё же кое-как перебивались, пока не начали рождаться дети, а как начали, то в двери дома постучалась «та гостья, которой, по слову Данте, никто не открывает дверей охотно, так же, как смерти». Бедность вошла в дом, и пламя очага потухло, и солнце побледнело на небе. Бедность привела с собой двух старших сестер своих, Болезнь и Смерть.

Злая ведьма фонтиверских болот, с трясущимся телом и синим лицом, стала прилетать всё чаще к дону Гонзало, ложилась в постель между ним и женою, ласкалась к нему, припадала губами к губам, и тело его тряслось, губы синели так же, как у ведьмы.

Года два он болел, чувствуя, что если бы мог бежать из «проклятой дыры», как называл теперь Фонтиверос, бывший рай любви, то спасся бы. Но не только уехать, и лекарства купить не на что было, потому что, во время болезни мужа, Каталина не могла работать, как следует, а в последние, самые тяжелые месяцы должна была совсем оставить работу. И хуже всего было то, что больной падал духом и уже не боролся с болезнью, покорно ожидая конца. Медленно таял, как свеча и, наконец, отдавая любимой всю душу в последнем поцелуе любви, тихо угас.

Каменный груз, едва под силу упряжке волов, навалили на молодого берберийского коня и секли его кнутом, и гнали в гору; но недалеко ушел: жалко хрустнула тонкая кость хребта; пал и издох.

«Я его убила», — думала Каталина над гробом мужа. Это была одна из тех мыслей, от которых люди сходят с ума, или убивают себя, потому что не могут их вынести. Если же Каталина вынесла ее то, может быть, потому только, что чувствовала у сердца своего новую жизнь — еще не рожденного сына; что будет сын, а не дочь, была почему-то уверена так, что никогда в этом не сомневалась, и не ошиблась: сын родился у нее, Жуан, будущий св. Иоанн Креста, — сын смерти, потому что родился от умершего, и сын утешения, потому что еще в утробе матери, в той Темной Ночи, где проходит таинственная грань между вечностью и временем, уже совершил первое великое дело любви — спас от отчаяния мать.

«Багрянородными, Порфирогенетами» назывались первенцы-наследники Византийских императоров. Был и св. Иоанн Креста таким Багрянородным, в царственном пурпуре святости рожденным. «Будущей великой святости являл он все признаки». — «В святости он жил от самого раннего детства», — этому приговору судей в так называемой «Апостолической Тяжбе», *Processus Apostolicus*, где перед увенчанием нового святого Римской Церкви проверяются в жизни его необходимые канонические признаки святости, может быть, не следует верить вполне, потому что это лишь общее место таких Апостолических Тяжб. «Более небесная, чем земная душа». — «Серафим, сошедший с неба на землю». — «Свят был еще во чреве матери», — тоже лишь общие места в житии св. Иоанна Креста. Но, кажется, нельзя не поверить свидетельству св. Терезы Иисуса, его пятнадцатилетней сотрудницы и духовной дочери: «всю жизнь он был святым». «Брат Иоанн невинен, как двухлетний младенец», будут говорить о нем, уже тридцатилетнем, и другие, лучше всего его знающие люди.

Если в религиозном опыте и догмате христианства о первоуродном грехе заключена непреложная истина, то все люди

рождаются грешными, и никто из них от рождения не свят. Грешным родился и св. Иоанн Креста, но в наиболее возможном приближении к святости. «Святость у него была такая, какая только может быть у человека в жизни земной», скажет св. Тереза. «Ангелы — мои и Матерь Божия — моя», говорил будто бы маленький Жуан, по свидетельству житий. Но если он и не говорил такими словами, — в них слишком внятно слышится голос, подражающий детскому, — то может быть, в этих словах сделана попытка выразить то, что он чувствовал и чего не мог бы выразить никакими словами, — такое касание к мирам иным, какое только человеку возможно.

«Он был всю жизнь святым», это значит: внутреннего переворота, «обращения» от мира к Богу, от греха к святости, какой был у ап. Павла, у св. Августина, у св. Франциска Ассизского и почти у всех великих святых, у Иоанна Креста не было вовсе: вся его жизнь — один непрерывно-восходящий путь святости.

5

«Я — крестьянский сын», хвалится Лютер, потомок Тюрингенских рудокопов и пахарей. «Я — сын бедного ткача», хвалится с иным, более глубоким чувством и св. Иоанн Креста.

«В бедности он родился, *proveramente nascio*», в этих двух словах лучше всего выразил старший брат его, Франциск, главное в детстве Иоанна, то, что было ему в начале жизни нужнее всего. Кажется, если бы надо было ему самому выбрать себе детство, он выбрал бы именно то, какое выпало ему на долю.

Путь св. Франциска Ассизского — от богатства к бедности — ненужен св. Иоанну Креста: он уже сразу там, куда Франциск с таким бесконечным усилием шел; даром получил Иоанн то, за что заплатил так дорого Франциск, — «обнищание», «обнажение» от всего. Прекрасная Дама, Бедность, качала колыбель Иоанна и баюкала его страшной для всех, а для него от всякого страха освобождающей песенкой:

Не легкого желай, а трудного...
 Не сладкого, а горького...
 Не ббльшого, а меньшего,
 Не высшего, а низшего...
 Желай не желать ничего.

Этим начал он жизнь; этим и кончит: вся она — путь от Ничего ко Всему.

6

Если бы добрые люди не помогали молодой вдове с тремя маленькими детьми — старшим сыном, Франчиско, средним Луисом и младшим Жуаном, — то все они погибли бы. Но и те, кто помогал, сами были так бедны, что не могли их спасти, и туже, всё туже затягивалась на шее Каталины мертвая петля нужды. Самые тяжелые дни наступили для нее во время тяжелой болезни маленького Луиса, когда она вынуждена была снова оставить работу так же, как во время болезни мужа. «Слава Богу, не будет больше страдать!» подумала она, когда умер Луис и двум остальным едва не пожелала того же.

Сидя однажды без свечи в наступающих сумерках, варила она из последних припасов на последней вязанке хвороста молочную похлебку для детей, когда вспомнила вдруг, как маленький Лу, — так она называла Луиса, — перед самой смертью попросил у нее молока, но не было ни капли и она должна была напоить его водой. «Пищу дает Господь птенцам ворона, взывающим к Нему», вспомнила псалом и подумала: «Детей ворона насыщает Господь, а мои умирают от голода». Вспомнила также Евангелие: «не заботьтесь для жизни вашей, что вам есть и что пить... Взгляните на птиц небесных: не сеют они, ни жнут, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» — «Нет, — подумала, — не лучше, если птиц небесных питает Отец, а люди умирают от голода. Что же это значит?!» И как будто вдруг кто-то шепнул ей на ухо: «значит, что Сын лжет об Отце!» Это была такая же страшная мысль, как и та — о смерти мужа: «я его

убила!» — одна из тех мыслей, от которых люди сходят с ума или убивают себя, потому что не могут их вынести. Чтобы ничего не видеть, ни о чем не думать, закрыла глаза. Долго ли так сидела, не помнила, а когда, вдруг почувствовав чье-то присутствие, открыла глаза, то увидела маленького Жуана, стоявшего перед ней и смотревшего на нее так, как будто он знал, о чем она думала. И что-то было в лице его такое неизвестное, далекое и чуждое, что ей сделалось страшно; точно он и не он, — на него похожий, но другой, — его двойник.

— Что ты, Жуан? — спросила она чуть слышно, и, когда он ничего не ответил, продолжая смотреть на нее всё тем же знающим взором, ей сделалось еще страшнее. Но вдруг лицо его изменилось: исчез двойник, и снова был настоящий Жуан, родной, роднее для нее всего, что есть в мире. Кинувшись к ней на шею, он крепко обнял ее, поцеловал и шепнул ей на ухо:

— Всё хорошо будет, не бойся, — Он сейчас придет...

— Кто придет? — спросила она.

Мальчик ничего не ответил и, оглянувшись на дверь, прислушался.

— Кто придет? — повторила она.

— Знаешь сама, зачем спрашиваешь? — ответил он, наконец, и опять прислушался. — Вот Он идет, слышишь? — проговорил он с такой уверенностью, что и она прислушалась, но ничего не услышала. И опять ей сделалось страшно, но уже другим страхом. «Что с ним такое? — подумала, — не заболел бы и он, как Лу...» Руку приложила ко лбу его, нет ли жара. Но жара не было. И опять вернулся прежний страх неизвестного.

Вдруг постучались в дверь. Встать хотела, чтобы открыть, но не могла, ноги подкосились от страха. Мальчик подбежал к двери, открыл ее, и вошел знакомый старичек-пастух с очень добрым, но немного полоумным, навсегда как будто удивленным и недоумевающим лицом.

— Добрый вечер, донья Каталина, — поздоровался он и раскланялся с той рыцарской любезностью, которая свойствен-

на была самым простым людям в Старой Кастилии. «Доньей» называл он ее потому, что так называли ее все, из уважения не к мужу, а к ней самой, и то, что она была почти нищая, этому нисколько не мешало, — напротив: нищих иногда уважали за благородство души больше, чем богатых, всё по тому же рыцарскому духу Старой Кастилии.

Медленно, с тихой важностью, старичек подошел к столу, поставил на него большую корзину и начал вынимать из нее хлеб, сыр, яйца, пирог с голубями, окорок, медовый сот, кувшин с молоком, крынку со сливками и две бутылки вина — такое пиршество, какое никогда не видано было в этом бедном доме.

— От кого это, Родриго? — спросила Каталина, не веря глазам своим от удивления.

— Кушайте на здоровье, донья Каталина, и да хранит Господь вас и деток ваших, а от кого, не велено сказывать, — ответил старичек и, сколько она ни расспрашивала, только лукаво усмехался, головой покачивал, подмигивал и всё повторял:

— Не велено сказывать! — С тем и ушел.

«Что это — ответ на те страшные мысли о сытых птицах и голодных людях, или, может быть, всё очень просто?» подумала она и вспомнила богатую, благочестивую и добрую женщину, у которой жила до замужества и которая потом уехала неизвестно куда; может быть, вернулась и, услышав о нужде ее, прислала ей эти припасы. Но если так, то почему же «не велено сказывать»? Сколько раз ни помогала, никогда не таилась; почему же вздумала теперь? И как узнал об этом Жуан? Он никогда не лжет и, если говорит, что никто ему не сказал, значит так и было. Как же узнал? Или в самом деле **ответ?**

Стоя перед ней, мальчик смотрел на нее таким же, как давеча, глубоким, в душу ее проникающим взором, как будто знал, о чем она думает, но теперь уже казался ей не далеким и чужим, как давеча, а близким и родным, как никогда. И вдруг захотелось ей сказать ему всё. Но тотчас же, опомнившись,

сама на себя удивилась: «с ума я сошла, можно ли говорить об этом ребенку?» И только-что это подумала, как почувствовала, что и ни с кем об этом нельзя говорить, потому что словами ничего не скажешь, и поняла, что это еще не ответ, а только вещий знак того, что ответ **будет**.

Мальчик, продолжая смотреть на нее молча, улыбнулся ей, как будто и эти мысли ее угадал. Потом, подойдя к столу, начал с детским любопытством рассматривать припасы.

— Сколько добра! — воскликнул он радостно. — Ну теперь уж голодать не будем... А это что такое? — удивился, увидев огромный, золотисто-чешуйчатый, невиданный плод — только-что в Европу из Нового Света привезенный, — ананас. — Вот так яблочко, больше моей головы!

И засмеялся, запрыгал, захлопал в ладоши от восхищенья, совсем как маленький, так что трудно было поверить, что мог смотреть и говорить так, как только-что смотрел и говорил.

«Всё уже знает, только еще не может сказать, но когда-нибудь скажет, и всё хорошо будет!» подумала мать, глядя на сына с такой же радостью, с какой Бог в конце творения увидел всё, что сотворил, и сказал: «все хорошо весьма».

7

«Очень хорошенький и умненький мальчик, но всё-таки обыкновенный ребенок», — таково было впечатление тех, кто видел маленького Жуана в первый раз. «Ангела, сошедшего с неба», Багрянородного наследника святости никто не угадывал в нем. И даже те, кто ближе подходил к нему и вглядывался в смуглое лицо его с тонкими чертами, в которых видна была благородная, «светлая кровь» Иэпесов, с черными, глубокими и ясными глазами, с тихой, не то чтобы грустной, но, может быть, для ребенка слишком задумчивой улыбкой, — даже и те чувствовали в нем не что-либо «святое», «ангельское», а только немного странное, на других детей непохожее, но бесконечно милое: так проходящий ночью по лесу чувствует вдруг в темноте благоухание невидимого цветка.

Как скуден и горек хлеб ткачей знала Каталина по опыту своему и сына своего, Франчиско (он был на десять лет старше Жуана), который сделался превосходным ткачем, но к двадцати годам, женившись, едва мог прокормиться с женой на скудный заработок: так была сбита плата за труд множеством ткачей в городке Фонтиверосе. Знала Каталина и то, как поглощает это ремесло всего человека: вот почему не хотела обречь на него любимца своего, Жуана, но искала для него другого ремесла, которое давало бы ему лучший заработок и хоть бы малый досуг для школьного учения, чтобы не погибли даром заложенные в нем и только ею одной уже угаданные, великие дары духа. В поисках такого ремесла она отдавала его на выучку различным мастерам, и он пробовал сделаться плотником, портным, резчиком по дереву и живописцем или просто маляром. Но как ни был трудолюбив и усерден, не мог выучиться ни одному из этих ремесел, может быть потому, что вообще в жизни не мог или не хотел остановиться ни на чем, точно не ходил по земле, как все люди ходят, а скользил по ней, как по льду скользят конькобежцы, или как водяные пауки с тончайшими лапками, оставляющими на водяной поверхности почти невидимый след, скользят по воде. С детства уже как будто был верен будущей заповеди своей:

Только что ты на чем-нибудь остановишься,
Как перестанешь погружаться во Всё.

И будущее великое открытие свое — вечное в мире взаимодействие двух премирных начал — Ничего и Всего, как будто уже предчувствовал в детстве: внешняя жизнь становилась для него уже в начале жизни почти Ничем, а внутренняя — Всем.

Однажды ночью, заглянув к нему в горенку, — купленная на ярмарке, бумажная иконка Божьей Матери с неугасимой перед нею лампадкой делала горенку эту похожей на

монашескую келью, мать увидела, что он спит не на постели, а на вязанке колючего тернового хвороста.

— Это еще что такое? — воскликнула она, разбудив его, как будто с гневом, а на самом деле, с испугом.

— Что ты делаешь, сумасшедший? Ступай сейчас в постель.

Мальчик хотел что-то сказать, но промолчал, только вставая с хвороста, посмотрел на него так, как внезапно разбуженный смотрит на мягкую постель, с которой подняли его насильно, и покорно исполнил приказание матери.

А в другой раз, зайдя к нему в спальню далеко за полночь, она увидела его стоящим на коленях, на том же хворосте и погруженным в молитву так, что он не слышал, как она вошла. Хотела его опять побранить, но на лице его было такое блаженство, что духу у нее на это не хватило, и потихоньку вышла из горенки. А утром на следующий день, — это был один из их любимых праздников Рождество Богородицы, — перед тем, как идти в церковь, спросила его:

— О чем ты больше всего молишься, Жуан?

— Не знаю... не помню, — ответил он и, немного подумав, прибавил: — Я молюсь ни о чем... — И еще прибавил, видимо желая, но не умея выразить того что чувствовал: — Я молюсь ни о чем. Лучше всего ни о чем молиться: тогда всё уже есть, и всё хорошо...

— Что это значит: молиться ни о чем? — удивилась она.

Он ничего не ответил, только посмотрел на нее тем же глубоким, в душу ее проникающим взором, как тогда, когда она думала о сытых птицах и голодных людях, и в лице его промелькнуло тоже, как тогда, неизвестное, такое далекое и чуждое, что ей сделалось страшно; точно он и не он, — на него похожий и другой, — его двойник. Но промелькнуло — исчезло, и опять был настоящий Жуан, близкий и родной, роднее для нее всего, что было в мире.

В эту минуту слышался благовест.

— В церковь пора. Я сейчас, только шапку возьму, —

заторопился он и выбежал из комнаты, как будто боялся, чтоб она опять не заговорила о том, о чем он не хотел говорить.

Давешний страх ее исчез, но вспомнился другой, величайший, когда-либо в жизни ею испытанный страх. Если бы прочла она в житии св. Иоанна Креста: «старческая мудрость была у него с детства... так что и другие дети не смели ни говорить, ни делать при нем чего-либо дурного», — если бы она это прочла, то, вероятно, усмехнулась бы, потому что слишком хорошо знала, что старческого не было в нем ничего, а если была та детская мудрость, о которой сказано: «из уст младенцев... Ты устроил хвалу» (Пс. 8, 3), то было и безумие детское, тот буйный избыток жизни, от которого рождаются иногда опасные детские шалости. Если бы этого не было, то не случилось бы того, от чего испытала она тот великий страх.

9

В городе Медина-дель-Кампо, куда Каталина за работой приехала, Жуан играл однажды с детьми у старого, заброшенного колодца на пустыре. Игра состояла в том, чтобы пробежать по узкой и скользкой от сырости, каменной стенке колодца; кто пробегал по ней чаще всех, выигрывал одно из полдюжины яблок, похищенных в соседнем монастырском саду, зеленых и кислых, почти несъедобных, но не менее соблазнительных для игроков, чем погубивший род человеческий плод с Древа Познания. К выигрышу был ближе всех Жуан: только еще один раз оставалось ему пробежать, и он скользил по стенке колодца с такой безумной отвагой, что у смотревших на него захватывало дух. Вдруг главный соперник его, пробежавший только на один раз меньше его, закричал, должно быть из зависти к нему:

— Сторож идет!

Сторожа этого дети боялись, как огня, потому что он драл их за уши и бил палкой за похищенные яблоки и другие шалости.

Услышав крик, Жуан оглянулся, и, споткнувшись о скользкий камень, потерял равновесие, тихо покачнулся и упал в колодец. Всё произошло так внезапно, что дети не сразу поняли, что случилось, а когда по далекому, на дне колодца, всплеску воды поняли, то так испугались, как бы им не оказаться в ответе, что разбежавшись по углам, попрятались, и только прождав больше времени, чем нужно было, чтобы Жуану десять раз потонуть, опомнились и начали звать на помощь.

Каталина, жившая у знакомой ткачихи в маленьком домике недалеко от колодца, услышав крики и увидев из окна бегущих людей, вышла на крыльцо и спросила, что случилось.

— Мальчик в колодец упал! — ответил ей один из бежавших.

— Какой мальчик? — опять спросила она, но тот, кто ей отвечал был уже далеко.

— Ох, Каталина, бедная, пропала твоя головушка! завывала издали, увидев ее, бежавшая от колодца хозяйка ее. — Мальчик твой, Жуан...

Больше Каталина ничего уже не слышала и не видела; так же тихо покачнулась, как давеча Жуан на стенке колодца, и упала бы, если бы кто-то не поддержал ее и не усадил на ступени крыльца. Всю ее пронзил, как ледяная молния, неведомый людям, потому что невообразимый и незапоминаемый ужас, уничтожающий душу, как та, предсказанная в Апокалипсисе, «вторая смерть, от которой нет воскресения». Страшным усилием воли одолела она, наплывший на нее мрак беспамятства, открыла глаза и увидела, бежавших мимо нее, людей, с шестами, баграми, лестницами, веревками и фонарями, чьи тускло-красные на солнце огни казались похоронными. В общем крике и шуме, сколько ни прислушивалась, ничего не могла слышать, как следует, — Нет, коротка, до дна не хватит, — сказал вдруг кто-то так близко от нее и внятно, что она услышала. — А, эта? — спросил другой. — Эта хватит, — ответил первый. Петлю только затяни потуже, чтобы не развязалась, когда потащим наверх.

Вдруг она поняла, что говорят о веревке, которой будут подымать из колодца Жуана, живого или мертвого.

— Только бы подмышки надеть догадался, — опять сказал кто-то.

— Коли не дурак, догадается, небось, — ответил другой.

«Жив!» подумала Каталина и ужас от нее отступил, но ненадолго. — Голос-то всё еще подает? — спросил кто-то.

— Давеча подавал, а сейчас не слышно, — ответил другой.

«Мертв!» — подумала она, и ужас опять к ней приступил. То жив, то мертв; между надеждой и ужасом то взлетала, то падала, как на исполинских качелях качалась. Кажется, мучилась бы меньше, если бы наверное знала, что мертв.

Что было потом, помнила лишь смутно, как страшный сон. Кто-то помог ей встать и подойти к толпе, расступившейся перед нею, как расступается толпа перед тем, кто страшен для нее или свят.

Подойдя к колодцу, увидела она двух дюжих молодцов, подымавших что-то на двух, перекинутых через стенку колодца, веревках. Медленно двигались веревки на двух, чуть-чуть поскрипывавших, блоках и вытянутые концы их свивались в кольца. Вид этих колец, точно живых, шевелившихся, как змеи, был ей так страшен и отвратителен, что она старалась на них не смотреть, но всётаки жадно смотрела.

— Тише, тише, ровней, как бы головой о стенку не ударился, — сказал один из подымавших, и движение веревки еще замедлилось.

Вдруг зачернело над стенкой колодца что-то маленькое, круглое. Голову Жуана Каталина узнала не сразу. Мокрые волосы прилипли к голове, тихонько качавшейся в лад с движениями веревки. Лица она не видела.

«Жив или мертв?» — в последний раз качнулись качели между надеждой и ужасом и вдруг остановились навсегда. Мать увидел Жуан и улыбнулся ей, и она обрадовалась так, что все испытанные ею муки перед этой радостью были ничто.

10

Мальчика перенесли в домик, где жила Каталина, и вместе с хозяйкой она осмотрела тщательно всё тело его, не ранен ли; но не было на нем ни синяка, ни царапины.

— Ну, Каталина, благодари Пресвятую Деву Марию: никто, как Она, спасла дитя твое! — воскликнула хозяйка и перекрестилась.

Когда Жуан, оставшись наедине с матерью, рассказал ей о том, что было с ним в колодеце, больше всего удивилась она тому спокойствию, с каким он об этом рассказывал. Упав в колодец и долетев до воды, три раза опускался он в глубину и три раза подымался на поверхность, пока наконец, не нащупал прибитой к стенке колодца, узкой и скользкой доски. Кое-как он влез на нее и сел, стараясь не двигаться, потому что от каждого движения гнилая доска гнулась под ним и, если бы сломалась, то он утонул бы наверное.

— Страшно было на доске сидеть? — спросила Каталина и тотчас подумала, что лучше бы не спрашивать, не напоминать страшного. Но он ответил всё так же спокойно: — Нет, ничего. — И немного помолчав, с радостным любопытством спросил:

— А почему днем звезда?

Какая звезда? — удивилась она.

— Светлая, большая. Когда я на доске сидел, то глянул наверх, а там синё, синё, как ночью, и мигает звезда, точно на меня смотрит. И мне хорошо стало, спокойно, вот как с тобой сейчас...

Вспомнила Каталина, что если днем из глубины колодца на небо смотреть, то оно кажется темным, как ночью, и на нем горят звезды. «Это была Ее, Пресвятой Девы Марии звезда; никто, как Она, дитя мое спасла!» — подумала Каталина. Верила, что сын ее чудом Божьим спасен; но если бы знала, как чудо это будет искажено людьми в грубом и плоском, — самое святое и целомудренно-скрытое искажающем, — вымысле, то может быть возмутилась бы. В вымысле этом

сама Пресвятая Дева Мария держит на руках своих дитя над водою, пока к нему не спускают веревку. Но если орудием чудотворной силы Божией были не сияющие руки Богоматери, а черная, гнилая доска, то чудо от этого не уменьшилось, а увеличилось. И глядя на дневную звезду, может быть, чувствовал Жуан то, что действительно было: «Ангелы — мои, и Матерь Божья — моя!»

11

Так в бедном фонтиверском домике вспомнила Каталина то, что было пять лет назад. Мучась сомнением, хорошо ли сделала, что не прервала слишком долгой ночной молитвы Жуана, мало спала в эту ночь и теперь, убаюканная воспоминаниями, заснула. Но спала недолго, потому что, как это часто бывало с нею, почувствовала вдруг и сквозь сон, присутствие Жуана; открыла глаза и увидела, что, сидя на полу у ее ног и положив голову к ней на колени, он тоже спал с таким же блаженным лицом, как ночью, когда молился, стоя на вязанке колючего хвороста. Мать наклонилась к нему и поцеловала его в голову так тихо, что он, не просыпаясь, только улыбнулся ей и от этой улыбки лицо его сделалось еще блаженнее.

Благовест умолк уже перед тем, как она заснула. Чтобы не опоздать к обеду, надо было идти тотчас. Но мальчик спал так сладко, что будить его она пожалела и подумала, что может быть любимый праздник Рождества Богородицы, отпразднуют они и здесь, в этом бедном домике, так же свято, как в церкви. Чувствовала, что даром вспомнила, именно в этот день чудо, которым спасла Жуана Пресвятая Дева Мария. Только теперь, казалось ей, поняла она это чудо, как следует; поняла, что в нем совершилось посвящение сына ее в рыцари прекраснейшей из всех прекрасных дам, Царицы Небесной.

— Матерь Божия, Ты спасла его; да будет же он слугой Твоим во веки веков! — молилась она и чувствовала, что мо-

литва ее исполнится. И как тогда, пять лет назад, когда она думала, что сын ее погиб, ледяная молния ужаса, — всю ее пронзила теперь огненная молния радости. Радовалась так, как будто уже знала всё, что сделает для мира сын ее, Св. Иоанн Креста.

12

В 1553 году Каталина исполнила свой давний замысел переселиться из городка Фонтивероса в большой соседний город Медина-дель-Кампо, где работали Франческо с женой, и где надеялась она найти и для себя лучший заработок. Город этот, с пятьюдесятью печатными станками, восьмьюдесятью книжными лавками и множеством школ, был одним из просвещеннейших городов Испании: вот почему Каталина надеялась также, что здесь ей будет легче поместить Жуана в бесплатную школу.

Путникам, идущим или едущим на мулах, как ехали Жуан и Каталина по красноватой, знойной и мгливой, окруженной бледными холмами, великой равнине Леона, город Медина, весь розовый, потому что построенный из кирпичей этого цвета, казался одним из тех волшебных городов, что строит в облаках заходящее солнце. В эти дни, город этот был одним из богатейших торговых городов Испании, куда на знаменитые по всей Европе трехмесячные ярмарки съезжались купцы и привозились товары со всего Старого и Нового Света.

Только что Жуан въехал в город, как оглушен был после фонтиверского затишья, шумом и гамом, изумлен странными одеждами и еще более странными лицами разноплеменной и разноязычной толпы, объединенной только одним — неутолимою страстью к наживе. С жадным любопытством вглядывался он в только что вынутые из огромных тюков и выставленные в лавках ярмарочной Большой Площади тончайшие, белые, как снег, французские и голландские полотна, великолепные фландрские ковры, златотисненные кордовские кожи,

драгоценные шелковые ткани Гренады и Валенции, сверкавшие радугой на солнце, венецианские хрустали и привезенные с островов Западной Индии, невиданные в Европе плоды, шкуры зверей и перья птиц, яркие, как тут же выставленные, самоцветные камни из Чилийских и Перувианских копей. Вглядывался с жутким любопытством и в старых менял с крючковатыми пальцами-когтями, считавших золотые рэалы и подозрительно испытывавших на зубе добротность монет.

Вдруг навалился на него всей громадой своей внешний мир и так подавил его внутренний, что грозил его уничтожить; мнимое Всё казалось ему действительным, а действительное — мнимым. Вот когда, может быть, уже началась в душе его великая борьба Всего и Ничего.

Я самого себя уже не знаю...
я мое бежит от меня,
и пустота во мне бесконечная.

13

Надежда Каталины поместить Жуана в бесплатную школу исполнилась: кажется, очень скоро по приезде мальчик был принят в так называемую Школу Детей Учения, *Collegio de los niños de la Doctrina*, при одной женской обители, где так легко и скоро научился читать и писать, что монахини не могли на него надивиться и «очень полюбили его за остроту ума и способность к учению», вспоминает Франчиско.

Дальше грамоты в школе наука не шла: вот почему, когда Жуан научился грамоте и в школе ему было больше нечего делать, инокини стали посылать его с кружкой для сбора подаяний по городу.

— Бедным детям, на школу ради Христа! — повторял он, обращаясь к прохожим, таким ласковым голосом и с такой милой улыбкой, что ему подавали охотнее чем всем другим сборщикам.

— Экий шустрый мальчонка! Как ни пошлешь, кружка всегда мараведи полна, — радовалась, глядя его по голове,

старая мать-казначей. Года через три сделался он церковным служкой в женской обители св. Магдалины, где также все очень полюбили его.

Как-то раз один знатный и богатый гражданин из Толедо, дон Алонзо Альварец, ушедший от мира, чтобы послужить бедным и больным, случайно увидев Жуана, — ему шел тогда шестнадцатый год, — и сразу, должно быть, угадав, кто он и чем может быть, — предложил ему сделаться братом милосердия в находившейся под его, дона Алонзо, управлением, больнице св. Антония. Жуан согласился и назначен был в так называемую «Палату Нарывов», *hospital de las bubas*. Кажется, эти злокачественные нарывы происходили от занесенной только-что в Старый Свет из Нового, страшной болезни, сифилиса. Если так, то уже в те годы, когда еще первые мечты любви обвевают душу чистых отроков, как веяние ангельских крыл, отрок Жуан увидел разлагающиеся заживо человеческие тела, изъеденные язвою того, что люди называют «любовью». А когда, выйдя из Палаты Нарывов, он шел на ярмарочную площадь, то видел и то, что люди называют «жизнью»: как бегали они и суетились, продавали и покупали, лгали и мошенничали, и как никто из них не вспоминал, что тут же, в двух шагах от них, есть Палаты Нарывов, и что каждый из них, рано или поздно, в нее попадет, потому что и сейчас вся его жизнь ни что иное, как злокачественный нарыв, который, лопнув, обнажит изъевшую тело до кости, гнойную и смрадную язву. Когда всё это видел Жуан, то как тайновидец Откровения, «дивился удивлением великим», в котором, может быть, уже начинался для него «преисподний опыт» Темной Ночи, *experiencia abismal de la Noche Oscura*. Если ясно умом он еще не понимал, то, может быть, уже сердцем смутно чувствовал, что вся жизнь мира становится день ото дня, всё более похожей на злокачественный нарыв новой, более страшной, чем старая, потому что не одного человека, а всё человечество в истоках жизни заражающей, половой чумы — Сифилиса.

В эти дни, жил в Медине знаменитый врач, Гомец Перейра, один из основателей врачебной науки, как точного знания. «Новая истинная врачебная наука, основанная на опыте», *Nova veraque medicina, experimentis comprobata* — по этому заглавию книги Перейры, видно, к чему он стремился; видно это и потому, что говорит тогдашний врач, может быть, ученик Перейры, Жуан Гуарте: «мертвой букве каких-либо правил не должны подчиняться врачи. Если Гиппократ, Галиен или кто-либо другой из великих ученых утверждает одно, а опыт — противоположное, то врачи не обязаны следовать ученым. Опыт... во врачебной науке выше разума, а разум выше чужого мнения». Начатое Перейрой основание не только врачебной, но и всей опытной науки — того, чему суждено было сделаться одной из главных, новое человечество движущих сил, — продолжит Паскаль и завершит Бэкон Веруланский.

В книге Перейры, «Жемчужины св. Антония», собраны клинические наблюдения, сделанные им в мединских больницах. Если брат милосердия Жуан видел и слышал его, когда он посещал больницу св. Антония, то мог испытать на себе его влияние и, если тогда уже начал преодолевать мертвую букву церковного догмата, то, может быть, в этом помог ему и Перейра. Опыт для них обоих есть главный источник познания — для Перейры в науке, а для Жуана в религии. Оба они великие врачи: тот болезней телесных, а этот — духовных.

Будет Перейра одним из первых основателей и той науки душевных явлений, которая названа будет «психологией». — «Тем, кто желает меня понять, — скажет он в начале одного из своих психологических исследований, — я советую познать самих себя... потому что здесь дело идет не о внешних явлениях мира, а о тех внутренних явлениях души, которые каждый знает лучше всего по себе самому» — **изнутри**. К внутреннему от внешнего — этот путь Перейры тот же, как у св. Иоанна Креста и св. Терезы Иисуса. Веющий, в те

дни над миром, дух новой жизни соединяет здесь науку с религией.

15

Во время, опустошавшей Медину, повальной болезни, которую Перейра называет «чумной лихорадкой», *febris pestifera*, Жуан ухаживал за больными так самоотверженно, подвергая жизнь свою беспрестанной опасности, что управитель больницы, дон Алонзо, в знак особой милости, разрешил ему посещать высшую, подготовительную к университету школу Иисусова Общества, где в течение пяти лет, он изучал сперва грамматику и риторику, т. е. латинскую словесность, потом весь круг так называемых «свободных» — не богословских, а мирских наук, и наконец философию. В школе, впрочем, он мог заниматься только урывками, в свободные от больничных занятий, а дома только в урезанные от ночного отдыха часы.

Как-то раз Каталина, зайдя ночью в больницу, чтобы повидать сына, долго искала его и не могла найти, как вдруг увидела его сидящим с книгой в руках на вязанке, приготовленного для печки хвороста, и вспомнила, может быть как лет семь назад, в бедном фонтиверском домике застала его стоящим на коленях, на такой же вязанке хвороста и погруженным в молитву. Но не было теперь на лице его такого блаженства, как тогда, а было то жалкое, потому что напрасное, усилие, которое свойственно всегда ищущей и никогда не находящей человеческой мысли; мука сомнения была теперь на этом лице вместо блаженства веры.

Главным и любимым учителем Жуана в иезуитской школе был почти ровесник его, двадцатилетний юноша, о. Жуан Бонифачио, вдохновенный апостол новых «человеческих наук», *humanitates*, влюбленный в древнюю латинскую словесность, бывшую для него как бы вторым Священным Писанием. Когда начальники Иисусова Общества предложили ему

покинуть школу, чтобы заняться изучением высшей теологии, о. Бонифачио ответил: «нет, я дурно поступил бы, если бы покинул то, что, я чувствую, приносит душе моей наибольшую пользу... В этом служении латинству, я хочу умереть, потому что Господь оказал мне великие милости в нем».

Так, те юные годы, когда человеком для всей будущей жизни его избирается путь, Жуан провел между святым врачом Гомецом Перейрой и святым гуманистом, о. Бонифачио.

16

В 1563 году, когда наступило совершеннолетие Жуана, дон Алонзо, чтобы отблагодарить его за всё, что он сделал для больницы, предложил ему место капеллана в больничной церкви, с доходом достаточным для того, чтобы не только его самого, но мать его на всю жизнь обеспечить, и очень удивился, когда Жуан от этого места отказался; и больше еще удивился, когда, сказав ему, что он был бы недобрым сыном, если бы мать свою, которая столько за него страдала и столько для него сделала, не успокоил на старости лет, он взгляделся в лицо его и увидел, что Жуан слышит его и не слышит, как будто о чем то своем, более для него важном, думает. Долго не мог он понять, что это значит; вдруг вспомнил: «кто не возненавидит отца своего и мать свою... тот не может быть Моим учеником». Эти слова всегда ужасали его, а теперь ужаснули так, как еще никогда. «Вместе прожили шесть лет, а ведь я его почти не знаю», подумал он с горечью тайной обиды, потому что Жуан, уходя, даже не поблагодарил его, как следует.

Кажется, о действительной причине отказа его от капелланства лучше всего можно судить по воспоминаниям очевидцев этого дела: «день ото дня, пламенел он всё большей любовью к непорочной Деве Марии». — «К этому делу (капелланству) не чувствовал он никакого призвания, потому что хотел более уединиться и сосредоточиться. «Братство Кармеля совершенно Мариино, *ordo Carmeli totus Marianus est*»:

вот почему и решает войти в него «любовью к непорочной Деве Марии пламенеющий» Жуан.

Ночью однажды, «тайно от всех», по воспоминанию тех же свидетелей, — значит, вероятно, не сказав ничего никому, ни даже брату и матери, он ушел из больницы св. Антония в кармелитскую обитель св. Анны, где решил постричься.

В темноте безопасной,
По лестнице тайной, невидимой, —
О, неожиданное счастье! —
В темноте я бежал потихоньку,
Когда всё успокоилось в доме моем, —

может быть, вспоминает он в «Темной Ночи» об этом первом уходе своем из мира.

В том же 1563 году, 24 февраля, в день св. Евангелиста Матфея, пострижен был в иноки Братства Кармеля Жуан де Иэпес, под именем Жуана де Санто Матиа. Сами постригаемые, в те дни, избирали имена свои в монашестве. Соединением этих двух имен — первого евангелиста Матфея и последнего — Иоанна, Жуан предрек весь путь духовной жизни своей: от первого возвещения христианства к последнему его исполнению, от Евангелия к Апокалипсису, от настоящей Римской Церкви к будущей Церкви Вселенской.

Когда, стоя на коленях перед жертвенником, только что облеченный в нижнюю черную рясу и верхнюю, белую, как бы под солнечную белую ризу самой Царицы Небесной, Жуан произносил обет «послушания, целомудрия и бедности Богу и Блаженной Деве Марии Горы Кармеля», — может быть, впервые лицо его озарилось светом того, что некогда будет «неземным восторгом», экстазом св. Иоанна Креста.

Вдруг, подняв глаза, он увидел, как луч, упавший от лампы на золотую дароносицу, затеплился звездой в алтарном сумраке, и вспомнилась ему увиденная им из глубины мединского колодца, чудесного спасения вестница, Дневная Звезда.

Ave Maria пели иноки, а Жуан шептал свою, только-что в сердце его рожденную молитву:

Ave Stella Diurna!

Радуйся, Звезда Дневная!

Радуйся, Матерь Всепетая!

Радуйся, Дева Пречистая,

Всех упавших в колодец спасение!

Знал он, что, сколько бы ни погружался в глубокие воды колодца, — вынырнет, увидит Дневную Звезду, и будет Ею спасен.

Так исполнилась молитва Каталины: «Матерь Божия, сына моего Ты спасла; да будет же он слугою Твоим во веки веков!»

(Продолжение следует)

Д. Мережковский

ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ

Разве могут быть глаза такие,
Разве можно не запомнить их.
Ты — пульсирующая стихия
Клавишей сияющий родник.
Чистый голос на высоких нотах,
Ураганы стихотворных строк —
Вертеру приснившаяся Лотта,
Ласково спустившая курок.
Есть волнующая обреченность,
Первозданная наивность, власть
В силуэте тувельки точеной,
В очертаньях губ, волос и глаз.
Ты сегодня можешь воплотиться
В колебанье света и струны,
В головокружение пластинки,
В бестелесность радиоволны,
В котлованы, в плоскости и в створки,
В алюминий, в зелень и в стекло,
Чтобы все движение в Нью-Йорке
Сквозь тебя летело и текло.
Бешеная всех частей смещенность,
Духотой, как тряпкой, заткнут рот,
Резь в глазах от крыши освещенной,
Этажи, асфальт, водоворот.
Ты навязчивой идеей станешь,
И прохожий, бредящий тобой,
Падает на рубеже сознания
В солнечность мелодий головой.

РОМАНСКИЙ ДВОРИК

Прохладным ветром ветки пронимает,
Прижалось утро к влажному листу
И зябнется от заморозков в мае
Украшенному лентами шесту.
Тем беспредельней мир, чем стебли мельче,
И запах трав привольней и острей:
Шиповник розоват и клевер стрельчат,
А по двору проходит менестрель.
Трава растет без страха и без цели,
Прорвавшись из-под каменной плиты.
Страшилища с романской капители
Зубастые оскаливают рты.
Сидят, каскадам солнечным доверясь,
Насмешливо поглядывая вниз,
А женский взгляд в пролете галереи
Неконченной мелодией повис.
Пронизывая каменные глыбы
Приветливо глядит из-за плеча
Весенний день, как переплет улыбок,
Как солнечная музыка луча.
Таков твой мир — без края, без преграды;
Ты, к солнцу приподняв бровей излом,
Следила улыбающимся взглядом,
Как веял ангел радужным крылом,
Как музыка бежала по карнизам,
И ветки вслед качало и несло,
Как, золотыми нитями пронизан,
Деревьями шумел зеленый склон.
Твои глаза от облаков пестрели,
И арка над тобой была остра,
А солнечная поступь менестреля —
Лишь глаз твоих веселая игра.

АКВИНАТ

Посвящается философу Жаку Маритену

Птицы на сыром рассвете пели;
Стрельчатая поднялась заря
И пошла дозором возле келий,
Возле галлерей монастыря.
Яблоня, утри росу с тычинок,
Липа, с почек утро оботри.
Сколько крепкой свежести в лощинах
И у влажных лепестков внутри.
Сколько веток, сколько непомятых
Диких трав, кустарников густых;
Жизнь... Но окунаться в Аквината
Радостней, чем в мокрые кусты,
Радужней, чем в солнечную каплю,
Веселей, чем в птичий пересвист.
Старыми пергаментами пахнет
Узколиций постник-латинист.
Диалог с преемником Платона
Поднимает и уносит в высь,
Туже нераскрытого бутона
Набухает творческая мысль.
Власяница в бой вступила с плотью,
Колокол тревожен — не уснуть.
Возле келий бродит Аристотель,
Только внутрь не смеет заглянуть.
Он совсем в ином законе вырос,
Не ему колокола звенят,
Он проходит — и берет папирус
У него привратник Аквинат.

*

Ты думаешь о солнце ли, о лете,
О камне Рима, о воде фонтанов —
Ты, как мотив в Прокофьевском балете,
Всегда просторна и всегда нежданна.
Звук переходит в краски и в движенье
И вспыхивает золотом над бровью,
Смеется и ломая напряженье
Смешинки отдаются в каждом слове.
Ты счастлива. Ты — в световом каскаде,
Ты радостью и щедростью жива —
Всё золото взяла себе на пряди,
Всю музыку — себе на кружева.

Н О Ч Ь

Часы торопятся, устав
И от рекламы багровея,
Нанизывают на состав
Ночные станции собвея.
Одна другую переймет,
Скрежещут тормоза и свищут,
А негр храпит, как бегемот,
Блестя лицом, как голенищем.
Пустые станции в бреду,
Пустые ночи без рассветов,
И по вагонам на ходу
Летают рваные газеты.
Нью-Йорк проводит ночь без сна,
И негр проводит ночь в собвее,
Из палисадников весна
Вишневыми цветами веет,
А сорокаэтажный миф,
Бетонный сколок с этажерки,
Дежурит, в небо устремив
Непотухающий прожектор.

КСЕНИЯ*

... Я спрашивал себя, куда же я пойду? Вопрос правильный. Действительно, куда мне было идти? Но я чувствовал, что не могу быть больше рабом. Я уже не мог быть в концлагере. Но если бы даже побег мой удался? Я хорошо знал, что убежать из лагеря легче, чем не быть арестованным на дороге бегства. Кругом — опасность, опасность и опасность.

Сибирь — хмурая. Безразличные, бездушные сосны и ели. Болота. Широкие реки. Лихорадка. Темные тучи комаров. И везде шныряющие люди — охотники за людьми...

Обессиленный голодом и лихорадкой, в страхе, что ежеминутно буду схвачен, я шел в состоянии крайнего отчаянья, и все-таки шел и шел...

1

Тропинка вилась недалеко от лесной опушки. Она делала все те же повороты, что и большая река. Я шел по тропе, чтобы не терять из виду реку. Глубина тайги меня пугала. На сердце было спокойней, когда между деревьями я видел реку. Хоть река и была хмурая, но в ней всё-таки было что-то

* Мы печатаем в переводе с армянского отрывок из большой вещи Сурена Саниняна «Я совершил преступление». Целиком она опубликована в армянском журнале «Айриник», выходящем в Бостоне. В этом же журнале были опубликованы роман Саниняна «Без примеси» и другие его произведения. Сурен Санинян — известный зарубежный армянский писатель, до войны жил в АССР. В юные годы был арестован, сослан в сибирский концлагерь, откуда бежал. После войны остался на Западе. РЕД.

успокаивающее. Я шел очень осторожно. Делал шагов сто и приостанавливался, озираясь.

Первая ночь была светлая и прошла спокойно. На следующий день я вошел в глубину тайги и лёг под кустами. Я заснул. Но вскоре в ужасе вскочил и бросился бегом напрямик. Мне показалось, что когда я спал кто-то пристально вглядывался в меня. Я бежал не оглядываясь, бежал столько, сколько мог. Я был уверен, что если оглянусь, обязательно увижу гонящегося за мной человека. И в этом был не столько страх, сколько отвращение к этому неизвестному человеку, который охотится за мной из-за 40 рублей. Я не хотел быть пойманным. Я ни за что не хотел быть пойманным... Удар! Я ударился о дерево. «Палкой ударили по голове?», мелькнуло у меня, и схватившись за ствол дерева я упал. Осмотрелся кругом. Никого. Тайга стояла тихая, безветренная. Я сел под деревом и засмеялся задохнувшимся смехом. Я понял, что и мой страх, и всё это было моим воображением.

Я захотел вернуться на тропинку. Но ее больше уже не было, как не было и большой реки. Будто их вообще никогда не было. Ночь стояла полутемная, меж деревьями было облачное небо. Стал накрапывать дождь. Дождь шел всю ночь и весь другой день. Он шел и вторую ночь. И третий день. И не было места, чтоб от него укрыться. Хвойные деревья — плохая защита от дождя. Я стоял, прижавшись спиной к сосне. Зубы мои стучали. И я молил дождь, чтобы он перестал. Этот дождь для меня был живым существом. Но он шел и шел тонкими серыми струями с еле слышным шуршанием. Вся тайга была как опущена в воду. От сырости дождя зеленые растения казались фиолетовыми, будто кто-то их окрасил водянистыми чернилами. От сырости я кашлял. Я понимал, что это рецидив лихорадки. Я бредил. Какие-то кошмары мучили меня. Время для меня не существовало.

Но раз, проснувшись, я увидел, что дождя больше нет, хотя тайга стояла всё еще мокрая. Несмотря на боль во всем теле, я поднялся с земли и, держась за деревья, пошел. Вскоре я вышел на поляну, освещенную солнцем. Я остановился

под солнцем, чтобы высушить одежду. Так я стоял пока солнце не зашло. А когда оно зашло, я опять пошел. Было сыро и темно. Мысль, что опять пойдёт дождь наводила на меня ужас. Я вышел к какой-то воде. Я не понял, была ли это река или длинное, длинное озеро.

Вдруг совсем недалеко я услышал мычанье коровы. Сердце мое наполнилось необъяснимой радостью. Я сразу вообразил себя в крестьянской избе. Она полутемная, освещена огнем из печи. Хозяйка возится у стола. Потом несет из печи еду. А я сижу около огня, греюсь и с нетерпением жду, когда позовут есть...

Вдруг шагах в пятидесяти от меня, из кустов показалась голова коровы. Я спрятался за дерево и стал смотреть. За коровой шла женщина с холудиной.

— Чтоб ты сдохла! Пусть медведь тебя задерет. Никогда не придешь домой во время! Чужие коровы приходят, а ты нет? Что за барыня? Каждый раз хожу за тобой! Вот задерут тебя медведи...

Корова шла медленно. И на морде ее была хитрая улыбка. Когда хозяйка переставала ее клясть, корова опять мычала, будто прося хозяйку продолжать ее ругать, понимая, что хозяйка на деле не ругает, а ласкает ее. Для меня это тоже было очень важно...

— Тетенька! — крикнул я и вышел из-за дерева.

Голос и мое появление для женщины были неожиданны. Она явно испугалась. Это была русская крестьянка в нагольном старом полушубке, повязанная толстым платком, концы которого были узлом завязаны под подбородком.

— Тетенька, — проговорил я и не находил слов, чтобы что-нибудь сказать.

— Ты кто? — спросила она, когда ее страх и оцепенение прошли.

— Стттранник... — с трудом произнес я и испугался, что я совсем потерял дар речи.

— Что тебе?

Я хотел сказать, что у меня лихорадка и не мог выговорить.

— Пойдем, — проговорила женщина.

Хватаясь за кусты, я пошел за ней.

— Эх, ты, бедняга, — произнесла женщина с таким состраданием, что я вдруг заплакал. Помимо моей воли слезы текли по лицу, по бороде. Женщина смотрела на меня жалостливо.

— Ничего, ничего, — говорила она, — придем домой, я тебе снадобье сварю, выпьешь и пройдет.

Слезы как-то развязали мне язык. Я поблагодарил. И женщина стала еще приветливей.

— Лихорадка тебя измучила. Давно это она у тебя?

— Была. Прошла. А вот промок и опять...

— А где ж ты был в этот дождь-то?

В лесу.

Так и был всё время в лесу?

Всё время.

— Эх... — покачала она головой и прибавила, — ты видно выносливый.

— Выносливый. Весь наш народ выносливый. У нас большой опыт выносливости.

Она не поняла меня.

— Что ты сказал?

— Выносливый, говорю...

— А кто ты, куда идешь?

— Кто я, куда иду? Сам не знаю куда иду... — я не хотел отвечать на этот вопрос.

— Тут в лесах много вас, кто сами не знают кто они.

Было видно, что это добрая женщина, но из предосторожности я всё-таки перевел разговор.

— Тетенька, а чем занимается ваш муж?

— Чем? Рыболовы мы, — сказала она.

И я обрадовался, что я не рыба.

2

Мы скоро пришли в поселок из четырех-пяти изб. Все избы были расположены на берегу реки и стояли на довольно далеком расстоянии друг от друга. Нас никто не видел. Женщина загнала корову в хлев и повела меня в избу.

— Анна, корову пригнала? — спросил прямо на полу лежавший человек.

— Пригнала. У нас гость, Семен. Скажи Ксенья, чтоб самовар поставила. А я доить пойду, да для него вот снадобье сготовлю, лихорадка у него, — быстро сказала женщина и вышла из избы.

Мужчина кряхтя, приподнялся с полу и сел.

— Ну, добро пожаловать, проговорил он.

В полутемноте я не мог видеть его лица.

— Ксенья! — позвал он ласково, — а, Ксенья! Проснись!

— Что, тятя? — пробормотал сонный грудной голос на печи.

— Слезай, дочка, гость у нас, поставь самовар, — ласково говорил хозяин.

— Да ты сам поставь... спать хочу...

В голосе девушки слышалось неодолимое желанье спать.

— Я бы поставил, да мой самовар до утра не вскипит.

— Ох, сейчас слезу...

Но Ксенья не слезала, наверное опять заснула. Хозяин тихо засмеялся.

— Она всегда спать хочет, любит поспать, а сегодня на реке была, промокла, устала.

Вошла хозяйка, из печки достала огонь.

— Ксенья не слезла?

— Спит, — ответил муж, голосом оправдывая дочку.

— Ксенья! — позвала мать, — слезай, дочка, поставь самовар, у нас гость.

— Да, мама...

Ксенья медленно стала спускаться с печи. Сначала я увидел ее голые ноги до колен, потом полные, широкие бедра, —

она спрыгнула. Сонно потягиваясь и зевая Ксения стояла у печки. В темноте я увидел юное, красиво-сложенное тело, высокую грудь, правильные черты лица.

— Семен Иваныч, ты нехороший тятка, всё мучишь меня, — проговорила Ксения.

— Знаю, Ксения Семеновна, — засмеялся отец.

— Знаешь, а всё мучишь. Весь день гребь да гребь, а ночью самовар ставь. Ах, Семен Иваныч, — Ксения подошла к отцу, обняла его за плечи и ласково прижалась щекой к его бороде. Отец поцеловал дочку.

— Ну, дочка, ставь быстро, странного жалко, смотри как он устал.

Хотя Ксения и слезла с печки из-за меня, но она ни разу не взглянула в мою сторону, будто меня в избе вовсе и не было. Я не обижался. Мне понравился ее грудной голос. И вся она понравилась.

С хозяином мы обменялись всего несколькими словами, пока самовар не зашумел. Когда самовар был готов, хозяин принес его и поставил на стол.

— Ну, что еще надо? — спросила Ксения, обращаясь к матери.

— Ничего больше, дочка. Иди, спи, только не на печке. На печь мы гостя положим, он застудился сильно.

— Хорошо.

Из-под печки Ксения достала два полена, положила их под голову, как подушку, и легла на скамье у стены. Хозяйка принесла посуду на стол. По ее походке было видно, что она за день сильно устала.

— Из-за лихорадки нельзя тебе рыбу есть, — говорила мне хозяйка, — вот вареную картошку бери, хлеба-то у нас нет, сахара тоже нет. А вот чай хороший, это морковный чай, для здоровья хороший. Еще вот немного молока тебе, а это снадобье против лихорадки, выпей перед сном. Чаю больше пей, это хорошо тебе. Картошку ешь и чай пей.

Хозяин и Ксения давно спали. Было уже поздно.

— Спасибо, хозяйка, — сказал я, вставая.

— Не за что.

Я залез на печь и лег. С печи была видна часть избы. Ксения лежала лицом ко мне. Ее волосы спускались до полу. На полу спина к спине спали хозяин и хозяйка. Вместо подушек под головами у них тоже были подложены поленья. Как и Ксения они спали в одежде, не раздеваясь, не было даже одеял. За окном было слышно — на дворе опять дождь. Но я ни о чем не думал. Хорошо поев, напившись горячего чая и снадобья, я лежал на теплой печке. И мне всякий мог бы позавидовать.

3

Когда я проснулся, изба была залита солнцем. У стены прямо против печки стояла Ксения, приложив указательный палец к губам и с интересом рассматривала меня. Моего пробуждения она не ждала. Смутилась, покраснела и повернулась, чтоб уйти.

— Доброе утро, Ксения, — сказал я весело.

— Доброе утро. Откуда ты знаешь, как меня зовут? — и она приостановилась.

— Вчера твои родители тебя так звали. Где они?

— Пошли рыбу ловить.

— А ты?

— Меня оставили за тобой смотреть. Хочешь чаю?

— Нет еще, Ксения, не хочу.

— Спать хочешь?

— Нет, хочу с тобой говорить.

— О чем говорить?

— Ты чего на меня так смотрела, когда я спал?

— А ты заметил... — и Ксения, покраснев, улыбнулась.

— Заметил.

— А как ты заметил?

— Да так вот и заметил...

Ксения смеялась.

— А как тебя звать?

— Сурен.

— Сурен... — повторила она. — Ты какой-то смешной парень...

— Парень? Да я уж в годах.

— Сколько тебе?

— Двадцать два.

Она начала что-то считать по пальцам.

— Чего ты считаешь?

— Ты старше меня на пять лет.

— Вот как, стало-быть, я уже рыбу ловил, когда тебя еще не было.

Ксенья всё время смеялась и мне это очень нравилось. Сколько лет я не слышал женского смеха и не говорил с женщиной! Ксенья была милая. Она была из тех славянских красавиц, которых редко встретишь в больших городах. Она была хорошо и правильно сложена. Полная, здоровая. Здоровая даже на удивление. А талия, перехваченная пояском, была такая тонкая, что поражало, как эта талия выносит тяжесть верхней части тела. Черты лица приятные и широко раскрытые каштановые глаза, в которых жизнь была волной. Цвет лица матовый, будто на щеках тонкий слой пудры. Мне нравился ее нос, русский, курносый.

— Ты чудной парень, — сказала Ксенья, сев на скамейку перед печью.

Я видел на ее лице желанье со мной играть. Я слез с печки и сел около нее.

— Чем я чудной?

— Ну, просто чудной, — смеется она.

— Ну, чем чудной? — спросил я уже с некоторой обидой.

— Ну, просто так, — еще сильнее смеется Ксенья.

— Ну, хорошо, а еще кого ты видела такого чудного?

— Больше никого такого не видела.

— Ну, тогда скажи, что это такое значит: — чудной?

Стараясь избежать ответа, она вдруг спросила очень серьезно:

— А кто ты такой будешь?

— Кто? Бродяга.

— А как долго?

— Сам не знаю.

— Зачем ты бороду-то такую отрастил?

— Я не растил, сама отрасла.

— Могу потрогать?

— Можешь.

Она провела рукой по моей жесткой, колючей бороде.

— О, очень жесткая. Мама говорит, у кого волосы жесткие, тот злой.

— Твоя мать не обо мне же говорила.

— А о ком же?

— Наверное о тех, кто на самом деле злой.

— А ты?

— По-моему, я не злой.

Ксения посмотрела на меня пристальными темными глазами. Взглядом настоящей женщины. Потом ласково улыбнулась.

— Я тоже знаю, что ты не злой.

— Как знаешь?

Она слегка задумалась.

— Не знаю как. Так...

— Ну, вот и хорошо. Теперь могу я получить удостоверение о моей доброте?

— Для кого?

— Для предъявления одной девушке.

Она поняла и засмеялась.

— Этой девушке не нужно от тебя никаких удостоверений.

— Точно? — я хотел бесконечно говорить с Ксенией.

— О, ты очень много хочешь знать, — сказала она.

— Да, например, хочу узнать, что ты обо мне думаешь?

— Я знаю кто ты такой, — сказала она вдруг и пальцами погладила меня по голове.

— Ну, кто?

— Беглый ты, а не бродяга, — сказала она и сразу как

будто спохватилась, что сказала. По выражению ее лица мне показалось, — она испугалась, что я рассержусь на ее слова. Но я не мог не доверять этой девушке. И потому спокойно сказал:

— Да, я беглый.

— А куда ты хочешь уйти? — спросила она так, будто была старше меня и хотела дать добрый совет.

— Сам не знаю.

— Ты в нашем поселке можешь остаться, у нас тут все добрые.

Я засмеялся.

— В вашем поселке? Где?

Отвернувшись, она сказала: — У нас, под избой погреб есть, там и будешь жить...

Это было чересчур хорошо. Какое-то необычайное теплое чувство залило меня. И полное страха бытие беглеца сразу превратилось во что-то приятное, обещающее. Благодарность за это чувство так смутила меня, что я не мог произнести слова. Эта девушка сразу же стала мне близкой, родной, будто давным давно я знал ее, будто долгие годы я только и ждал ее. Вся натянутость между нами пропала. Было наоборот.

— Ксения, ты хорошая, очень хорошая девушка, — сказал я, и лег на скамейке, положив ей голову на колени. Девушка нагнулась надо мной. Она поняла, какие чувства вызвало во мне ее предложение и счастливо улыбнулась.

4

Мир уменьшался и уменьшался, он весь превращался в эту маленькую бедную избу рыболова Семена. Дальше стен избы ничего не было. Не было Сибири, которая до сих пор была слишком явной. Не было тайги с ее болотами и тучами комаров. Не было рабских концлагерей, которые были. Не было и людей, охотившихся за нами, заключенными. Ничего не было...

Была изба. Деревянная скамья, на которой сидела Ксения и лежал я. Ксения была и я был. Были только мы, только двое. У меня не было прошлого. Я родился, открыл глаза и вот я лежу, и моя голова на коленях у Ксении. А до этого я не жил, не сиротствовал, не вел полную лишений жизнь бедного студента, не сидел по тюрьмам, не переносил избиений, не был зе/ка, не бежал от своего рабства, не был пойман, не был продан и никогда у меня не было лихорадки. Ксения заставила меня забыть всё это. Девушка тихо гладила мои волосы и что-то рассказывала: «...и мать говорила... да ты меня не слушаешь?..»

— Слушаю, слушаю, Ксения... я задумался...

— О чем задумался?

— О тебе.

— Что ты думал?

— Что ты замечательная девушка.

Она потянула меня за волосы.

— Замечательных девушек слушают, — засмеялась она своим грудным смехом, — я говорила, что моя мать хочет меня выдать за Миколку, а я не хочу, я его не люблю.

— Пусть идет этот Миколка к черту. Кто он такой? — Я захотел подняться, сесть. Но Ксения непустила меня, заставила лежать.

— Лежи. И лежа узнаешь, кто Миколка. Он сын Митрия Митриевича, нашего свояка.

— Ну?

— Ну и всё.

— Зачем же мать хочет, чтоб ты вышла за этого Миколку, раз ты его не любишь?

— У меня брата нет. А отец стареет. Миколка свой, у него два брата.

— Не понимаю.

— Ты нашей жизни не знаешь. В Сибири без мужской рабочей руки семья с голоду умрет. Если я выйду за чужого, из дому должна уйти. А Митрий Митриевич свой, он согласен, если я выйду за Миколку, чтоб Миколка у нас остался, стая работать...

— А Миколка согласен?

— Еще как. Он всё это и выдумал. Он хочет жениться. Покоя мне не дает. Он не виноват, он-то меня любит.

— А он знает, что ты его не любишь?

— Мать говорит, что это ничего. Она говорит, что это цветок такой есть — любит, не любит...

— Ах, Ксения... — я не мог выговорить того, что хотел, — а мы?..

От внутренней дрожи девушка встряхнулась, как птица, будто у нее были крылья и она захотела взлететь. Она встала, ей надо было двигаться.

— Забыла тебя покормить. У тебя лихорадка, тебе надо много есть...

— Ничего мне не надо. Иди сюда...

Ксения была уже у печки.

— После, подожди, после.

Она сама не знала, что ей делать. Хватала чугунок, мешала огонь в печке, переставила самовар, потом взяла ведро и выбежала из избы.

5

И вот — она ушла, и этот явный, страшный мир опять вернулся в меня. Мне стало ясно, что я не должен был так говорить с Ксенией. Ведь я не имею права быть счастливым. У меня нет права на счастье. У меня не только нет права на счастье, но у меня нет и права быть свободным. Я должен работать в концлагере и там должен быть уничтожен. У меня есть вот это единственное право — право на уничтожение. Мое бегство наверное уже обнаружено. Может быть чекисты где-то размножают теперь мои арестантские фотокарточки, отпечатывают их в тысячах, рассылают во все концы громадного государства. И у тысяч чекистов и сексотов уже есть в списках мое имя. Нет, конечно, я не такой большой человек, чтобы вызвать такое большое волнение. Я мелкий убежавший раб. А раб в рабском лагере — не человек. Но убежавший раб, это — стоимость. И тут «закон» и наказание.

Ксения вернулась, когда я внутренне ругал себя, что не ушел от них сразу же как проснулся. Ксения вошла вспотевшая, задыхнувшаяся, раскрасневшаяся. Посмотрела на меня и улыбнулась так, будто мы были уже нареченные.

— Куда ты ходила?

— За водой.

— Почему так долго, когда вода под окном?

Она начала возиться с самоваром.

— У тебя лихорадка. Эта вода для тебя нехорошая. Я бегала к большой реке, чтоб оттуда взять.

— Очень уж ты обо мне заботишься, Ксения. Не надо со мной так возиться, — сказал я, стараясь изменить тон прежнего разговора. По-женски Ксения сразу же это почувствовала. Она выпрямилась, посмотрела мне в глаза.

— Ты что? — спросила она. — Что с тобой?

Я хотел сказать ей всё, что я должен уйти, бросить ее, но у меня не хватало мужества.

— Так, ничего, Ксения, — улыбнулся я.

Она подошла ко мне близко и провела рукой по моему лицу.

— Для тебя... всё сделаю, — сказала.

— Зачем, Ксения?

— Ты не знаешь?

— Нет.

— Ой, самовар скипел! — вскрикнула, оттолкнула меня к стене и побежала к самовару.

— Быстро вскипел, как электрический.

— Что такое — лектрический?

Я долго объяснял. Она слушала очень внимательно, но по ее лицу, я видел, что всё это ей не нравится.

— Не понравилось?

— Нет.

— Почему?

— Скушно будет так, — произнесла она, задумавшись.

— Да почему же?

Ее лицо приняло детское выражение, когда ребенок хочет схитрить.

— Сказать? — улыбнулась она.

— Скажи.

— Вот, к примеру, ну, к примеру... только ты будешь смеяться надо мной...

— Не буду смеяться, — сказал я, засмеявшись.

— Если так, то не скажу.

— Да ведь если бы ты не сказала, что не надо смеяться, я бы не засмеялся.

— Ну, хорошо, иди пей свой чай, — и придала лицу серьезное выражение.

— Не буду пить пока не скажешь, что ты хотела сказать.

— Не будешь пить — будешь голодный.

— Ну, и буду. Я столько лет голодал, что выучился.

Девушка сначала думала, что я шучу, но когда увидела, что я действительно равнодушен к еде, и опять лег на скамью, она как-бы испугалась.

— Да ты сумасшедший, ты не знаешь, у тебя лихорадка.

— Это еще лучше что лихорадка, потому и есть не хочу.

— Ну, тогда хорошо, скажу, иди сюда... Я хотела сказать, что мне это лектричество не понравилось...

Но я видел, что она стесняется сказать, и я перебил:

— Это ты уже сказала. А потом?

— А потом... Я хотела сказать, что лектричество для семьи нехорошо.

— Почему?

— Ну, хорошо, ну, скажу, ну, вот, скажем, ты... мой муж... пришел с реки, устал. Скажем, чаю хочешь. Чай пока я не сготовлю, ты не будешь пить. А если это самое лектричество, ты меня и спрашивать не будешь, сам сделаешь, ты же сказал, в пять минут и готово.

— Так для тебя же лучше, если я приготовлю.

Она испуганно посмотрела на меня своими прекрасными каштановыми глазами.

— А я тогда чего?

— Да ты же моей женой будешь. И я буду любить тебя... сильно любить, Ксения...

— Да ну, а моя любовь какая будет?

— Как какая?

Она подумала, и отрицательно покачала головой.

— Не знаю как это сказать. Только я хочу, чтобы для моего мужа, ну... для тебя что-ли... я все дела сама делала.

Какая-то странная грусть наполняла меня. Я понимал, что с той минуты, как я уйду от этой девушки, я уйду от своего счастья, которое так неожиданно нашел. Я потеряю то счастье, которое дала бы мне Ксения своей любовью. Я смотрел на девушку и чувствовал, что мог бы жить с ней и в этой дикой тайге и на северном полюсе, жить питаюсь чем попало, хоть древесной корой.

— Опять задумался? Пей свой чай! — рассердилась Ксения.

6

Я макал соленую картошку в соль и запивал пустым морковным чаем. И картошку и чай готовила Ксения. И она хотела знать, вкусно иль нет?

— Может, картошка недоварилась?

— Нет, картошка замечательная.

— А чай? Если слабый, я морковки прибавлю.

— Нет, Ксения, всё вкусно, очень вкусно.

Она облокотилась на стол голыми локтями, зажала свое прекрасное лицо в ладони и смотрела на меня, как я ем.

— Завтра с утра я твою одёжу стирать буду, — сказала она, не изменяя положения.

— Нет, это не к чему.

— Почему?

— Да в ней же вата, в этой одёже. Если ее стирать, она за десять дней не высохнет.

— В печке за два часа высушу.

— Хорошо. А я в чем во время стирки и сушки буду?

— Будешь на печи лежать, чем-нибудь накроешься.

— О, нет, это дело не пойдет.

— Пойдет.

— Но...

— Что «но»? Твоя куртка хоть и старая, а годится еще, мы ее на зиму спрячем, а летом...

— А летом я наверное всё время на печке буду лежать.

Она положила свою голову на стол и начала хохотать.

— Да нет же, Сурен, нет...

— Ну, а как же? — смеялся и я.

— Я тебе рубаху сошью, — сквозь веселые слезы смеха выговорила она.

— Конечно, сошьешь. Я вижу, у вас десять сундуков полных ситцами, диагональю, драпом.

— Нет, я знаю из чего сошью, — сказала она обидчиво и серьезно.

— Из чего?

— Не надо тебе это знать.

— Если из медвежьей шкуры, я не буду носить.

Она опять начала хохотать.

— Да нет же...

— А из чего же тогда?

— Очень хочешь узнать?

— Очень.

Она была в нерешительности: сказать или нет?

— Не будешь злиться? — спросила спокойно.

— Не знаю еще.

— Ну, хорошо, слушай. У моей матери есть свадебное платье. Она мне его подарила, чтоб по праздникам носить. Вот я... тебе рубаху из платья и выкрою.

— Ты сама не знаешь, что мелешь, — рассердился я.

Она виновато опустила голову и тихо сказала: — Зря тебе рассказала, знала, что будешь сердиться.

Я перестал есть. То, что сказала девушка, ее забота обо мне, причиняло мне страшную душевную боль. Я не хо-

тел, чтоб она говорила так. Я хотел, чтоб она была безразлична ко мне. Я хотел, чтоб она сказала мне: «ну, время... ступай от нас...» Но наоборот. Всё шло так, как я не хотел. Я чувствовал глубокое душевное волнение. И сердился сам на себя, что допустил девушку зайти так далеко. Я ругал себя за то, что у меня не хватило мужества остановить ее на полдороге своего чувства.

— Ксения... — мой голос наверное пересекся и она меня не расслышала.

— Наелся? Ешь еще, что я тебя всё толкать должна.

— Слушай, Ксения.

Но она меня перебила.

— Вот я пойду согреть баню. И вечером будешь мыться. Скажу отцу, чтоб он тебе спину потёр...

Я почувствовал в сердце какую-то чисто-физическую боль. И вдруг сердце мое опустело от отчаянья, что я не могу себя пересилить. Мне становилось всё труднее и труднее скрывать свои чувства. Мне казалось, что меня порют плетями. Еще хуже. Мне казалось, что меня высмеивают. И высмеивает меня именно Ксения. Ксения, которая знает, что то, что она говорит, невозможно, невероятно. И она говорит это нарочно, чтобы нарочно причинять мне боль. Боль, боль и боль...

— Ну, хватит, хватит! Я больше не хочу. Хватит, понимаешь? — закричал я.

Девушка вздрогнула. Она была поражена.

— Кому ты это говоришь?

— Тебе! А то кому ж еще? — жестко ответил я.

— О чем ты сказал?

— Больше я не говорю.

— О чем?

— Ну, выгони меня из избы. Понимаешь? Выгони!

Она опешила. Она меня не понимала. Она и не могла понять. Не только эта простая девушка, а все мудрецы сейчас едва ли бы поняли меня.

— Ну? Не хочешь меня выгнать? Хорошо. Я сам пойду, — сказал я и встал из-за стола.

— Сурен! — вскрикнула она и схватила меня за руку.

— Оставь!

Ксения зарыдала.

— Что? Скажи мне? Что? — сквозь слезы говорила она.

Слезы женщины или ребенка всегда убивали меня. Плач Ксении заставил меня очнуться. Я понял, что это было бы невысказанно, невероятно, если бы я не объяснил ей почему я ухожу от нее. Я бесконечно раскаивался в своей грубости. Я посадил Ксению на скамью и сел рядом.

— Ксения, ведь ты же сказала, что знаешь, что я беглый? Да?

— Да, Сурен, — ответила она, утирая слезы ладонями.

— Хорошо. Но ведь я бежал же не из своего дома, я бежал из концлагеря. А это опасное дело.

— Ну, пусть. Ты и будешь у нас в погребке жить.

— Ксения, ты не думаешь что говоришь. Смотри. Твои родители хотят тебя выдать за Миколку, которого ты не любишь, но им нужны в хозяйстве рабочие руки. Если я буду жить у вас в погребке, я же не только не смогу вам помогать, а еще буду тягостью для семьи. Вы меня кормить будете. Это раз...

— Я буду за двоих работать, за меня и за тебя.

— Хорошо. Знаю, что ты это сделаешь. Но слушай же. Ведь если я буду жить в вашем погребке, меня же в конце концов арестуют.

— А кто узнает?

— Сверчки из вашего погребка пойдут да донесут. Если не в первый день, не во второй, не через неделю, то через месяц меня наверняка возьмут. Они окружат сперва весь поселок, а потом вашу избу...

— Ты можешь отбиваться и тут тайга близко.

— Я видел охотничью двустволку у твоего отца на печке. Еще хуже если я буду сопротивляться. Тогда не только меня расстреляют, а и вас расстреляют и всех жителей поселка сошлют. Такой «закон», Ксения. И я не хочу чтобы из-за меня тут кого-нибудь убили.

— Это правильно... ты хорошо думаешь..., — сказала она совсем спокойно.

— Вот, молодчина, Ксенья, спасибо, что поняла меня. Значит и не огорчайся, что я уйду.

— Что?.. — окаменела она.

— Я же тебе объяснил, и ты согласилась. Я сейчас должен уйти...

Она старалась улыбнуться. Может быть она хотела взять себя в руки. Может быть хотела показать свою женскую гордость. Лицо ее побледнело. Она прижала голову к стене. Повернулась к печке и как в столбняке, без конца, неморгающим, прямым взглядом стала смотреть на огонь.

— Ксенья... дорогая...

Но она не хотела слушать. Вдруг поднялась и вышла из избы.

Как только она вышла, я ощутил какую-то безграничную пустоту в себе. И любовь и радость к жизни оставили меня. И то гордое чувство, что я бежал из концлагеря, стало вдруг мне смешным. Мне показалось, что я убежал только для Ксении. И теперь, если я останусь без нее, мне всё равно, я могу и назад вернуться в концлагерь. Я почувствовал себя страшно одиноким. И совсем беспомощным. И вдруг мелькнуло безумное решение остаться у Ксеньи. Остаться хоть на один день, на два дня, остаться на неделю. Остаться столько времени пока меня не арестуют, не расстреляют. Но я понимал, что моим расстрелом дело не кончится. Я знал, что за это заплатят и Ксения, и ее родители, и многие невинные, которых я не знаю и которые не знают меня.

Ксенья стояла во дворе спиной к забору. Она глядела на землю и большим пальцем ноги чертила на песке какие-то линии. Я вышел из избы.

— Как пройти мне к большой реке? — еле-еле выговаривая, спросил я.

Не меняя позы, Ксенья показала рукой.

— Ксенья, хоть я и не виноват, что ухожу, а все-таки прости меня. Спасибо за всё, прощай...

Без единого слова она сорвалась и бросилась в избу. Потом, быстро выбежала из нее.

— Сурен!..

Я шел к лесу. Может быть я сделал двадцать шагов, но эти двадцать шагов показались мне бесконечными. Я заставлял свои ноги идти. От моего имени «Сурен» по телу прошла какая-то болевая дрожь. Мое армянское имя девушка произносила очень приятно. Она позвала меня своим грудным голосом. Какую-то теплую душевную окрашенность она вкладывала в русское произношение моего имени. И может быть поэтому я еще больше сейчас любил Ксению.

Минуты были решающие. Ее крик мог быть для меня роковым. Сейчас если бы девушка сказала мне останься, я бы остался. Я вернулся бы в избу и положив голову на ее колени, забыл всё в мире. Я забыл бы и расстрел. Были бы только мы — Ксения и я.

На крик Ксении я повернулся со страхом и радостью. Прижав к груди обеими руками несколько вареных картошек девушка бежала ко мне. Добежала...

— Сурен... идешь... вот картошку, возьми... в дорогу... у меня больше ничего нет, — прошептала она.

Чувство и радости и боли каким-то безумным круговоротом прошло во мне.

— Ксенья... — и больше ничего я не мог сказать. Ксения запихала мне картошку в карманы. И побежала от меня.

— Ксенья! — крикнул я.

Она обернулась. Наши взгляды встретились. Она словно хотела улыбнуться, как последний раз в избе. Но у нее только дернулись губы. Она вбежала в избу...

Сурен Санинян

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Уже не в Иере, а в Ганьи
Холодной, западной весной
В круговращеньи чепухи.
Не розы, пальмы, соловьи,
А клены, жабы, лопухи
Свидетели тоски дневной,
Участники ночной тоски.

Но одиночества тиски...
С какую пытку, с какой
Сравнится может одиночество?

Сбылось извечное пророчество,
Зловещая насмешка рока

До срока
Жестоко. И несправедливо.
Ведь жизни светлое начало
Мне столько счастья обещало,
А я сейчас одна стою
На скользком гибельном краю
Обрыва.

Нет в мире дружеской руки,
Которая бы удержала
В час огнедышащей тоски
Меня от гибели — падения.

Томленье... Головокружение
Над страшной бездною

И вот —
Паденье это иль полет?

Изнемогая я пою
 Отчаянье, тоску мою
 Пою, кричу, по-волчьи вою
 В сумасводящем вдохновении.
 И ангелы — стихотворения
 Записывают в звездном небе
 Слова мои.
 ...Где я? В Ганьи?

Иль я в раю,
 Иль в Петербурге над Невой?

2

*И опять в романтическом Летнем Саду,
 В голубой белизне петербургского мая
 По пустынным аллеям неслышно пройду,
 Драгоценные плечи твои обнимая.*

Г е о р г и й И в а н о в

За широкой, сквозной занавеской окна
 Голубиной дорогой летит
 Голубая луна.
 Бьет двенадцать. Все глухо, измученно спит.
 Я не сплю. Мне совсем не до сна.

Завтра утром... Но как далеко до утра!
 Разве было вчера или позавчера,
 Будни, праздники, всякие там вечера,
 Дни и полдни

С той самой поры,
 Как не кончив игры,
 Словно камень с горы,
 Словно камень упавший в колодец забвенья...
 Я не помню, не помню и помнить не надо
 И деревья чужого, Ганийского сада
 Серебристой листвой в забытии упоения
 Легким отзвуком ангельски-лирного пения
 Широко шелестят под луной.

...Ты вернулся. Ты снова со мной,
Мы выходим из темного, спящего дома
И по набережной, над Невой
Белой ночью, волшебной весной
В тихий, тихий, таинственный час...

Как мне всё здесь до боли знакомо.
Ты со мной, молодой и живой.
Взлет бровей очерченный четко
Над мерцаньем насмешливых глаз.
Летний Сад. Кружевная решетка.

Навсегда, неразлучно вдвоем
Мы с тобою обнявшись идем
По аллее Летнего Сада.

— Ты не веришь? Я страшно рада,
Я не помню ни горя, ни зла,
Я счастливой такой, как сейчас,
Никогда еще не была.
Всё как будто бы в первый раз.
Видишь, в небе звезда упала
И за нею другая опять.
Ничего я не пожелала —
Больше нечего нам желать.
Ты не веришь? Поверь мне, поверь,
Всё для нас прекрасно теперь
И луна хлопотливо-участливо
Распахнула нам вечности дверь —
Стелет ковриком Млечный Путь.
Но с тобой мне и вечности мало,
Ах, я счастлива, счастлива, счастлива!
Я устала, устала, устала!...

Спать. Скорее, скорее уснуть!..

Ирина Одоевцева

ЗАЛОЖНИК*

КНИГА ПЯТАЯ

Руководящий Центр. Доклад испанца. — Представитель СССР. Христианская культура. Буфет. — Русский № 2. Трещина. — Голосуют мое предложение. — Обильные возлияния. — Жертва Адриана. Чикаго. — Эпилог.

1

Генеральная Ассамблея открывалась 10-го декабря; по моему совету, Адриан снял на несколько дней комнату в большом отеле, где стояли дружественные нам делегации. Там, как полагалось, царило праздничное оживление, характерное для всякого международного съезда. Собрания происходили в подвалах старинной, торговой фирмы на Волл-Стрит, оборудованных хозяином, идеалистом, бывшим бутлегером, с комфортом и даже роскошью... Участвующим давалась возможность во время перерыва окунуться в самый омут банковской и портовой жизни. Над всем кварталом светило беспомощное зимнее солнце, нависало молочное небо, интимно связанное с землей (как наша кожа — с мускулами и скелетом); шелестели шины, у пристаней плескалась ничего не отражающая вода, пахло бензином, гнилью и смолой. Далеко, на площади, визжали тормоза или дети или жаворонки. Ветер с моря, вдруг налетал и немилосердно жалил; ночью улочки вымирали, было опасно ходить в одиночку и косой дождь подсекал лучшие поползновения нищих, пьяниц и полицейских.

Подземелья коммерческой фирмы были приспособлены

* См. кн. 60, 61, 62 и 63 «Н. Ж.».

для надобностей конференции умело и щедро, со множеством потайных выходов (прямо к воде). Амфитеатры, залы, корридоры, все наново отремонтировали, выкрасили, наполнили искусственным светом и теплом. Пока шли заседания организационных комиссий и комитетов, рядовые члены съезда выполняли обычные формальности, регистрировались, запасались карточками, значками, ключами. Сеть телефонов и переводчиков была налажена по примеру Объединенных Наций: много служащих, уволенных оттуда за коммунизм, разврат или нерадение, работали на Ассамблее внутренних эмигрантов и среди них попадались настоящие артисты.

После досадных хлопот, выяснив ряд административных ошибок и недоразумений, Адриан наконец получил удостоверение, программу и номерок. Формально его пришлось зачислить в делегацию эскимосов, так как американская группа, под руководством Боба Кастэра, была уже в полном составе. Торжественное собрание всё откладывалось, хотя давно уже отслужили подобие молебна и опорожнили в буфете внушительное количество заплесневелых бутылок, хранившихся еще со времен prohibition.

Задержка была вызвана непредвиденными обстоятельствами. Человек двадцать делегатов, а среди них очень влиятельные, не смогли высадиться с корабля, так как по новому закону, бывшим преступникам, красным и шалунам не предоставлялось это право. Многие, скомпрометировавшие себя даже случайно, десятилетия тому назад, попадали в категорию нежелательных. В иных случаях пришлось обратиться к хитрым уловкам и подкупу; впрочем, нескольких сотрудников так и не удалось заполучить. И это нарушило заранее составленный план, внесло смятение в ряды ветеранов конгресса.

Кроме того, Руководящий Центр никак не мог притти к соглашению относительно русской делегации. Как часто случалось в последние годы, право представлять Россию оспаривало несколько враждующих фракций. Напрашивался простой вывод: лишить их всех полномочий. Центр, однако, рассудил допустить две делегации, но только с правом совещательного

голоса, что составляло неслыханный прецедент в истории внутренней эмиграции. Это решение никого не удовлетворило и съезд открылся в обстановке горькой подавленности.

В парадном зале кресла были снабжены телефонными трубками; молнии-переводчики сидели за стеклянными навесами, готовые по данному знаку начать одновременную передачу с десяти языков на четыре основных, по образцу других международных организаций... что тоже возбудило недовольство матерых эмигрантов, приверженцев старого порядка.

Наконец, в торжественное воскресное утро, председатель, — с сонмом секретарей и заместителей, — занял место на трибуне и открыл конференцию. Делегации расселись по указанным местам; первым делом испробовали наушники и систему молнии-перевода. Работы седьмого Съезда начались.

Первый доклад читали испанцы: подвижной шуплый, одетый не без щегольства, барселонский герой, говорил об «ответственности внутренней эмиграции перед историей». Адриану, новичку, всё казалось важным и занятым. С жестами искусного фехтовальщика, оратор объяснил, что внутренняя эмиграция является солью каждой страны, совестью человечества, арбитром и беспристрастным свидетелем. По самой сущности своей, она выпадает из сутолоки жизни, не участвует прямым путем в борьбе светлых сил с менее светлыми, часто порицая всё. Тут парадокс, неустойчивое равновесие. В старину, всё развивалось проще, медленнее и такое положение вещей казалось допустимым: то что силы внутренней эмиграции упускали в современности, они навёрстывали потом. Ибо это «потом» существовало, наступало, являлось. И там сказывались наши мысли, слова, поступки. Но теперь наступили коренные перемены. Приближаются испытания на манер девятого вала, после которого, возможно, уже ничего не останется. Речь идет о цикле последних схваток, геологического размаха с немедленным итогом. Так что продолжать древнюю ортодоксальную традицию опасно и вредно. Вот почему испанская делегация вносит резолюцию, требующую участия в общей борьбе наравне с другими гуманитарными организациями.

«Разумеется, тут противоречие, разрешаемое только на путях духовного опыта, — объяснил делегат Испании и прошелся кривыми, напряженно-сдержанными шажками по эстраде, пощелкивая пальцами рук, словно кастаньетами. — Нам угрожает опасность вульгарной политики, что совсем не в моих планах. Однако, уходить из современной истории больше нельзя. Мы должны непосредственно помочь Богу хозяйничать в сотворенном мире».

Не успел Адриан сообразить от кого он слышал нечто подобное, как с разных мест послышались возгласы:

— Предатель, гангстер, ты скажи мне гадина сколько тебе дадено.

Ничуть не смущаясь, барселонец закончил призывом к всеобщему единению. Адриан сидел далеко от друзей и только удивленно озирался, не понимая всех внутренних пружин этого незнакомого механизма, но чувствуя их присутствие.

Нарцис попросил слова; судя по внешним признакам, к нему действительно относились с предельным уважением. Он заявил, что утверждение резолюции испанской делегации поведет к самоупразднению внутренней эмиграции.

Вслед затем выступил представитель СССР, причем ведущий собрание голландец счел нужным еще раз сообщить, что по причинам ни от кого независящим, делегации России не пользуются правом решающего голоса.

Русский казался составленным из множества крупных и разнокалиберных частей... Массивная голова пестрой раскраски; на большой, отмеченный кляксой родимого пятна, лоб падали седые и курчавые волосы (а на затылке лохматые, кирпичного оттенка). Левая рука белая, здоровая, подвижная; правая запухшая, темная, покрытая густой шерстью, обожженная. Один глаз карий, озорной и умный; другой, выпученный изуродованный, огромный, матово-мутный и застывший. Когда он поворачивался к собранию этой стороной, то все поражались значительностью и трагичностью его слов; но стоило русскому подставить свой второй, обыкновенный глаз и речь его сразу теряла всякую таинственность. Богатырского сложения,

он однако едва стоял, опираясь на костыли (выяснилось, что обе ноги его ампутированы, а протезы смастерил кустарь за пачку табаку). Никто не знал кто он, откуда взялся, даже нмён у него было несколько и это всем казалось странным, ибо в любой нормальной стране такая колоритная фигура прославилась бы хотя бы на время. Голос шипящий, неуверенно-взвинченный; позже стало известно, что и в горле у него дефекты, вследствие увечий полученных на работе, на фронте и в тюрьме (причем, вся его биография не совсем укладывалась в тридцатилетний возраст). Переводчикам было трудно справиться с его страстной и невнятной речью; движения этого огромного, обезображенного тела и двойственный образ глаз, явно выражали больше его случайных слов. Он мучительно резко жестикулировал, борясь с законами равновесия; так что делегаты с волнением следили за его маневрами на костылях — вот, вот грохнется, увлекая за собою всех сидящих на трибуне.

— Как вы хотите, чтобы мы принимали активное и прямое участие в истории, когда с нас и без того сдирают шкуру! — потрясал гигант костылем в синей, обросшей чужим волосом руке. — Это вам хорошо здесь, где разжиревший внутренний эмигрант пользуется пока охраною закона. У нас осталась только первобытная инерция: ни вперед, ни назад, ни в сторону. Лежать пластом, бревном на автостраде, камнем в поле. Вот наше участие и наша воля в истории и даже это становится невыполнимым. Вы не верите, подождите, голубчики, поймете! Или еще, при случае, бежать на запад. Но тогда из внутреннего эмигранта рискуешь превратиться во внешнего и теряешь собственное лицо.

Председатель, голландский поэт с кэмбриджским акцентом, примирительно объяснил, что съезду хорошо известна особенность русской темы и в повестке дня имеются пункты связанные с этим вопросом. Представитель СССР не должен выходить на трибуну, чтобы высказаться: у его места поставят микрофон и он сможет спокойно сидеть в кресле, если того пожелает. Что касается внутреннего эмигранта, бежав-

шего со своей родины, то он действительно, временно, превращается во внешнего по отношению к старому отечеству. Эта трагедия волновала лучших людей последнего столетия. «Но если вы сумеете уберечь свою сущность в новой стране, то опять станете внутренним эмигрантом. В этом величие и универсальность нашей идеи. Ее чаяния и отталкивания одинаковы повсюду, во все века, по крайней мере в рамках христианской культуры».

Тут резко запротестовал делегат Индии: выражение «христианская культура» неудачно и лживо, лучше в дальнейшем отказаться от таких ничего не выражающих штампов. «Сократ, Рамакришна, Манес, Толстой и Рэмбо одинаково чужды своему времени и своей цивилизации, являясь братьями друг другу».

Председатель сдержанно согласился. Делегат Англии, заикаясь, вразумительно указал на трудность разграничения между активным или пассивным сотрудничеством в истории. В круговороте жизни всё имеет последствия. Бездействие тоже акт, только с другим знаком; вакуум огромная механическая сила. Всё что люди делают или не делают порождает отзвук. Поэтому вопрос личной прикосновенности нельзя ставить по-обывательски.

Во время перерыва все прошли в буфет, исполинский, обставленный даже с излишним зеркальным блеском. Баром имели право пользоваться и близкие друзья делегатов, а также некоторые представители прессы. И вскоре, Адриан, Синтия и Диана оказались в центре кружка светских, веселых и пожилых людей (к ним часто присоединялся и я, охотясь за новыми голосами); пили умеренно, но с толком: даже Нарцис опорожнил стакан шерри.

На вечерней сессии выступили представители Ватикана и Швейцарии, с речами вызывавшими реплики и в последующие дни. Потом был почему-то заслушан доклад по археологии.

Так уже повелось, что ежевечерне после собрания мы отправлялись обедать и встряхнуться в отель дружеской де-

легации или в модный ресторан. Дамы Адриана уверяли, что им необходимо переодеться и ему против воли приходилось дожидаться. Сидя на стуле у Синтии или Дианы, он с интересом и страхом следил, как за стеною (а иногда и вихрем проносясь мимо), мылись, лудрились, брились, красились, причесывались, облачались женщины. Было такое чувство как в гараже, когда боясь внезапных заморозков, ждешь чтобы приспособили к зиме машину: меняют масло, жидкость в радиаторе, шины... и вот наконец подают автомобиль с рельс над ямою (обновленная, подогнанная для очередного сезона и дальних следований). Что-то похожее происходило здесь, хотя дамы беспрерывно болтали (выделялся волнующий, слегка вульгарный голос Дианы и шопот со смешком Синтии: Адриану казалось, что они делятся неприличными анекдотами). Предпочел бы остаться дома, не выезжать, но не смел даже заикнуться об этом. Впрочем, потом радовался, что очутился среди забавных незнакомцев с обильными тостами.

По дороге Диана настраивалась на философский лад и обсуждала выступление очередного оратора... Например представителя Ватикана, указавшего на возможность эвакуации Св. Престола из Рима (обсуждались приемлимые страны куда папе, в случае нужды, подобает переселиться).

.....

4

Для Адриана была неожиданностью его популярность: когда он наконец решился тоже выступить, многие делегации приветствовали его одобрительными аплодисментами и восклицаниями.

Упомянул о своем преступлении, но голландец призвал его к порядку: мандатная комиссия утвердила полномочия, значит нечего распространяться. Несколько сбитый с толку, и не имея навыка в такого рода собраниях, он с места в карьер внёс своё «двойное или тройное» предложение... Одна партия уходит в арктику, на неприступный, даже неведомый ост-

ров (такие существуют еще) и там закрепляется — дружной семьей. Другую артель бросят, когда позволит техника, в стратосферу: ракета, площадка, спутник земли. Там можно собирать музейные ценности и живые предания; но главное — развивать божественную людскую способность к творчеству и тяготение к братской любви. Если нужно, сам Адриан уйдет в такие катакомбы, он знает женщин, которые согласятся его сопровождать. Они будут воспитывать потомков, достойных возвратиться на землю (которая тоже есть небесное тело). Когда период цепных реакций минет, новые святые и жрецы сразу появятся на уцелевшей тверди — вооруженные всем историческим опытом, боговдохновенные и почитающие в брате своем, Христа. Тогда наступит Тысячелетнее Царство.

— Мы танцуем в одной паре с Богом, страшно находиться в Его объятиях, но надо сохранять ритм! — говорил убежденно Адриан, уже совсем не смущаясь. — Обыкновенно думают, что апокалиптические Гог и Магог это индивидуумы: Наполеон, Чингис-Хан, Сталин. А я доказываю, что это станы, лагеря, блоки. Когда они охватят действительно всю землю, их ввергнут в кипящую смолу и спасется только третий, не присоединившийся ни к Гогу, ни к Магогу. Сохранимся только мы, наши потомки, в этом смысл, пророчество и мудрость. Мое предложение открывает еще один обязательный путь: отдельных героев, неорганизованных партизан, танцующих страшный народный танец... Цепляясь за землю, в кромешной тьме или в бездне пламени, они могут отстаивать до последнего вздоха дорогие нам имена и чувства. Ибо знают: с их гибелью дело божественной жизни не пройдет! Там на островах и в стратосфере, остаются еще свидетели. Катакомбы и небесные спутники существуют в резерве и за ними последнее слово.

Речь Адриана, горячая и искренняя, понравилась многим. Председатель поспешил резюмировать сущность предложения, после чего немедленно попросил слова, тоже впервые, русский № 2. Его внешность давно привлекала наше внимание. Диане он казался идеалом карикатуры и она непрерывно

(весьма забавно) набрасывала его силуэт. Длинная, продолговатая, очень узкая, несимметричная голова, покрытая гладкими, седыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Выразительные, серые, умные, холодные глаза. Сутулые плечи, чахлая грудь, маленький, непропорциональный (к голове) рост и тихие движения делали его похожим на духа из романтической сказки; однако, трудно было решить: добрый это или злой гений. Желтые, морщинистые щеки, высокий, болезненный лоб и тонкий, большой рот (губы постоянно двигались, когда он сидел молча или отдыхал одиноко у бара). Голова свисала всегда на бок с длинной, тоненькой шеи в твердом воротничке. Он не расставался с толстой палкой (потом выяснилось, что это зонтик в футляре). Носил калоши даже в амфитеатре и его старенький, опрятный сюртук застегивался высоко на груди. Слабые, сухие ножки с трудом носили тело насекомого (так крылья иных птиц служат только генетическим памятником, не позволяя им летать). Голос, хотя тихий, но приятный и очень убедительный: казалось равномерно вбивал множество маленьких острых гвоздей. Он пробрался к трибуне в своих калошах и с зонтиком подмышкою, сухой, серьезный и торжественный; делегаты отодвигали стулья из прохода, давая ему дорогу и он каждого благодарил изысканной фразой (причем, обнаружилось, что ему одинаково доступен десяток языков).

Предложение эскимосского делегата конечно заслуживает внимания, особенно если техника уже позволяет подняться в межпланетное пространство. Однако, почтеннейшие современники, обратите внимание на парадокс: только что в кандидаты родоначальника Тысячелетнего града предложил себя нераскаившийся убийца! И здесь узел нашего века. В древности, черта между героем и мерзавцем проходила довольно отчетливо. Но это кончилось. Нынче офицер, предавая отечество под влиянием пыток, не считается изменником. Застенки освобождают каждого от личной ответственности и вся жизнь превращается в подвалы министерства внутренних дел. Сущность человека радикально отделяется от его проявлений. Вот

завоевание наше. И в самом деле, может ли субъект свободно выбирать между добром и злом, если ему вгоняют под ногти усовершенствованные гвозди, изготовленные из костей его предшественника? Детоубийцы-святые, герои-предатели! Как ориентироваться в этом мире? Наши гуманисты готовы принести в жертву целые народы, расы, континенты для какого то блага остальных: ведь всё равно пропадать! Расходятся не в принципе, а в количестве дозволенных насилий. Класс, страна, раса — все рады отделаться так дешево. Мальчик у Христа на елке уже ничего не требует... Во-первых, ему известно, что он далеко, шельмец, не безгрешен; а во-вторых: условия жесткие, а так и так — гибель! Господа, катастрофа давно произошла и многое уже безвозвратно утеряно. Я говорю о чувстве чести, дружбы, любви, верности, правды, наконец, совести.

Тут произошла маленькая заминка: разгорячившись, Русский № 2 вдруг перешел на французский язык, грассируя с шиком восемнадцатого века. Пришлось переключить линию молнии-перевода.

Самая большая опасность, угрожающая людской совести это даже не победа большевизма, а только его признание, как спасителя, авангарда, временного освободителя. А такой анекдот возможен ибо история не любит судить победителей. Память у людей коротка и мы должны принять все меры, чтобы заклеить эту мерзость и запустение — иначе забудут! Станут ссылаться на лживые примеры: Наполеон, Петр Великий. А Чингиз Хан, сколько добра понаделал, одна почта его чего стоит! «Историческую эпоху надо рассматривать в целом!» И тому подобный подлый вздор. Вот это реальная опасность: оправдание зла задним числом. Забвение неопишуемых, смердящих подлостей. Вот против чего следует бороться нам, внутренним эмигрантам.

— Отныне, мы должны точно определить, что победителя судят и защищать всеми мерами эту самоочевидную истину!

Но тогда, конечно, люди порядка Адриана не годятся для наших целей, пока не пройдут соответствующего искусства. А

если случится, действительно, что история оправдает всю эту сволочь и докажет, что она тоже ведет к прогрессу, то нам всем нечего делать ни в истории, ни в прогрессе.

— Не знаю, как вы, но я лично и моя группа еще не намерены хлопнуть дверь. Мы остаемся в поле и продолжаем борьбу, хотя лица друзей уже не различимы и голоса доносятся всё слабее и разрозненнее.

Разумеется, сознание, что там где то, в атмосфере или на полюсе закрепились возможные спутники, придаст бойцам новую силу и надежду. Но как и где выбирать соратников, вот вопрос? Ясно, что у них должны быть чистые руки.

Эта речь была выслушана со смешанными чувствами. Политика явно стучалась в дверь и мы шарахались от ее вульгарного лика; и в то же время невольно поддавались чарам тихого, убедительного голоса, настойчиво вбивавшего свои гвозди.

Шпион, диверсант, — раздалось несколько возгласов. — Сколько Вашингтон заплатил! Урановая руда! — многие, впрочем, аплодировали.

Участники Конференции постепенно делились на две партии. Одни склонялись в сторону катакомб, за конспирацию духовной деятельности, выжидая благоприятного момента в будущем; другие, ссылаясь на тексты библии и философов, — утверждая, что Богу нужна наша гибель, что она входит в план мироздания, — тяготели в сторону максимализма: на ура, затыкая пальцами пулеметы, вперед... и в последний час силы верховные вмешаются и решат спор!

Выступление Адриана помогло мудрецам выработать соответствующий компромисс... Каждая группа получала право действовать сообразно обстановке, склонностям и симпатиям. Одна партия оставалась наверху: могла открыто продолжать сопротивление, надеясь на чудо! Другая уходила в подполье. (С ужасом Адриан вдруг убедился, что именно этому учил патриарх через подставной греческий хор своих манекенш).

Особой перманентной подкомиссии поручалось составить проекты современных катакомб — подземных и межпланет-

ных; рекомендовалось обратить должное внимание на технику освещения подземелий. Первые семь-колонии должны начать функционировать не позже 1969 г., таков наказ Генеральной Ассамблеи.

Наступил черед для моего предложения (десант на о. Санникова). Несмотря на принципиальное сочувствие большинства участников, преңия сразу развернулись неблагоприятно. Отталкивал грубый политический привкус этого предприятия и возможная эксплуатация его силами в общем нам чуждыми. Обыкновенно, такого рода вопросы обсуждались предварительно влиятельными членами комитетов и легко было догадаться, что они уже заняли враждебную позицию.

Безучастно я следил как рушится мое дело, как рассеивается надежда на спасение Жана Дута, личность которого возбуждала скорее отталкивание (лучи Омега, изобретенные им, вызывали смесь отвращения и недоверия). Председатель начал поименное голосование; по его оклику, делегации в полном составе всходили на трибуну и глава их торжественно отвечал (часто на незнакомом языке): да или нет!

— Абиссиния!

Они поднялись по знаку своего главы и среди напряженного молчания прошли вперед; красивые, тонкие, серые лица под словно высеченными, отчетливыми мелкими кудрями. Вот они выстроились на мостках: близко, но отделенные материками, морями, культурами и самым спорным и убедительным в жизни: историческим опытом. Эти люди знали всю несправедливость исторической справедливости и всю законность победоносной беззаконности. В 20-м веке они боролись с призраком феодализма и древними орудиями пыток; других Муссолини травил прогрессивными немецкими газами. А самые молодые пересекли с англичанами и войсками генерала Ле Клерка весь материк, защищая, как им мнилось, христианскую культуру. Наконец начальник делегации отделился и еще раз оглянув своих единомышленников, твердо выговорил:

— Но.

Неожиданно раздался многоголосый рокот на многих язы-

как; возгласы всё повторялись и перекатывались из одного угла амфитеатра в другой, пока делегаты Эфиопии в том же порядке возвращались по местам. Они несли с собою правду, уничтожавшую мою (так скаковым лошадям надевают шоры, чтобы они не отвлекались посторонними впечатлениями и выполняли только основное задание).

— Аргентина! — прозвучал голос председателя.

И вот опять замечательные люди потянулись к эстраде; тоже отделенные материками, веками и опытом. Потомки блестящей знати и темных крестьян, жертвы застенков, герои путчей, искусные наездники, фехтовальщики, быстрым скачком усвоившие лучшее и худшее из современного хозяйства. Собрание ждало их знака точно притаившийся оркестр. Лидер делегации, коренастый, похожий на отставного торреадора, известный публицист, с безобразным шрамом во всю щеку, медлительно обернулся, взглядом проверил себя и соратников; потом громко произнес:

— Но, синьор президенте.

Ярость и досада охватили меня. «О, о, о, о,», — прозвучало в груди; и такие же звуки доносились со всех сторон.

— Австралия!

Это были почти все очень молодые люди, высокие, стройные, как мачты, но с физическим недостатком: здесь недоставало руки, там ноги, у третьего что-то не ладилось с челюстью. Начальник, офицер Раф'а, гигант с детской улыбкою, ободряюще кивнул своей команде и сказал:

— *Alas, no.*

— Отвечайте только да или нет, — строго заметил председатель. А мы, поддерживающие предложение, сердито завывали, засвистали.

— Но, — повторил тот и опять улыбнулся мягко, но непреклонно. Они тяжело передвигались назад; ближайшие встали, чтобы пропустить их и видно было: австралийцы на целую голову выше других членов собрания.

— Бельгия!

Люди среднего и даже старшего возраста, профессора,

писатели, герои подполья, вместе с нео-католиками и коммунистами вынесенными тяжесть борьбы с немецкими шалунами. Лидер делегации, знаменитый физик, знавший об атомной бомбе всё что ученому надлежало знать, откашлялся и слабым, но привыкшим к публичным выступлениям голосом, заявил:

— Уй, Мэсье ле президан.

Это был первый голос, поданный за экспедицию в советские лагеря. Кругом кричали на разных языках, ругались, улюлюкали (так шумят пастухи, когда стада смешались и трудно распознать свою отару). А профессора в старомодных сюртуках стояли молча и неподвижно, по виду мягкотелые, но всей жизнью доказавшие, что их не купишь, не запугаешь, не вывернешь наизнанку привычными средствами.

— Боливия! — председатель позвякивал будто множеством колокольчиков. — Боливия!

Выступили смуглые, поджарые мужчины прошедшие удалую школу междуусобиц и пограничных стычек, запросто оброщавшиеся с текстами Бергсона и Достоевского.

— Нот нау, синьор президенте.

— Отвечайте только да или нет, — приказал председатель. И лидер повторил, отвесив поклон испанского гранда:

— Но.

— Бразилия!

Они не успели еще взобраться на трибуну, когда д-р Голец, бывший друг Салазара (отсидевший 15 лет в тюрьме) поспешно бросил:

— Си, синьор президенте.

Это было второе «да» за мое предложение; оно исторгло у нас крики восторга, гордости. Вообще, вид этих зрелых людей, славных и стойких, известных мне по многим делам, наполнял сердце чувством неожиданной радости. Надежда снова крепла в душе. Строить и бороться — надо, можно! Вот прошел необъятный Свифтсон; он голосовал против, но ему я охотно простил. Затем таинственный Боб Кастэр, чьему флоту вероятно суждено еще сыграть решающую роль в последние дни.

— Иес, — сказал он от имени американской делегации. И это было для меня гораздо больше чем только еще один голос за освобождение мучеников.

Я голосовал вместе с французской делегацией; эскимосы тоже ответили «да». Всего поддержало проект девять стран из шестидесяти пяти участвующих. В частном порядке, мне позволили план свой осуществлять, на собственный страх и риск! В этот вечер, девять человек собрались на квартире Адриана (еще были дамы, Клаус и Редактор); мы потерпели поражение, но чувствовали себя на редкость бойко и беседа протекала оживленно, сдабриваемая калифорнийским шампанским.

Эскадра Боба Кастэра располагала одним пароходным ледоколом, заново отремонтированным; я это знал и все-таки был потрясен, когда он вдруг заявил, что предоставляет судно для нужд экспедиции... Больше: Боб сам присоединяется к нам вместе с шестнадцатилетним сыном (это будет хорошей школой для юноши, родившегося при обстоятельствах чрезвычайных). Сабина беременна и только поэтому не сможет сопровождать своего мужа и ребенка. «Да здравствует адмирал!» — грянули южно-американцы.

Адриан сообщил, что он уже давно готовится к этому путешествию и берет на себя навигационную часть. Мы пили и клялись в вечной, мужественной дружбе. Казалось, Жан Дут присутствует среди нас (это мне всегда чудилось в счастливые минуты жизни). Даже Нарцис больше не возражал, досадливо отмахиваясь от чересчур восторженных речей. Редактор вполне сочувствовал, хотя лично не собирался в полярные тюрьмы: ему еще есть что делать под этими широтами. Но такое дело достойно воинов, христиан и поэтов; Виргилий все это предсказал...

— *With a new Tiphys at the helm, a second Argo will set out, manned by a picked heroic crew. Wars even will repeat themselves and the great Achilles be dispatched to Troy once more.*

В какую-то минуту общего ликования, я выглянул на кухню и заметил, что Синтия стучит на машинке под диктовку

Дианы... У меня создалось впечатление, что это протокольная запись наших разговоров и постановлений.

— Пускай, — решил Адриан. — Все равно кто-нибудь проболтается. Поймите, нынче предают совсем не предатели и картины пишут совсем не художники.

.

6

Все эти недели мы жили словно на бивуаке, ожидая со дня на день, обещанного Бобом Кастэром, ледокола «Святая Амеба». Нас трепала лихорадка далеких рейсов и неведомых земель; во сне мы сжимали стволы невесомых автоматов и пускали трасирующие очереди по ледяным дзотам. Особенно хлопотали дамы, снаряжаясь в путь. Нарцис только вздыхал. Дело почиталось в принципе улаженным. Я уже запасался одеждой, провиантом, оружием, вербовал экипаж. Все это требовало внимания, усилия и смекалки ибо предложений было хоть отбавляй! Увы, нас ждало еще одно жестокое испытание, впрочем, не по вине Боба Кастэра.

Как раз перед Рождеством Адриан получил несколько официальных повесток. Одна — из суда, вызывавшая его опять по делу о быстрой езде и буйстве (а залог ему давно вернули)... Вторая — от Локал Борд: армия приглашала его на медицинское освидетельствование (несмотря на участие в прошлой кампании).

Возмущенный Адриан решил объясниться в своем участке № 15... Но указанного номера дома ему никак не удавалось найти. На Бродвее у 96 улицы, между двумя соседними номерами находился только кинематограф! В табачной лавке его пожалели и сообщили, что именно над театром, во втором этаже, помещается нужное ему учреждение. И Адриан купил билет на представление (чего вовсе не требовалось). За кассой, расположенной в центре большого крыльца, — дальше, сбоку, — узенькая дверца вела на темную лестницу и вверх... Он очутился в балагане перегороденном деревянными щитами,

где стояли низкие, неотесанные скамьи. Все походило на сцену из романа Кафки и Адриана раздражало до чего быстро гениальная пронизательность прошлого десятилетия становится банальностью настоящего.

Молодая, теплая, красивая негритянка ему ничего положительного не могла сказать. У нее было такое стройное, живое тело, что несмотря на свою общепринятую одежду, она казалась совершенно обнаженной. Он должен явиться на осмотр, как специалист; впрочем, после, он может апеллировать, если сочтет нужным: закон предоставляет такое право.

Как всегда, прикоснувшись к административной машине, Адриан чувствовал отвращение и страх. (Косность материи обижает, но живые люди изображающие винты и гайки еще хуже...) Не настаивая, выбежал из балагана, вниз, мимо гордо восседавшей в непроницаемой башенке несовершеннолетней куклы, продающей билеты.

Поел в ближайшей кафетерии (прислуга вырывала из рук еще не отставленные тарелки и чашки). Потом медленно побрел в печальных сумерках вверх по Амстердам авеню. Там, сквозь сетку мокрого снега переливались огни пухлых елок с матовыми шарами. Темные ребятишки, похожие на сопливых херувимов, застывали от восторга перед назойливым рождественским великолепием; можно было догадаться, что эта самая улица, вызывавшая брезгливую скуку у Адриана, оставляла в их сердцах одно из самых блаженных впечатлений детства.

Неподалеку от Сэн Джон дэ Дивайн (куда они раз пошли с Чарли), на противоположном тротуаре, двое порториканцев с вдохновенными лицами стукнули сзади по темени девицу и вырвали сумочку; машинально она побрела дальше, прохожие удивленно и грустно шарахались от нее... А может это были призраки, ибо при неверном свете, сквозь косое сито крупы, даже дома казались покривившимися и одним углом уже в другом плане.

«Мне вероятно нужны очки», — подумал Адриан равнодушно. С холма виден был Нью-Йорк или вернее огни фанта-

стического города. В перспективе улицы и башни уподоблялись бесчисленным, освещенным елкам.

Хозяева мелких магазинов стояли у дверей и сурово, критически оглядывали прохожих: казалось отмечали в штрафную книгу тех, что пробегали без груды разноцветных пакетов и кульков. Недавно в баре Конгресса депутат Пакистана высказал насмешлившее всех мнение, что Сократа казнили скотопромышленники за критику института жертвоприношений. Тут на улице, Адриан сознавал: если бы кто-нибудь вдруг усомнился в прямой связи между рождением Спасителя и покупкою бесчисленных подарков, то коммерсанты разных вероисповеданий одинаково бы разорвали смельчака на части.

Город празднично закатывал подведенные глаза, кротко скалил фальшивые зубы, как старый лев в клетке зоологического сада; тяжелые мысли, неосуществленные сны и дикие пророчества плыли в его косматой, плешивой голове. Накрашенные Санта Клоз'ы, запрятав под бороду домашние заботы, румяно раздавали грошевые подарки и рекламы. Сверху сыпал снег, но стегал грязный асфальт уже дождем; за его серым пологом, вдоль по Авеню скользил фургон, похожий на подвижную гильотину: грузовик собирающий мусор! Два тусклых существа в странных капюшонах и с подобием крыльев за спиною, — как у стражи на стене Тысячелетнего Града, — опорожняли баки с отбросами квартала. Машина зубьями зацепляла подаваемую пищу, всасывала ее, поглощала, урча и давясь. Вот один из крылатых, неловко сунул рукав под сцепления — его неохотно потащило в чрево ящика, ударяя тяжелыми ножами. Прежде чем вожатый услышал крик и успел остановить механизм, призрак до половины уже скрылся в пасти мусорного гроба.

«Нет, у меня бред, — успокаивал себя Адриан, как всегда в таких случаях, — это мне только мерещится», — поспешно удаляясь от разноязычного гомона сбегавшейся толпы.

Дома его ждали Диана и Синтия. Оповещенные мною, сообщили, почти плача, что Боб Кастэр отказался от участия в

нашей экспедиции: и ледокола предоставить не может по независящим от него обстоятельствам.

Вскоре я и Нарцис явились на его квартиру, ставшую в некотором роде нашим штабом (есть такие дома и люди, где охотно собираются). Мы ели макароны по-итальянски и Нарцис добросовестно объяснял вещи понятные всем: на Боба Кастэра было оказано давление. Он способен отстаивать свою основную линию, не идя на уступки, но во всем остальном вынужден подчиняться. Так иной художник, когда творит, не поддается никаким уговорам и внешним влияниям, но пристраивая произведение согласен льстить, унижаться и даже лгать.

Наполнив стаканы красным вином, Адриан торжественно поднялся, точно готовясь провозгласить тост; мы с огорчением на него глядели, не расположенные шутить. Впрочем, меня тогда же поразил, хотя я не сразу обратил на это внимание, его словно преображенный вид — кроткий и мужественный. Памятная для всех нас минута, горькая и священная. Одним решительным поступком он спас дело моей жизни. (Я тут же мысленно поклялся подробно описать историю этого подвига).

— Ну чего еще болтать, — сказал Адриан, слегка прищурившись, будто рассматривая нас уже издалека. — Всё толкает в одно направление. Надо повидать шефа, я приму его условия, если он позволит вам отправиться в путь.

— Но тогда ты уже не поплывешь, — с неожиданной печалью закричал Нарцис, — ты застрянешь здесь, принесешь себя в жертву! — (что за бездарное существо).

— Что же, и такое случалось, — твердо и просто улыбнулся Адриан: лицо его посветлело. — Какой я к чорту внутренний эмигрант. Да и вам полезно иметь заложника у таинственных и сильных гадов. Вообразите, из вас варят мыло, а я надзиратель, все-таки утешение! Патриарх во многом прав. Отправляйтесь за полярным руном. На свободе вы быть можете вспомните с нежностью обо мне. Это все что мы в состоянии сделать друг для друга и этого пока достаточно.

Синтия и Диана его уговаривали, попрекали, но напрасно! О, как я восхищался им: меня на такое не хватало.

Шеф долго не соглашался встретиться с Адрианом, желая его пугнуть или действительно потеряв к нему интерес. Потребовались разные уловки, чтобы удостоиться свидания; в этом смысле, Нарцис безусловно проявил себя верным другом на которого можно рассчитывать в трудную минуту. (Раздражали только беспрестанные, оккультные вопросы, вроде: «ты не изменил своего мнения? ты определенно этого хочешь?») Наконец, нажав сложные кнопки, использовав тайные козыри, Нарцис добился аудиенции. Шеф как раз отлучился по делам в Чикаго и так как время не терпело, то Адриан немедленно полетел туда.

Встреча произошла на знаменитых бойнях (предприятие в котором шеф был заинтересован). Не стану описывать этого отвратительного и полезного учреждения, известного понаслышке всему миру. Там к празднику обезглавливают десяток миллионов голов рогатого скота и еще больше свиней. Скажу только, что впечатление, произведенное этим убийственным, лоснящимся и пахучим конвейером, было смешанное. Лаборатория, фабрика, древний храм или коричневый госпиталь... Но Адриан с честью выдержал испытание (пожалуй, шеф именно с этой целью и вызвал его туда для переговоров).

— What can I do for you? — вежливо осведомился Шеф, а в глазах его, живых, ярких, синих, еще отражалась вереница библейских животных вприпрыжку, охотно и кротко, бегущих по дорожке высоко вверх под острый нож (так что туши их потом сползают вниз, используя собственный мертвый вес, как механическую силу). — What seems to be the trouble?

Адриан вкрадчиво объяснил, что согласен на все условия патриарха: откажется от личных склонностей, забудет свое прошлое, станет членом ордена и будет послушно выполнять поручения... У него только одна просьба: экспедиция должна отправиться весною севернее Новосибирских островов для освобождения узников из лагеря!

— А если я откажу? — высокомерно спросил шеф, перебирая на столе какие-то мешочки и коробочки.

— Тогда я расскажу про убийство девочки и как это всё просто! Вы этого ведь хотите избежать...

— На вашей конференции демонстрировали электрический стул, — неожиданно сказал шеф. — Вас не пугает такая смерть? Мясо дымится до и после конца, а что человек испытывает, никому не привелось описать! Ведь вот какая хитрая комбинация.

Адриан молчал и думал: честно говоря, смерть Ксантиспы ему не по силам.

Патриарх улыбнулся и отодвинув окно стеклянной вышки, где они находились, что-то крикнул... (Душа содрогнулась от райского мычания скота). Через несколько минут, навверх, по витой лестнице взбежал, запыхавшись, Клаус в окровавленном фартуке, с засученными рукавами и с выражением лица примерного подчиненного, которого оторвали от интересной работы.

— Джо, — небрежно произнес шеф (таким тоном он все-таки к Адриану не обращался). — Вот он продолжает утверждать, что убил Эльзу.

— Чепуха, — беззаботно возразил спрашиваемый. — Эльзу изнасиловали и убили трое негров, приятелей кухарки: они сознались.

— Это ложь! — закричал совершенно вне себя Адриан: — Девочку никто не насиловал, я придавил ее подушкой.

— Имеется протокол вскрытия, — снисходительно заметил патриарх, стесняясь своего подавляющего превосходства. — Между нами говоря, они могли проникнуть туда после вашего ухода.

— Но Диана свидетельница! — Адриан угрожающе подступил совсем близко; шеф слегка отстранился и озабоченно пожевав губами, прошамкал:

— А Диана покажет что ей велят. Рассудят: сумасшедший. И посадят в смешной дом с решетками. Там смиренная рубашка и электрические аппараты, — шеф вдруг подмигнул озорным глазом; потом, будто пожалев опешившего Адриана, добавил: — Я вам сочувствую, я тоже начинал вот

так... диким, одиноким, непрактичным, храбрым юнцом. Вы мне напоминаете это героическое прошлое, иначе не возился бы с вами! Обратите внимание: я узнаю ценных людей с первого взгляда. Вы ушли дальше моего поколения. Новый человек: вы еще переживаете и мыслите, но уже по-настоящему ничего не чувствуете. И не смеетесь! Хорошо, я исполню просьбу, — неожиданно решил старец, — Теперь, когда ясно, что вам не удалось запугать меня. Надеюсь, вы не обманете нашего доверия и в ближайшем будущем станете незаменимым сотрудником — голос шефа звучал почти отечески; одновременно, брезгливым жестом, он отпустил Клауса. — Я сегодня же позвоню Бобу Кастэру, — продолжал он. — Пускай освобождают десяток несчастных; безрассудно, да и вряд ли удастся! А вы уже с нами и готовьтесь к серьезной деятельности. Мы вас научим что делать и с кем. А потом вы будете подвизаться один. Один, понимаете это слово? — спросил патриарх и подошел к окну. — Здесь интересная организация, немного устарелая, но поучительная, — добавил он другим тоном.

Из окон круглой башни виднелись низкие коричневые строения; кое-где простирались длинные навесы, казавшиеся снизу маленькими и лирически скромными. По одной стороне главных корпусов тянулась площадка, залитая асфальтом, с рядом качелей и гимнастических приспособлений для игр. Из уютного каменного домика на крыльцо высыпала орава детишек и растеклась по огороженному участку.

— Это ясли для ребятишек, — с нежной улыбкою заметил шеф. — У вас нет детей?

— Нет, — удивился Адриан.

— Вам многое должно быть непонятным. У меня внуки и даже правнуки, — признался патриарх. — Вот завтра канун Рождества, а я еще не успел заказать всех подарков.

Лицо шефа вдруг просияло, эти слова как бы прибавили к нему одно измерение. Адриан живо представил себе старца в кругу патриархальной семьи, раздающего игрушки у богато разукрашенной елки.

Какие игрушки вы больше всего любили? — спросил шеф. — Что бы вы посоветовали для моих внуков? У меня не хватает воображения. Тем более, что я не одобряю в домашнем быту излишка механизмов.

Адриан подумал и обстоятельно ответил:

— Моя первая игрушка — мяч. Я мог долго и страстно им заниматься. Второе: обруч. Здесь этого нет. Мы жили в Швейцарии и я целыми днями носился по дорожкам сада, катая деревянный обруч.

— Это нам не годится, — решил патриарх.

— А третья моя забава: ходули! Знаете, такие колодки на столбиках и превращаешься в настоящего великана. Это я обожал.

— Отлично, надо будет достать, — обрадовался старик и отметил что-то в записной книжке.

Медленно спустились в открытом лифте и пошли назад по мрачному, пахучему двору вдоль низких, закопченных, лоснящихся и содрогающихся корпусов. У одного кирпичного здания с окнами под самой крышей они заметили, как шесть тяжелых мужиков в коричневых фартуках избивали спортивно одетого блондина в роговых очках, похожего на Харольд Ллойда. Из объяснений подошедшего с докладом старшего Адриан понял, что это журналист и его поймали с фотографическим аппаратом внутри мастерских.

— Я думал, что все любят прессу, рекламу, — сказал Адриан, когда они отошли.

— Ну к чему приведет такой документальный фильм? — терпеливо возразил патриарх.

— Многих вероятно стошнит.

— Вот именно. А мы избегаем этого. Что станет с фермами и животноводством, если перестанут потреблять мясо? Вот вы все видите одну сторону вопроса, потом переходите к другой и опять меняете решение. Я поклонник абстрактного искусства, изображающего предмет одновременно в разных планах. Когда придёте в гости ко мне, обязательно полюбуйте Пикассо. У меня висит картинка: святой гангстер... В своем

духе, мы стараемся подражать ему, а вам кажется: грубо, быстро, нескладно.

Они обедали в отдельном салоне наверху большого отеля. Патриарх заказал омары; Адриан кроме того еще потребовал бифштекс: огромный и окровавленный, на всю тарелку. Вина были незнакомые (испанские), но отменные.

— Я думаю, что пока останется хоть один человек, любовь, жалость, счастье, будут время от времени пускать ростки на земле, — заявил Адриан, как всегда приходя в хорошее расположение духа за едою.

Шеф держал себя просто и благожелательно; со сверкающей салфеткою, медленно и чисто прожевывая, он казался приятным и умным собеседником.

— Да, так было пока дело велось кустарным способом, без плана, — объяснял он. — На нашу долю выпадали образчики счастья: вдохновение, влюбленность, песни, закат над океаном или прерией. И мы стремились разделить это чувство с ближними. Но при надвигающейся системе, возможно, что радости больше долго не будет. Тогда конец, вместе со счастьем иссякнет чувство любви и добра. Концентрационный лагерь это стержень грядущей эпохи: новый млечный путь и вся жизнь там сосредоточится.

— Но где же тогда Бог? — тихо спросил Адриан и нахмурился.

— Вы сами знаете ответ, — ласково ответил патриарх: — Для Бога создавать божественное бесцельно: это бы ничего не прибавило. Он извечно проявлял себя таким образом. Мир зародился, когда Он сотворил не-божественное.

— Я кажется понимаю, — лицо Адриана, усталое и серьезное, вдруг озарилось детской улыбкой.

— Такова диалектика небожественного в мире, — продолжал патриарх. — Но есть еще трудность, которую вы пока не сможете понять и мои слова вам не помогут в этом... Откуда взялось анти-божественное?

Оба молча отхлебывают черное кофе и курят зеленоватые

сигары. Адриану мнится: капитан Авель проходит за большим окном на уровне двадцатых этажей и постукивает палкою.

— Хороший коньяк отличается от плохого тем, что его можно пить без конца, — пошутил шеф, подливая в огромные, пузатые бокалы желтоватую жидкость.

Так решилась судьба экспедиции на Землю Санникова. Синтия обвенчалась с Адрианом и мы очень скоро совершенно потеряли их из виду.

Новый год наша компания праздновала шумно и безудержно; все неоднократно осушали стаканы в честь исчезнувшей без следа четы. Но если верить свидетельству толковых людей, мы еще встретимся с Адрианом — и при самых неожиданных обстоятельствах.

7

Я в капитанской каюте; вода мерно стучит в борта пароходного ледокола. Машина сдержанно вздыхает: вибрирует пол, поскрипывают переборки. «Св. Амеба» ретиво бежит по упругой волне, используя ветер и течение. Она не борется наобум со стихией. И в этом мудрость. Мудрость судна, мудрость моря, мудрость капитана, мудрость жизни. «Дон'т файт де вотер, — поучала желтоокая Синтия своих школьниц: — Плывите, вам будет весело, приятно. Но стоит начать бороться, напрягаться, стремиться и вы пропали. Потеряете дыхание, выбьетесь из сил и все превратится в муку. Просто плывите, незаметно, легко — и будет весело!» Так вся жизнь. Даже общение с Богом. Если молишься, добываясь чего-то, требуя ответа — устаешь, скучаешь, сердисься. Нельзя тягаться, надо просто молиться, радуясь своему состоянию, никуда не спеша и ничего не вымогая. Так же — стругайте дерево, лепите гипс, слагайте песню: тогда это не будет проклятием, а только счастьем. Христос сказал: Аз есмь путь. Он не сказал: Я цель. Любите дорогу и средства!

Мечта восьми лет моей жизни наконец осуществилась: мы идем освободить Жана Дута и других пленников из аван-

гардной тюрьмы. Курс на Землю Санникова (которая все-таки существует).

Последние дни перед отъездом были исключительно напряженными. Все подогнано и проверено уже давно — как в новой, смонтированной модели! Остается только поднять ее с земли: оправдает ли расчеты... Деньги, товары, карты, люди, машины, мелкие и трудные загадки, все одинаково требуют времени и внимания. Еще за день до поднятия якоря — 2 июля — казалось: не поспеть к сроку!

И вот мы отдали концы... Миновали уже Шпицберген;дохнули первые полярные струи.

С нами 400 человек отборного экипажа. Офицеры, моряки, техники, мастера боя, моторов и упряжек. Всех объединяет одна мысль, одно чувство: будущее вероятно готовит много жестоких ударов, но пока мы счастливы.

Когда стало известно о предполагаемом путешествии, с пяти континентов тысячи отважных людей обратились ко мне, предлагая услуги для опасного, но заманчивого рейса. Все соглашались выполнять любые обязанности, не ставя никаких условий, а ведь среди них попадались знаменитые ученые и писатели, славные офицеры, занимавшие почетное положение, часто с высоким окладом. Войны последней четверти века создали кадры опытных бойцов разных формаций и мне представлялся выбор из этого ценного материала.

Не хотелось отказывать стольким мужественным и скромным героям, к тому же рекомендованным самыми верными эзотерическими кругами. И я превысил квоту примерно на 25%, впрочем, с общего согласия.

Кроме четырех сотен воинов, матросов, инженеров и техников со мною еще десять командиров — лично знакомых, испытанных сподвижников, активно служивших своим идеалам, защищавших свободу и достоинство человека на земле, на воде, в небе. Испания, Абиссиния, Сербия, Греция, оккупированный Париж; Денкерк, Варшава, Ленинград и Гельсингфорс. Индо-Китай, Филиппины, Персия, Израиль; Алжир, Ява... Как много этих равнин, плоскогорий, столиц и нив, где наш

век предоставлял возможность духу и телу выбирать между относительным добром и несомненным злом, защищая руками и мыслью одно, вытравливая другое (побеждаемые многократно и выигрывавшие, в лучшем случае, только раз). С такими людьми сомневаться в удаче? Осанна!

Диана помогает в госпитале и с отчетностью, переписывает, переводит (иногда чересчур вольно) мой Журнал, отрывки которого читаются всему экипажу для ознакомления с историей нашей экспедиции.

Я так привык встречать Диану в обществе Синтии и Адриана, что теперь невольно вижу ее по-новому. Она отличный товарищ, секретарь, помощник. Думаю, когда появятся первые раненые, она окажется незаменимой. Это единственная женщина на борту. Иногда чудится: выбрал ее не случайно! Если придется остаться навсегда в полярной ночи — она положит начало стойкому племени людей. Белокурая Агарь. В пару к ней я всегда намечал то Адриана, то Боба Кастэра (нашего капитана), то Жана Дута. Себя я к такой роли не готовил даже в мечтах: слеп, слеп человек. Она все приемлет, ко всему способна и ни к чему не привязывается роковым образом... Быстро забывает прошлое: сразу зализывает раны и фениксом возрождается опять к настоящему.

Одиннадцатым и последним членом кают-компании — Клаус; личность темная, наглая и мрачная, но не лишенная шарма. Он был мне навязан право не знаю кем: не все ли равно? Я понял, что уклониться нельзя и принял свои меры (о которых он догадывается). Клаус заведует службой связи, но помогает ему Норфель, мичман императорского флота, которому можно вполне доверять. Диана тоже держит предателя на коротком поводе, по обычаю флиртует с ним.

Еще один командир незримо присутствует среди нас... Его портрет висит на стене в кают-компании. Экипаж «Св. Амебы» знает в общих чертах историю подвига Адриана. В то время как наше судно решительно взяло курс к 80° с. ш. необозримой арктики, Адриан (добровольная жертва) вынужден готовиться к роли мистического палача или чего-то подобного.

Последние сведения, полученные Дианою (Синтия ожидает ребенка!) придавали трогательную, элегическую черту этой злой современной эпосе.

Я теперь сижу за Корабельным Журналом. Какое это колдовство участвовать в жизни: на земле, на море, в небесах... во времени! Брать и давать. Снова брать и еще больше отдавать. Благословенна земля и ее святые. Курс норд-норд-ист, погода пасмурная. Опять показалось ледяное поле. Господи, смилуйся над нами.

В. Яновский

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

М О Р Е

Море, властная подруга, снова я с тобой,
снова слабому навстречу рушится прибой.

Я, как рыба, чей на суше пересохший рот
знает — вещему стремленью ты — один исход.

Легких волн твоих спирали, белизной звеня,
все заполнили, оправой оплели меня.

Оплели — и вдруг сорвали, подняли до дна,
вознося из мертвой жизни, из земного сна

в глубину, — и новым взлетом из небытия
над твоей бесстрастной гладью, чистая моя.

Цветом северных купальниц расцвела луна,
и в серебряный и желтый блеск облечена.

Грудь твоя зыбится ровно. Ночь — и счастья песнь,
округлясь высоким сводом, мир объемлет весь.

Но творящий склад и меру, где возникнуть мог
стройным волн чередованьем слаженный поток?

Каждый взмах волны измерен, каждый вольный звон
точной схеме мирозданья строго подчинен.

Слышу четкий пульс планеты в шопоте песка,
плеске падающей птицы, ветре мокрых скал.

Знаю — прежде чем предвечный хаос укрощен,
прежде света, прежде слова — ритма был закон.

Так в лучах призывных ритма скованно горит
твой простор — как этот камень, черный диорит.

Твердый, льющийся — предельной красотой стал,
как мелодия растущий, твой живой кристалл.

Эту строгость и движенье, сдержанность и взлет
звон прозрачного прибоя сквозь меня поет.

Станет ли моею правдой твой прямой урок,
ритм — струенье совершенства, ритм — суровый рок?

С И Н И Й

Из всех — я синий цвет избрал —
в нем все свиданья наши живы.
Как хорошо — еще мокра
палитра реющим разливом.

Синь глубины — и дали взлет —
а ты и выше и глубинней,
как затаенной страсти лед,
как голос твой прозрачно синий.

Но мерить холод синевой
я не могу, — под синью этой
он жжет, последний пламень твой
струеньем внутреннего света.

ЭСТОНСКИЙ ГРАВЕР ЭДУАРД ВИИРАЛЫТ

Неспешен труд мыслителя. Терпенье —
его наставник. Время — друг его.
Души упорной скрытое горенье
прозрачное рождает мастерство.

Штриха алхимик и хирург познанья,
своей науки лучший ученик —
дал светлой тени черное сиянье,
прикосновеньем в глубину проник.

Блистательный, бесстрашный, как тореро
без промаха вонзающий клинок,
он рыцарь духа, ремесла и меры,
но никогда жонглер или игрок.

Штрих — мягче линии простой и нежной
плеча девичьего. И штрих — стрела.
И белого песка извив прибрежный.
И быстрый блеск далекого весла.

Удар бича. И тихое касанье.
Блаженный штиль. И разъяренный шквал.
Крик. Инока прилежного молчанье.
Улыбка неба. Дьявольский оскал.

И времени земному непокорный
дух Мастера, — первоначальный штрих,
вознесший пламя ледяное формы
превыше чувств и помыслов людских.

Алексис Раннит
(Перевод Лидии Алексеевой)

Алексис Раннит — выдающийся эстонский поэт и критик, автор многих стихотворных сборников, после войны живет на Западе.

РЕД.

TABLE TALK

Название — пушкинское. И именно при чтении Пушкина пришла мне в голову мысль последовать его примеру и записать отдельные вспомнившиеся мне мелочи из нашего литературного житейства. Получилось то, что французы определяют словами “la petite histoire”, но что может быть пригодится и для «большой» истории русской литературы. Записи эти я мог бы продолжить, дополнить, и думая о многом, уже полузабытом, жалею, что не вел дневника.

Г. А.

Андрей Белый рассказывает в своих воспоминаниях, что у Сологуба в последние годы жизни было что-то вроде навязчивой идеи: пение Патти. О чем бы он ни говорил, речь рано или поздно сводилась к тому, как пела Патти.

Записки Белого я прочел уже в эмиграции и читая, вспомнил, что и сам слышал когда-то, как Сологуб говорил о Патти. Было это в редакции «Всемирной Литературы». У Сологуба даже лицо изменилось, он оживился, как будто помолодел, глаза блестели. «Патти! Если бы вы слышали Патти!»

Много лет позднее я об этом рассказал Бунину, — рассказал случайно, «так», не придавая рассказу значения. Но Бунин насторожился.

— Ах, как это мне нравится! Как хорошо! А ведь я считал его истуканом.

И потом задумался, умолк. Вероятно в его представлении это обернулось чем-то вроде «звуков небес». Или младенческим воспоминанием Лермонтова о пении матери.

Бунин о Достоевском.

— Да! — сказала она с мукой. Нет! — возразил он с содроганием... Вот и весь ваш Достоевский!

Потом: — Ну, я шучу, шучу... В целом я его терпеть не могу, плохой был писатель и человек плохой. Но кое-что у него удивительно. Этот Петербург... не пушкинский, парадный, а заплеванной, грязный, чахоточный... эти черные лестницы с кошачьей вонью, голодный Раскольников со своим топором,

это у него удивительно... Но сколько злобы, какое самолюбие! Мне когда-то Боборыкин много о нем рассказывал... Ужасно!

У постели больного Бунина, за несколько месяцев до смерти. Он совсем слаб, но начиная говорить о литературе, малопомалу оживляется.

— Знаете, я хочу написать повесть в новом духе... чепуху какую-нибудь. Начну с конца, а кончу началом, ничего нельзя будет понять, да и язык тоже будет новый. «Небо, как носовой платок»... это я недавно где-то прочел. Замечательно, а? Будут у меня и носовые платки. И вот увидите, какой-нибудь критик напишет, что «Бунин ищет новых путей». Уж что-что, а за «новые пути» я вам ручаюсь. Без них не обойдется, — хотите пари?

Вернувшись из Стокгольма после получения нобелевской премии, Бунин пришел к Мережковским: *visite de courtoisie*, тем более необходимый, что Мережковский был его нобелевским соперником и даже тщетно предлагал условиться о разделе полученной суммы пополам, кому бы из них двоих премия ни досталась.

Зинаида Николаевна встретила его на пороге и будто не сразу узнала. Потом, не отнимая лорнета, процедила:

— Ах, это вы... ну, что, облопались славой?

Бунин рассказывал об этом несколько раз и всегда с раздражением.

На одном из парижских собраний, где чествовали Бунина, — не помню, по какому случаю, — приветственную речь произнес Борис Константинович Зайцев, и между прочим сказал:

— С тобой, Иван, мы впервые встретились еще задолго до революции, в Москве. Ты тогда писал еще не так, как пишешь теперь...

Бунин вполголоса:

— Ну, что ж с ребенка спрашивать!

Ребенку было тогда лет под сорок.

Некий молодой писатель, из «принципиально-передовых и левых», выпустил книгу рассказов, послал ее Бунину — и при встрече справился, прочел ли ее Иван Алексеевич и каково его о ней мнение.

— Да, да прочел, как же!.. Кое-что совсем недурно. Толь-

ко вот что мне не нравится: почему вы пишете слово «Бог» с маленькой буквы?

Ответ последовал гордый:

— Я пишу «Бог» с маленькой буквы потому, что «человек» пишется с маленькой буквы!

Бунин, с притворной задумчивостью:

— Что же, это пожалуй верно... Вот ведь и «свинья» пишется с маленькой буквы!

Зинаида Гиппиус вспоминает четверостишие Буренина, посвященное Минскому. Тот где-то срифмовал «мрамор» и «замер», да будто бы и произносил звук «и», как «ы».

Буренин назвал свое произведение «Памятник»:

Я к храму подошел и замер:
Там Минскому поставлен мрамор.
Но двери храма были заперты.
Зачем же мрамор не на паперты?

Буренина я видел только один раз. Было это в Петербурге, в начале двадцатых годов. Аким Львович Волинский числился тогда Председателем Союза Писателей, а принимал посетителей в «Доме Искусств», где жил.

Однажды явился к нему старик, оборванный, трясущийся, в башмаках, обвязанных веревками, очевидно просить о пайке — Буренин. Теперь вероятно мало кто помнит, что в течение долгих лет Волинский был постоянной мишенью буренинских насмешек и что по части выдумывания особенно язвительных, издевательских эпитетов и сравнений у Буренина в русской литературе едва ли нашлись бы соперники (Зин. Гиппиус — «Антон Крайнего» — он упорно называл Антониной Посредственной).

Волинский открыл двери — и взглянув на посетителя, молча, наклонив голову, пропустил его перед собой. Говорили они долго. Отнесся Волинский к своему экс-врагу исключительно сердечно и сделал все, что было в его силах. Буренин вышел от него в слезах и, бормоча что-то невнятное, долго, долго сжимал его руку в обеих своих.

Зинаида Гиппиус о поэзии:

— Первый русский поэт — Тютчев. И Лермонтов, конечно. Затем пожалуй Боратынский. Некрасов? Вы знаете, что я его не люблю, но талант у него действительно был огромный.

Еще Жуковский. Тут как раз наоборот: таланта не Бог весть как много, зато много прелести. Затем еще кто же ...Фет?

— Позвольте, а Пушкин?

— Что Пушкин?

— Где же у вас Пушкин?

— Ах, Пушкин! Да, Пушкин. Так ведь Пушкин — это совсем другое. Пушкин это Пушкин. Ну, что вы пристали, в самом деле? Пушкин!

«Зеленая Лампа».

На эстраде Талин-Иванович, публицист, красноречиво, страстно — хотя и грубовато — упрекает эмигрантскую литературу в косности, в отсталости и прочих грехах.

— Чем заняты два наших крупнейших писателя? Один воспевает исчезнувшие дворянские гнезда, описывает природу, рассказывает о своих любовных приключениях, а другой ушел с головой в историю, в далекое прошлое, оторвался от действительности...

Мережковский, сидя в рядах, пожимает плечами, кричит, вздыхает, наконец просит слова.

— Да, так оказывается два наших крупнейших писателя занимаются пустяками? Бунин воспевает дворянские гнезда, а я ушел в историю, оторвался от действительности! А известно ли господину Талину...

Талин с места кричит:

— Почему это вы решили, что я о вас говорил? Я имел в виду Алданова.

Мережковский растерялся. На него жалко было смотреть. Но он стоял на эстраде и должен был, значит, смущение свое скрыть. Несколько минут он что-то мямлил, почти совсем бесвязно, пока овладел собой.

Мережковский был и остается для меня загадкой. Должен сказать правду: писатель он, по-моему, был слабый, — исключительная скудость словаря, исключительное однообразие стилистических приемов, — а мыслитель почти никакой. Но в нем было «что-то», чего не было ни в ком другом: какое-то дребезжание, далекий, потусторонний отзвук, а отзвук чего — не знаю... Она, Зинаида Николаевна, была человеком обыкновенным, даровитым, очень умным (с глазу на глаз умнее, чем в статьях), но по всему составу своему именно — обыкновенным, таким же, как все мы. А он — нет.

С ним наедине всегда бывало «не по себе», и не я один

это чувствовал. Разговор обрывался: перед тобой был человек, с прирожденно-диковинным оттенком в мыслях и чувствах, весь будто выхолощенный, немножко «марсианин». Было при этом в нем и что-то мелко житейское, расчетливое, вплоть до откровенного низкопоклонства перед всеми «сильными мира сего», — но было и что-то нездешнее. И была особая одаренность, трудно поддающаяся определению.

Оратора такого я никогда не слышал — и конечно, никогда не услышу. Невозможны никакие сомнения: «арфа серафима!» У Блока есть в дневнике запись о том, что после какой-то речи Мережковского ему хотелось поцеловать его руку — «потому, что он царь над всеми Адриановыми». У меня не раз бывало то же чувство, и над всеми нашими нео-Адриановыми, на любом эмигрантском собрании, он царем был всегда.

И стихи он читал так, как никто никогда их не читал, и до сих пор у меня в памяти звучит его голос, будто что-то действительно свое, ему одному понятное, он уловил в лермонтовских строках:

И долго на свете томилась она...

Какой-то частицей своего существа он должно быть в самом деле «томился на свете».

А в книгах нет почти ничего.

Зинаида Николаевна не раз рассказывала о посещении Ясной Поляны, и в частности о том, как Толстой, уходя на ночь к себе, вполоборота, со свечей в руках, внимательно, в упор, смотрел на Мережковского.

— Мне даже жутко стало, молчит и смотрит, — добавляла она.

Каюсь, у меня возникло предположение, что Толстой заметил в Мережковском именно его «диковинность» и вглядывался в него с любопытством художника: что это за человек такой, как бы его надо было изобразить? Помнится, я даже где-то написал об этом.

Но в воспоминаниях Короленко есть опровержение этой догадки. Сидя за шахматной доской с одним из сыновей Толстого, он вдруг почувствовал на себе его взгляд, настолько пристальный и упорный, что ему, Короленко, тоже сделалось жутко.

Очевидно, это было у Толстого привычкой. Ничего «диковинного» в Короленко во всяком случае не было.

Гумилев был полнейшим профаном в музыке: не любил,

не понимал и не знал ее. Но настойчиво утверждал, что о музыке можно говорить все что угодно: не понимает ее будто бы никто.

В редакции «Всемирной Литературы» он как-то увидел ученнейшего, авторитетнейшего «музыковеда» Б. — и сказал приятелям:

— Сейчас я с ним заведу разговор о музыке, а вы слушайте! Только вот о чем? О Бетховене? Что Бетховен написал? Ах, да, «Девятая симфония», знаю, — и подошел к Б.

— Как я рад вас видеть, дорогой ...имя-отчество. Именно вас! Знаете, я вчера ночью почему-то все думал о Бетховене. По-моему у него в «Девятой симфонии» мистический покров превращается в нечто контрапунктически-трансцендентное лишь к финалу... Вы не согласны? В начале тематическая насыщенность несколько имманентна... как, например, в ноктюрнах Шопена...

На лице Б. выразилось легкое изумление, брови поднялись. Гумилев спохватился:

— Нет, конечно не того Шопена... нет, Шопена проблематического... впрочем я у него признаю лишь третий период его творчества! Но у Бетховена слияние элементов скорей физических с элементами психическими в «Девятой симфонии» находит свое окончательное выражение в катарсисе, как у Эсхила... или нет, не у Эсхила, а скорей у Эврипида...

Длилась эта вдохновенная импровизация минут десять. Под конец Б. взволнованно сказал:

— Николай Степанович, вы должны непременно написать это! Непременно! Все это так оригинально, так ново, и позволю себе сказать... нет, не скромничайте, не возражайте!.. все это так глубоко! Вы меня чрезвычайно заинтересовали, Николай Степанович.

Гумилев торжествовал.

— А что? Кто был прав? И ведь какую я околесицу нес!

Милюков у евразийцев.

Идти на собрание ему не хотелось, но уговорам он поддавался. Выступления его все ждали с нетерпением.

Милюков поднялся на эстраду с записной книжкой в руках, то и дело в нее заглядывая.

— Князь... да (книжечка) ... князь Ширинский-Шахматов... высказал некоторые мысли, повидимому, представляющиеся ему оригинальными. Позволю себе посоветовать ему взглянуть в том пятый... (здесь название какого-то историческо-

го труда, не помню, какого именно). Он мог бы найти там свои суждения изложенные... я бы сказал, несколько более систематически. А впрочем, не отрицаю... в ваших взглядах есть кое-что любопытное. И слово любопытное... (книжечка) ...Евразия. Евразия! Любопытно. Впрочем, можно было бы сказать и иначе — Азиопа. Тоже недурно!

Кто-то из сотрудников «Последних Новостей», — если не ошибаюсь, покойная Ю. Л. Сазонова, — в статье своей назвал имена Пушкина и Ломоносова рядом, как одинаково значительные в истории России.

Милюков, просматривая рукопись, эти строчки вычеркнул. В редакции возник спор: чьи заслуги Милюков ценит больше, кого ставит выше? Мнения разделились.

Оказалось, Милюков вступился за Пушкина.

Зинаида Гиппиус жалуется, что Милюков по целым неделям задерживает ее статьи и вообще намерен «отказать ей от дому».

— И знаете, что он мне сказал? Нет, вы не поверите! Он сказал: «я слишком стар и слишком занят, чтобы уследить за всеми шпильками, которыми вы украшаете ваши фельетоны». Как вам это нравится, а? У меня шпильки!

История, которую мог бы рассказать Чехов, или даже Чехонте. Нечто вроде «Смерти чиновника» — о плевке на лысину его превосходительства.

Жил в Париже старичок, когда-то лицо виднейшее, чуть ли не товарищ министра, и ежедневно ходил обедать в скромный русский ресторан под названием «Ласточка».

Прислуживали в ресторане дамы обычного эмигрантского типа: каждая бывала при дворе, у всех были несметные миллионы, особняки, кареты, имения, а если случалось, одна из них была артисткой, то конечно знаменитостью и солисткой Его Величества. Других дам, как всем известно, в эмиграции до крайности мало.

К старичку, по его бедности, отношение было пренебрежительное.

— Будьте любезны, сударыня... биточки в сметане!

— Сегодня битков нет. Я вам принесла зразы.

— Но я не люблю зраз.

— Что за капризы! Кушайте, что дают.

В другой раз:

— Борщ что-то как будто не очень горячий.

— А вы может быть хотели бы, чтобы он для вас кипел целый день?

Длилось это несколько лет. Старичек все молчал. Наконец он совсем одряхлел, слег и попал в больницу. Пришло ему время умирать. За несколько минут до смерти он приподнялся на постели, и еле слышно сказал:

— Много я обид в «Ласточке» видел!

Вздыхнул и умер.

Поздно вечером в кафе «Мюра», вдвоем с Ходасевичем, только что расставшимся со своими партнерами-бриджистами.

Он утомлен, нервен и как-то более лиричен, чем обычно. Разговор, конечно, о поэзии. Строчки Блока:

Будьте ж довольны жизнью своей,
Тише воды, ниже травы...

Ходасевич вздыхает, разводит руками.

— Да, что тут говорить!.. Был Пушкин и был Блок. Все остальное — между.

Эти его слова, — которые помню совершенно точно, — позднее я передал Алданову. Он был ими озадачен.

— Как? А Тютчев? А ваш же Некрасов? А наконец Лермонтов?

Но в каком-то смысле Ходасевич был прав, даже если в этом почти столетнем «между» были поэты и крупнее Блока.

Алданов на каком-то банкете или обеде в Ницце встретился с Метерлинком и, сидя за столом с ним рядом, сказал ему:

— Я никогда в жизни не видел Толстого и до последнего своего дня буду жалеть об этом. Но теперь у меня есть утешение... вы, конечно, понимаете, какое!

Метерлинк по его словам был чрезвычайно доволен, а разговаривавшись о Толстом, сказал, что по его мнению «Власть тьмы» — самая замечательная драма из всех, написанных после Шекспира.

Тэффи, чуть-чуть смеясь глазами, но с самым деловитым и серьезным видом рассказывает:

— Сижу я вчера вечером в кафе, против монпарнасского вокзала. Вдруг вижу из бокового зала выходят много пожилых евреев, говорят по-русски. Я заинтересовалась, остановила од-

ного и спрашиваю, что это было такое... А это, оказывается, было собрание молодых русских поэтов.

Мережковский и Лев Шестов не любили друг друга, а полемизировать начали еще в России, — из-за Толстого и его отношения к Наполеону. Книга Мережковского «Толстой и Достоевский» — о «тайновидце плоти» и «тайновидце духа» — прогремела в свое время на всю Россию.

Шестов, уже в эмиграции, рассказывал:

— Был я в Ясной Поляне и спрашивал Льва Николаевича: что вы думаете о книге Мережковского? — О какой книге Мережковского? — О вас и о Достоевском. — Не знаю, не читал... разве есть такая книга? — Как, вы не прочли книги Мережковского? — Не знаю, право, может быть и читал... разное пишу, всего не запомнишь.

Толстой не притворялся, — убедительно добавлял Шестов. Вернувшись в Петербург, он доставил себе удовольствие: при первой же встрече рассказал Мережковскому о глубоком впечатлении, произведенном его книгой на Толстого.

Марина Цветаева на собрании «Кочевья», литературного кружка под председательством Марка Слонима.

У нее еще длится ее увлечение кн. Волконским, и в перерыве она во всеулышание советует одному из молодых прозаиков читать его как можно усерднее.

— Читайте Пушкина и читайте Волконского! Лучшего языка я не знаю.

Вероятно я улыбнулся, потому, что взглянув на меня, она не без запальчивости сказала:

— Вот Адамович, кажется, не согласен!

— Нет, отчего же... Просто мне вспомнилось то, что о языке Волконского сказано в дневнике Блока.

— А что? Не помню.

— У Блока сказано: «Князь Волконский всех учит русскому языку, а сам изъясняется со средне-княжеской грамотностью».

Цветаева вспыхнула и «отрезала», — совсем, как забываемая курсистка в шигалевской главе «Бесов»:

— Не согласна. Это, значит, мое третье расхождение с Блоком.

Какие были первые два, я не знаю.

В Петербурге, где-то на Моховой, на сводчатом чердаке, убранном с подчеркнута футуристической художественностью,

— многолюдное, шумное сборище. Пластинки Изы Кремер и Вертинского, прерываемые бранью поэтов, оскорбленных в своей эстетической чуткости, попытки читать стихи, прерываемые танцами, много вина и водки.

Охмелевший Есенин сидит на полу, не то с гармошкой, не то с балалайкой, и усердно «задирает» всех присутствующих, — в особенности Маяковского, демонстративно не обращающего на него внимания. Тут же сочиняет и выкрикивает частушки.

Эй сыпь, эй жарь!
Маяковский — бездарь.
Рожа краской питана,
Обокрал Уитмэна.

Помню и другую его частушку:

Как на горке, у кринички
Зайчик просит у лисички...

К сожалению, воспроизвести две последние строчки в печати не совсем удобно.

Литературный вечер эфемерного общества «Арзамас» в Тенишевском зале. 1919 год.

Жена Блока, Любовь Дмитриевна Басаргина, должна читать «Двенадцать». Кроме поэтов более или менее «своих», решили пригласить Федора Сологуба.

Принял он Георгия Иванова и меня очень вежливо и очень холодно. Не давая еще согласия, справился о программе вечера.

— Раз будет чтение «Двенадцати», я участвовать не могу.

— Федор Кузьмич, что вы! Вы читали «Двенадцать»?

(В то время нам казалось, что блоковская поэма — это вершины поэзии, и кстати, тогда же Иванов-Разумник написал, что тот, кто не понимает, что «Двенадцать» — такое же великое произведение, как «Медный всадник», вообще ничего не понимает в поэзии).

— Нет, не читал. И читать такую мерзость не намерен.

— Как? Правда, не читали?

— Не читал. И вообще новейших мерзостей не читаю.

Настаивать было бессмысленно и беспредельно.

Тот же 1919 год, — или может быть 1918. Литературный вечер в «Привале Комедиантов».

В первом ряду — Луначарский, рядом с хозяйкой, Верой Александровной Лишневской. На эстраде — Владимир Пяст, когда-то друг Блока, бледный, больной, с перекошенным лицом. В упор глядя на «наркома», читает стихи о другом сановнике — Крыленко. Последние строчки, почти задыхаясь:

Заплечный мастер, иначе — палач,
На чьих глазах растерзан был Духонин!

В зале молчание и смущение. Лишневская что-то шепчет нервно жестикулирующему Луначарскому, держит его за рукав, но тот встает.

— Нет, господа, это право никуда не годится! Зачем же так преувеличивать? И что за выражения! Палач! Разве это поэзия?

Он направляется к выходу, но Лишневская делает последнюю отчаянную попытку уговорить его, особенно напирая на то, что это, мол, — «друг Блока». Луначарский наконец сдаётся и поэтам, читающим вслед за Пястом, аплодирует весьма благосклонно.

Несколькими годами позже такой вечер кончился бы совсем иначе.

Кн. Владимир Андреевич Оболенский, сотрудник «Последних Новостей», старый земец, кадет, добрейший, скромный, обаятельный человек, — между прочим, хорошо знававший Иннокентия Анненского и с легким недоверием в глазах спрашивавший меня, действительно ли это большой поэт, — в юности был небогат, давал уроки, искал работы.

Салтыкову-Щедрину, в те годы уже старому и больному, нужен был секретарь и общие знакомые рекомендовали ему Оболенского. Тот, разумеется, был в восторге: помимо заработка, ему льстило предстоящее сотрудничество со знаменитым писателем. Условились о плате, о времени работы. Оболенский явился точно в назначенный час.

— Ну вот, молодой человек, садитесь и просмотрите внимательно эти гранки. А я пока должен еще кое-что тут дописать.

Неслышно вошла жена Салтыкова.

— Михаил Евграфович, ты забыл, что сказал доктор? Тебе нужно после завтрака отдыхать. Доктор мне три раза повторил, что...

Салтыков с раздражением отбросил рукопись и стукнул по столу.

— Оставишь ты меня наконец в покое со своими докторами? Уходи и не мешай мне работать. Дура!

Когда писатель и секретарь остались одни, Оболенский решил почтительно выразить свое одобрение.

— Совершенно правильно вы сказали!

Салтыков откинулся в кресле.

— Правильно? То-есть как это — правильно? То-есть что это собственно значит — правильно? Вы следовательно хотите сказать, что моя жена — дура? Да? Вон! Сию же минуту вон! И чтоб духу вашего больше здесь не было!

На этом секретарство Оболенского кончилось.

Собрание у Ильи Исидоровича Фондаминского-Бунакова. Поэты, писатели: «незамеченное поколение». Настроение тревожное, и разговоров больше о Гитлере и о близости войны, чем о литературе. Но кто-то должен прочесть доклад — именно о литературе.

С опозданием, как всегда шумно и порывисто, входит мать Мария (Скобцова, в прошлом Кузьмина-Караваева, автор «Глиняных черепков»), раскрасневшаяся, какая-то вся лоснящаяся, со свертками и книгами в руках, — и протирая запотевшие очки, обводит всех близоруким, добрым взглядом. В глубине комнаты молчаливо сидит В. С. Яновский.

— А, Яновский!.. Вас-то мне и нужно. Что за гадость и грязь написали вы в «Круге»! Просто тошнотворно читать. А я ведь чуть-чуть не дала свой экземпляр о. Сергию Булгакову. Хорошо, что прочла раньше... мне ведь стыдно было бы смотреть ему потом в глаза!

Яновский побледнел и встал.

— Так, так... я, значит, написал гадость и грязь? А вы, значит, оберегаете чистоту и невинность о. Сергия Булгакова? И если не ошибаюсь, вы христианка? Монашка, можно сказать подвижница? Да ведь если бы вы были христианкой, то вы не об о. Сергии Булгакове думали, а обо мне, о моей погибшей душе, обо мне, который эту грязь и гадость... так вы изволили выразиться?.. сочинил! Если бы вы были христианкой, то вы бы вместе с о. Сергием Булгаковым ночью прибежали бы ко мне, плакать обо мне, молиться, спасти меня... а вы оказывается боитесь, как бы бедненький о. Сергей Булгаков не осквернился! Нет, по вашему он должен быть в стороне, и вы вместе с ним... подальше от прокаженных!

Мать Мария сначала пыталась Яновского перебить, махала руками, но потом притихла — и сидела, низко опустив голову.

Со стороны Яновского это был всего только удачный полемический ход. Но по существу он был, конечно, прав, и мать Мария, человек не глупый, это поняла, — вроде как когда-то митрополит Филарет в знаменитом эпизоде с доктором Гаазом.

Поразивший меня чей-то рассказ, — не помню имени рассказчика, — у Мережковских, за воскресным чайным столом.

Первые революционные годы, захолустный городишко Псковской губернии. По стенам и заборам уже давно расклеены афиши: «Есть ли Бог? Антирелигиозный диспут». Явление в те времена обычное.

Народу собралось много. Остатки местной интеллигенции, лавочники, бородачи-мужики, две какие-то монашенки, пугливо поглядывающие по сторонам, молодежь. Выступает «оратор из центра».

— Поняли, товарищи? Современная наука неопровержимо доказала, что никакого Бога нет и никогда не было! Так называемый «Бог» определенно является выдумкой капиталистов с целью эксплуатации народных масс и содержания их в рабстве. Коммунистическая партия во главе с тов. Лениным борется с предрассудками и нет сомнения, что вскоре ликвидирует их. Невежеству и суеверию пора положить конец...

И так далее... Доклад кончен. Председатель предлагает проголосовать заранее составленную резолюцию о единогласном упразднении Бога. «Кто-нибудь просит слова?» Руку поднимает старик, одетый, как все, но с подозрительно длинными волосами, уходящими под воротник. Председатель иронически вглядывается в него. «Поднимитесь, гражданин, на эстраду... в вашем распоряжении три минуты, чтобы ознакомить нас с вашим мнением по вышеизложенному вопросу».

Старик мнетя, молчит, но наконец громко, твердо, на весь зал говорит:

— Христос Воскресе!

Поднимается шум. На эстраде, где сидят лица начальствующие, суматоха, растерянность. Кричат, перебивают друг друга, кто-то требует немедленного голосования, другой предлагает закрыть собрание... Но вот встает заведующий отделом Народного образования, до тех пор молчавший, солдат-коммунист, недавно вернувшийся с фронта. В ожидании пламенной отповеди зазнавшемуся пособнику буржуазии воцаряется тишина.

Солдат медленно, чуть пошатываясь, подходит к старику, кланяется ему и произносит всего три слова:

Воистину Воскресе, батюшка!

Что было дальше, не знаю. Несомненно, коммунист этот был со своего поста смещен, вероятно и арестован. Но нельзя ему не позавидовать! В эти секунды, собрав все свое мужество, предвидя последствия своего поступка, он должен был испытать огромное, редчайшее счастье, то, за которое заплатить стоит чем угодно. Львы, римские арены: здесь, пусть и в потускневшем виде, было в сущности то же самое.

Георгий Адамович

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

**
*

Когда забыв обычные дела,
Необычайным пробую заняться,
Обычное выходит из угла
И начинает с необычным драться.
Оно во всем ,оно везде кругом:
То жарит перья, то котлеты рубит,
То над моим склоняется столом,
Вздыхать и кашлять, и сморкаться любит.
Оно забилося в лампу, в кошелек,
В напильник, в книжку, отразилось в крапе,
Вошло в машинку музыки, в замок,
Летит ключем, сковородой из шляпы,
Гремит, звенит, грохочет, мирно спит,
Через окно летит фабричным дымом,
В затылок дышет, за спиной стоит —
С лицом, похожим на коровье вымя.
Ты окружен, ты чувствуешь душой,
Что отдаешь позицию без боя
И тянется повсюду за тобой:
Во всех вещах вмешательство чужое!
И так тебя преследует оно,
Так дразнит и терзает видом бранным,
Что делается (и сказать смешно)
Само собою необыкновенным.

* *
*

Буду я, когда с ума сойду, Камнями
бросать в автомобили. Буду думать,
что живу в аду,
Буду ждать, чтоб руки мне скрутили.

В просветленья неподкупный час —
Так увижу этот мир несчастный,
Как увидят позже, после нас,
Но уже прошедшую опасность.

Б А Л Л А Д А

Послышался тюремный скрип ворот.
Вошла рабыня с черными глазами.
Когда кричала, округлился рот
И почва исчезала под ногами.
Палач рабыне голову отсек
На черный пол легла зари полоска.
И вот она из-под припухших век
Глядит в окно газетного киоска.
Как хороша она в вечерний час
В своем окне, в сиянии столицы.
Блестят глаза и блеск прозрачных глаз,
Как неживой, как будто только снится.
Уходят люди в городскую тьму.
Ногами хмуро тротуары месят
А мне пришлось, не знаю почему,
Вдруг шляпу снять и ей поклон отвесить.

**

*

Мальчики повесили цыпленка,
На костре живьем ежа сожгли,
Камнями прогнали мать-сученку
И щеночков мучить понесли.

Для животных слабых, для домашних
Нет страшнее нежных, детских рук.
Твой ребенок миру так же страшен,
Как тебе змея или паук.

А. Величковский

ВЕЛИКИЙ ВЕК

Томас Стернс Элиот, самый большой современный поэт англо-американского мира, Нобелевский лауреат 1948 года, критик и драматург, основывает свое творчество на следующем законе: так же, как наш глаз в одну секунду может увидеть максимально только энное количество последовательных изображений, так и наш мозг в одну единицу времени может воспринять только определенное количество ассоциаций, обертонов, образов, метафор, символов, идей. Из этого следует, что поэт должен давать в своей поэзии именно это максимальное количество семантических и музыкальных единиц. Если он дает их больше, они восприниматься не могут. Если он дает их меньше, мозг воспринимающего работает впустую. Прозаик волен делать в этом отношении все, что ему угодно, в прозе слова и фразы только частично самоцели, они в большинстве средство, ведущее к определенной цели. В поэзии же само слово есть цель. Разница между прозой и поэзией отчасти та же, что и между ходьбой и танцем: человек идет куда-то для чего-то, его шаг — средство, цель — впереди. Когда он танцует, танец не ведет его никуда, танец сам есть цель, выражение преобразованных элементов, того, что иным способом выразить нельзя. И когда зритель воспринимает этот танец, он не думает *о чем* этот танец, он сознает, что в эти минуты что-то происходит с ним самим. «Дайте мне книгу» говорится для того, чтобы получить книгу, но «Белеет парус одинокий» сказано не за тем, чтобы сообщить факт, сам по себе мало-важный, но для того, чтобы дать образ, создать ту обстановку, в которой что-то сейчас произойдет *с нами*, при чем уже одно то, что парус не белый, не треугольный, а *одинокий*, выводит нас из обычного измерения в другое, где существенно будет не *о чем* нам расскажут, а *что* именно случится с нами самими.

Насыщенность стихов Элиота не исключение. Его обертоны и ассоциации непрерывны и неразрывны, а если и разорваны иногда, то сознательно. Ни один эффект не сделан без

математического расчета, он входит в задачу автора, который в данном случае осуществляет ту «непрерывную сознательность», о которой мечтал Поль Валери, но которую сам до конца осуществить не смог. Иногда слово или образ, или сочетание звуков в современной поэзии ассоциируется со строкой поэта XVII века, иногда «ходом коня» со строкой XVIII века и Гомером, или со строкой XIX века и индусским религиозным заклинанием, или с параномазией и газетной новостью, или с детской песенкой и молитвой. К одному тому стихов Элиота написано не менее десяти томов комментариев, которые сами по себе, даже если Элиота не знать, представляют собой чрезвычайно интересное, богатое мыслями чтение, образчик современной западно-европейской и американской критики, где использованы пять главных критических подходов, если не с одинаковой полнотой, то во всяком случае с верным знанием, чего каждый отдельный подход стоит.

Насыщенность есть основное и самое важное свойство современной поэзии. Она есть условие *sine qua non*, и если его нет, поэзия переходит либо в прозу, либо разлагается в ничто. Так как в современной поэзии рифм больше не существует (в старом понимании этого слова) и вовсе нет скандированного метра, за последние полвека поэзия стала отличаться от прозы не отбиванием такта и совпадением окончаний строк, но насыщенностью образов, обертонов, смыслов (музыкальных и семантических).

Поэзия определяется, как язык, насыщенный значением до возможного предела. Где этот предел? В только что упомянутой формуле Элиота о человеческом мозге, поглощающем в определенный отрезок времени определенное количество понятий. Что необходимо для того, чтобы с максимальной силой выражения *создать* стихотворение, а не только *передать* что-то читателю? По формуле поэта Мак Лиша, поэма не должна «что-то значить», она должна «быть». Точность и новизна — таковы два критерия суждений о качествах поэзии. Образ должен быть точен и нов, идея точна и нова, ощущение, вызванное созданным, должно восхитить нас своей новизной и приковать точностью. Это относится столько же к каждому отдельному символу стихотворения, как и к символическому содержанию поэмы в целом.

Как и в чем могут быть достигнуты насыщенность, точность и новизна? Для этого мы подходим к стихотворению по трем его разрезам, при чем каждый разрез анали-

зируется и самостоятельно, и в соединении с другими двумя (всего семь комбинаций). Есть аспект слова, способствующий возникновению образа в нашем воображении (фанопея), затем аспект слова (или комбинации слов) в его музыкальном значении (мелопея), и в третьих — «танец разума среди слов», иначе говоря — логопея, когда слова употреблены поэтом не только в прямом их значении, но так, что читатель воспринимает их, принимая во внимание все, что на них «наросло», вся «ирония и драма их игры» (терминология Паунда), связанные с ними. Из этих трех разрезов элементы первого и отчасти второго переводимы на другой язык, но третьего — увы! — нет. Наличие всех трех не допускает парафразы поэтического материала. Парафраза — смерть поэзии, никогда ни под каким видом она не может быть допущена.

Если вдуматься в это табу, то оно оказывается самоочевидным. Действительно, что остается от мелопеи и логопеи если начать стихи рассказывать своими словами? И как тем самым исказится фанопея? От нее останется лишь слабый след. Весь заряд, которым слово начинено, из него утечет немедленно. А что такое поэзия, если не «заряженные слова»?

Заряжать язык смыслом есть основное дело поэзии, заряжать не ту или иную фразу или строку, но весь язык, который идет, как материал, в данное стихотворение. Есть поэты особенно «заряжающие» язык, «высоковольтные», и есть другие — низкого вольтажа. Их качественная иерархия непосредственно связана с этой лестницей. Само собой разумеется, что сатира, или гражданская поэзия, или приспособленные к определенной музыке куплеты, воспевающие нехитрые личные чувства, почти не имеют логопеи. В «популярной» поэзии заряд, естественно, очень слаб по сравнению с поэзией «максимально заряженных» Гомера, Катулла, Лукреция, Лафорга и Паунда. Пример разницы заряда: «Медный Всадник» и «Жених» («Три дня купеческая дочь...») На этом примере ясно видно, что такое язык, заряженный смыслом и язык «низкого вольтажа», где есть фанопея, очень слаба мелопея и совершенно отсутствует логопея.*)

* В русской критике я нашла одно интересное высказывание на эту тему: в своей речи на Первом Съезде Советских Писателей в 1934 г. Н. Бухарин сказал, что в одной строке Верхарна *больше обертон*ов, чем у всех советских поэтов взятых вместе.

Искусство «вкладывать максимальный смысл в слова» есть искусство поэзии. Словесная энергия есть то, чем живо стихотворение. Если она слаба, то мы присутствуем при заполнении пустых мест и внимание наше только время от времени пробуждается при какомнибудь «фокусе»: то стукнет рифма, то сверкнет неожиданное прилагательное, то подойдет сладкозвучный пэан. Но фокус не спасет дела — заполнение пустых мест скрыть невозможно.

Когда словесная энергия держит в напряженном единстве все стихотворение, то от образа к образу, от символа к символу, от звучания к звучанию мысленно мы можем поставить либо знак =, либо знак →. Первый говорит, что что-то разрешено, две части чего-то гармонируют друг с другом в мыслимом пространстве. Второй знак свидетельствует о продолжении чего-то, о продолжении бытия во времени. Это относится не только к фанопее и логопее, это относится, конечно, и к мелопее. И музыка в поэме может быть либо «аккорд», либо «арпеджио», т. е. прозвучать в определенный момент или в протяженности. Если мы привыкли мыслить живопись как часть пространства, а музыку как часть времени, то в поэзии эти два элемента слиты. «Не делай того-то, чтобы я мог спокойно жить дальше» неизменно сопутствует нам на протяжении шестнадцати строк в стихотворении «Не пой, красавица, при мне», словно это, с одной стороны, фон картины, т. е. часть пространства, а с другой стороны — гудящая (во времени) басовая нота. А на временно-пространственном фоне развиваются все три элемента поэзии — фанопея, мелопея, логопея, — где есть и *Грузия*, и *другая жизнь*, и *бедная дева*, и всё вообще, что заряжено музыкально-семантическим смыслом до возможного предела.

Если два первых элемента поэзии легко находимы в стихотворении и слово, способствующее возникновению образа, и слово в его музыкальном звучании как будто не требуют дальнейших разъяснений, то третий элемент, «танец разума среди слов», должен быть показан на примере. Как я уже сказала, этот «танец разума» дается словом, заряженным максимальным смыслом (или комбинацией слов), где кишат ассоциации, обертоны, призраки точного значения (тени, которые отбрасываются этими точными значениями в нашем мозгу), одним словом все то, что словесная единица несет с собой — от звучащей в ней по особенному гласной, до символа, или даже мифа, которые она будит в

нашей памяти (или которые она в нашем воображении создает). Возьмем для примера «Незнакомку» Блока, чтобы показать, как раскрыть в ней логопею, проанализировать ее «заряд». Постараемся меньше вникать в музыкальное звучание стихотворения и в процесс возникновения конкретных образов, и обратимся непосредственно к «танцу разума среди слов».

По вечерам, над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Два места в этой строфе являются центральными, как наиболее насыщенные обертонами: первое — воздух дик и глух — силой словесной выразительности (два усеченных прилагательных, оба односложные и оба — для воздуха — неожиданные) силой своей энергии приводят нас к *дикости* и *глухоте*. («Есть упоение и в дикости лесов», «Сквозь дикий рай моей земли родной», «Бежит он, дикий и суровый» и т.д.). На ум одновременно приходит около 6-7 ассоциаций понятия дикости, сейчас оно связано с воздухом, чего до сих пор никогда не было, и за ним, как короткий удар за коротким ударом, следует *глух*, слово, имеющее два значения, которые оно тянет за собой, и хотя, конечно, Блок хотел сказать, что воздух *пустынный*, а не то, что он *ничего не слышит*, но тем не менее, как очень часто в поэзии, второе значение присутствует, и мы впитываем его вслед за первым, или даже одновременно с ним. Дик и глух сказано о воздухе, но переходит на весь пейзаж, о котором мы пока знаем очень немного, только: «над ресторанами», чье множественное число дает нам важный намек, что впереди будет говориться не об одном определенном месте, где что-то происходит или произойдет, но будет дана возможность переулка, улицы, площади, перекрестка, а может быть даже и какого-то особого горизонта. Это не трактиры и не пивные. Это места где, как мы помним, иногда посылают черную розу в бокале золотого как небо аи, где поют скрипки, где визжат скрипки. Весна. Вечер. Мы приготовлены к следующему «центру насыщенности», мы его ждем, и он приходит в слове «тлетворный». Действительно, что такое «дух»? С одной стороны — дух отрицанья, дух сомненья на духа чистого взирал, с другой стороны: здесь пахнет духами, здесь дурно пахнет (как «в опустелом улье»), дух тленья

пошел и т.д. Огромной силы слово «тлетворный», ведущее за собой целую толпу теней и понятий, парадоксальное прилагательное, потому, что если дух весенний, то как же он может быть тлетворным? Все должно цвести и благоухать, а вместо этого есть в весне смерть, и это тление таинственно связано с алкоголем (... дух?), который не только чувствуется, но и слышится, потому что пьяные орут. Однако, рестораны ведь не трактиры, и потому нам делается еще грустнее: орут, видимо, не грузчики (до которых нам, по правде сказать, нет особого дела), а «наши», интеллигенты. Как дошли они до жизни такой?

Для того, чтобы проследить логопею таким образом, рассмотреть «Незнакомку» и найти цепь, которую несут слова, служившие Блоку материалом, не хватит и ста страниц. Я ограничусь тем, что отмечу наиболее «заряженные» смыслом места:

Слово «переулочной» несет с собой, во-первых, меланхолию звуковую, во-вторых — меланхолию семантическую. Слово «дач», связанное с чем-то милым, отдохновенным и даже детским («Петька на даче»), вдруг для нас отравлено скукой (и кажется уже навсегда), понятием тоски и жалкой жизни («Как часто плачем вы и я...»). Крендель дает нам ноту эпохи: дело происходило давно, что-то ушло, пропало, умерло, нет больше вывесок, которые так любил рисовать Добужинский в Петербурге, и от которых должна была набегать слюна во рту. Дети плачут в переулке. Детей много. Люди бедные. («Причастный тайнам плакал ребенок», «Я люблю, когда в доме есть дети и когда по ночам они плачут»). Пыль и скука. И образ железной дороги, столь милый сердцу Блока («Под насыпью, во рву некошенном», «Ты... прошла по темным рельсам шпал»), появляется, как символ тоски. Эволюция этого образа (ср. у Инн. Анненского и Волошина) сама по себе очень интересна. Здесь образ железной дороги дан в максимальной своей силе: синекдоха «шлагбаумами» (часть вместо целого) сильнее, чем была бы любая метафора, потому что в слове «шлагбаум» есть не только железная дорога, но еще и многое другое («Вяжите меня, православные, я рельс отворотил!»); это слово немецкое, со всеми обертонами немецкого слова, ставшего русским, оно как будто впервые попало в стихи и бьет в нас новизной, вместе с тем оно содержит два соседствующих гласных звука (одна из величайших красот русской речи), и оно стоит у преддверья (как и полагается шлагбауму)

страшной прогулки котелков-остряков (они ведут за собой толпу себе подобных, все высказанные ими суждения, все написанные ими книги) с... дамами. Мы их видим, этих дам, крендель над булочной намекнул, как они должны быть одеты (Монэ, Ренуар, Тулуз-Лотрек), мы знаем, что в канавах они давно испачкали свои накрахмаленные нижние юбки (о которых потрясающе сказал Чехов в «Дуэли»), но они продолжают «гулять».

Уключины скрипят. Женщины визжат, женщины, не дамы. На озере не «плеснуло весло», как когда-то бывало у Фета и Бальмонта, чтобы сказать то же самое (что люди катаются на лодках), а скрежещут *уключины* — тяжелое, редкое, мрачное своим звуком слово. И вульгарные голоса женщин, и визжащий звук железа на фоне весеннего вечера — не убежать ли от всего этого? *Мы бы* убежали, но кто-то *каждый вечер* проводит здесь.

Обращаю внимание на следующее: *визг* (произносится: *виск*) и *диск* перекликаются с *дик* и *глух*, «приученный» следует за «скукой», усиливая тоскливость не только на земле, но и на небе, где когда-то у романтиков всё было так прекрасно. Три «и», и четвертое — безударное (бессмысленно кривится диск) — усиливают наше впечатление от визга. Бессмысленность в небе — обратный эффект, усиливающий бессмысленность на земле. Тут, кстати, мелопея замечательная: она дана в симметрии ямбических ускорений:

А в небе, ко всему приученный,
 Бессмысленно кривится диск.
 — / — — — / — / — —
 — / — — — / — /

И мы солидарны с этим диском, мы внутренне кривимся тоже.

Повторение «и каждый вечер» воспринимается музыкально-семантически, но менее остро, чем это случится в третий раз, и в этом повторении видна параллель (трагикомическая) между тем, что происходит *за шлагбаумами*, и тем, что происходит с *единственным другом*. Его, впрочем, нет. Отражен в стакане тот, кто из стакана пьет. («Одиночество, встань словно месяц над часом моим», «Я пригвожден к трактирной стойке», «Я был один в моем раю»). Но у него есть иллюзия не-одиночества — какая бывает от зеркала, от стекла, от поверхности водной глади.

Факт отражения приводит такое количество обертонов, что в это мгновение мы не успеваем зарегистрировать их. «Оглушен» уводит к настоящей глухоте (а может быть опять метафорической?), которая только мелькнула в первой строфе. *Смирён* ведет за собой толпу ассоциаций и целую цепь жизней: люди, которых *смирили*, из них первый — сам Блок (круговая ассоциация).

Третье «и каждый вечер» ударяет в нас своей повторно-монотонной силой. (Четвертое повторение было бы слабее, оно было бы равно второму, здесь сыграла бы роль привычка наша к уже знакомой анафоре). Перед нами — *дева* (уже не женщина, и не дама). Это слово отпечатывается в нашем мозгу с большой силой, мы благодаря ему видим и тонкий стан, и гордое лицо, слышим молчание, угадываем недоступность. Все девы Пушкина, Тютчева, принцессы средневековья и мадоны Возрождения (и Катерина Ивановна среди Карамазовых) — все с нами. Вырисовывается ее силуэт: он сошел с полотна французского импрессиониста, о котором мы уже один раз вспомнили. Силуэт движется в окне. Живая ли эта дева? Или это только призрак? Блок спрашивает: иль это только снится мне? Это — авторский прием. Мы знаем, что нет разницы: снится или на самом деле.

Не останавливаясь на подробностях (хотя они и важны), иду дальше: «дыша духами и туманами» дает впечатление, что духи и туманы — образы одной категории, духи переходят в туманы и туманы — в духи («И запах терпкий и печальный туманов и духов»), а духи, может быть, в «тлетворный дух»? «Дыша», т.е. вдыхая и выдыхая — эфир? или весенний воздух? (который, как мы знаем, дик и глух) она садится у окна. Жест девы опять связан с ее молчанием, гордостью и неприступностью, — она «без спутников, одна». («Бесстыдно упоительна и унизительно горда»). И когда она, наконец, становится неподвижной — мир «таинственной пошлости» создан.

Следующая строфа требует внимательного рассмотрения: она исключительна по своей логопее:

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

Эти строки звучат дремучей легендой, суевериями и полузабытыми повестями о чем-то ушедшем. Откуда веет на нас всей этой древностью? От *модного* платья. На этом контрасте модного шелкового платья и древности основан один из самых замечательных (и значительных) контрастов «Незнакомки». *Упругие шелка* (множ. число) говорят обо всем, что надето на деве, их много, этих шелков, их видно и не видно, и тут не только чулки и белье, но вероятно и длинные перчатки (в руке) и острый зонтик. Да, здесь на нас наплывает целая эпоха, когда модны были кольца, и перья, и узкие руки (узкий следок ноги). На старых портретах женщины носили по пяти колец на одной руке. Узкая рука один из самых органических символов Блока, мы можем проследить его путь, эта рука позже перешла к Ахматовой (у которой у самой были необычайно узкие руки). Слово *узкий* у Блока всегда связано с эротикой (ботинки). Два «у» в конце строчки и три «к», в начале, в середине и в конце, поддерживают арпеджио.

Для нас интересно вот что: все эти аксессуары уже тогда, когда они были модны, для Блока были как-то связаны с *древними поверьями*. Таким образом, имеются три плана: наш собственный, Блока—Тулуз—Лотрека и какой-то очень далекий, от которого оставались следы ко времени поэмы, а сейчас и следов уже нет. Отмечу: согласные *в, р, д*, внутренние рифмы на *ве - ев - ве*, которые разрешаются аккордом «траурными» (здесь опять поют две гласных), т. е. черными, плакучими, словно качается плакучая ива или проходит катафалк. Перечисления идут полным ходом: три «и», и цезура, и ямб, звучащий амфибрахием, гипнотизируют нас:

И веют...
И шляпа...
И в кольцах...

Параллель смысловая, идущая непосредственно вслед за контрастом древнего и модного, параллель звуковая и параллель синтаксическая. И в этом месте происходит в «Незнакомке» самое таинственное, что может произойти в искусстве: портрет начинает переходить в пейзаж.

(Это преобразование происходит одновременно с колебаниями перьев. Эти страусовые перья, которые когда-то качались на похоронных колесницах, теперь качаются на «шлеме» девы (Пикассо и абсент); *шлем* я беру из вариан-

та к «Незнакомке» («Там дамы шеголяют модами»). Это качанье внезапно дает ей новый облик: она делается выше, больше (великанша Бодлера, которая тоже из женщины делается к концу поэмы пейзажем!), вокруг нее колеблется что-то 1) черное и 2) ароматно-туманное.

Дева, сидящая на фоне окна, внезапно из человеческого существа преобразуется в трехмерный пейзаж: мы видим даль, берег, синюю реку, синие цветы, растущие на берегу, и даже слово «излучин» (примененное к душе) для нас звучит чем-то речным («Один среди речных излучин», «Но чёлн бежал за мыс излуки», и даже «Свой самый выпуклый изгиб»). «Излучина» слово редкое. Его обертоны (звуковые и семантические): изломать, излучить, и даже измучить, излука, лука́ (в смысле поворота), и затем, конечно, — выгиб и изгиб (связанный с девичьим станом). Весь пейзаж осенен теперь плакучими ивами («Ивушка, ива...»), траурные перья уже качаются в мозгу. Ива дает нам немедленно Офелию, на которую дева, как все женщины Блока, начинает походить («Я — Гамлет. Холодеет кровь»), превращаясь вновь из пейзажа в человеческое существо, но еще сохраняя свою «пейзажность» — отдаленность, развоплощенность. «Очи... цветут» — выпавшее звено, о котором нам не надо беспокоиться (пропущено «как цветы») — образ всё равно всем своим весом упадет на нужное место в нашем сознании. Теперь не то Офелия, не то синяя даль видны поэту, когда он смотрит не *через* вуаль, не *сквозь* вуаль, а *за* вуаль. Он смотрит за вуаль не только потому, что в слове *сквозь* четыре согласных и оно изуродовало бы строку, но и потому, что он делает усилие и не хочет дать слишком «легкого» взгляда. Очарованный берег, очарованная даль значат вместе и «очаровательный», и «зачарованный», и «чарующий». Каждое слово приходит с десятком своих обертонов (и чар).

Я хочу обратить внимание читателя на одно обстоятельство, которое мне кажется важным. Строку:

Мне чье-то солнце вручено

я воспринимаю как пьяный бред, — и только. Во всяком случае, образ солнца, к счастью для стихотворения, Блоком оказался неразвит. Он ставил себе границы, как все большие поэты. Если бы он его развил, этот образ перевесил бы своей значительностью весь конец стихотворения, пото-

му что символ солнца (как и символы железной дороги, зорь, снега, вина и др.) в поэзии Блока занимает очень значительное место, и если бы он развил его в «Незнакомке», он бы включил всю поэму в цепь, по существу чуждую поэме. Толпа его прежних солнц задавила бы все. Блок, конечно, вполне бессознательно, только показал солнце на мгновение (в пьяном бреду) и затем оставил его без развития, как незначительный намек.

На образе ключа — магическое слово, имеющее три прямых значения и около десятка косвенных — стихотворение начинает идти к концу. Ключ — символ одиночества — перекликается с собственным отражением в стакане. Ключ от сокровища только один. Сокровище заперто. Сокровище во мне самом. (Эдгар По, Вилье-де-Лиль-Адан). Все ключи всех романтиков, парнасцев и символистов поданы нам тут на *связке* ассоциаций. «Последний ключ... забвенья» звучит в игре слов. И когда, наконец, мы доходим до «чудовища», то тут мы уже бессильны защититься от всех ужасов Иеронима Босха, кошмаров, драконов, монстров, дремлющих в нашем сознании и высывающих свои рожи из подсознания. Они разбужены... Но стихотворение окончено. С толпой обитателей пустынь и морей, страшных сказок, с толпой вымерших динозавров и белых китов мы и остаемся.

2

В этом обзоре я постаралась показать логопею «Незнакомки». По ней можно видеть, что делает со стихотворением этот третий элемент, поддержанный первыми двумя (более нам привычными элементами фанопеи и мелопеи), что делают ассоциации и обертоны, когда слово насыщено энергией, доведенной до высочайшей точки, когда слово максимально заряжено. Насколько позволяют судить первые опыты логопического наблюдения, обертонами богаты Пушкин, Боратынский, Тютчев, Некрасов, Вяч. Иванов, Блок, Ходасевич, Осип Мандельштам, Анненский, Гумилев, Маяковский. У Пастернака они распределены очень капризно. Примером перенасыщенности может служить первая глава «Онегина»: в ней мозг едва поспевает за видениями (по формуле Элиота).

Русская поэзия во много раз моложе английской. Кроме того, несколько обстоятельств ставят эту поэзию в тра-

гически невыгодное положение по сравнению с поэзией французской, польской и англо-американской: болезненный разрыв традиции в середине прошлого века; периодическое «сбрасывание с борта современности» поэтов, вместо того, чтобы их хранить, холить и культивировать; слишком позднее признание настоящей ценности многих больших поэтов (а также непризнание некоторых до сих пор); отсутствие нормального развития поэзии в XIX веке и, наконец, отсутствие критики в том смысле, в каком она понимается в западном мире.

Я уже упоминала вскользь о пяти главных направлениях современной западно-европейской и американской критики. Они представляют собой весьма замечательное явление. Каждое из них знало борьбу за место в литературе, завоевание этого места и расцвет. Теперь, после сорока или пятидесяти лет плодотворного, а иногда и бурного существования, все пять направлений (опирающиеся на пять особых методов) переживают перемену в своем обособленном состоянии, перемену, которая приведет их (если еще не привела) к слиянию. Все пять направлений, в лице лучших представителей своих, постепенно отбрасывают все узкое, все слишком специальное и «партийное», все, что отчасти было данью моде и времени, и свои очищенные и обновленные принципы несут в какой-то «центр», выходя на общую дорожку. *Аналитическая критика* (терминология Р. Веллека) стала постепенно образовываться в последние десять лет.

Что же представляют собой эти пять направлений? Прежде всего, уже с начала нашего столетия и до сегодняшнего дня, существует критика *биографическая*. Она существовала и у нас. Цель такой критики — сам человек, не то, что им сделано, а если и важно то, что им сделано, то только в связи с ним самим. Этот метод медленно сам себя убивает: интерес к произведениям, не к авторам, решает его судьбу.

Второй метод — *психоаналитический*. Он пережил героические времена и многие блестящие критики были им увлечены. Русские, как и все другие, отдали ему дань, но достаточно было окрика ЦК КПСС, как от него не осталось ни пушинки. Впрочем, пушинка осталась: если рассыпаются в пыль книги и журналы двадцатых годов, где были когда-то напечатаны до сих пор сохранившие несомненный интерес статьи русских критиков-психоаналитиков, то фотостаты и

микрофильмы их писаний целы в библиотеках западного мира.

Третий метод — *марксистский* или иначе говоря *социологический*. На Западе он был в зените славы в 30-ых годах. В России вот уже сорок лет он является единственно дозволенным. Его отличительные черты: общеобязательность и неизменность. Он лишен всякой эволюции. Чем меньше о нем будет сказано, тем лучше. У нас он идет частично от Белинского, озабоченного взаимосвязями поэта и его среды, но не природой искусства.

Четвертый метод — *формальный*. Блестящее начало его совпало в России с годами революции. Судьба его была трагична: его представителей долго преследовали, затем заставили написать изыскание о языке Ленина. Теперь формализм на Руси — бранная кличка. Пока была возможность — русский формализм загнул круто в сторону, чтобы отмежеваться от других течений, которых подкармливала советская власть, затем незаметно встал на скромные «академические» позиции, балансируя, как акробат на канате. Затем формалистам заткнули рты. Сейчас большинство из них умерло. У них не было свободной эволюции, был путь несчастных приспособлений. Их судьба — сплошная цепь бедствий. Но их книги, на мой взгляд, учат больше, чем все, написанное русскими критиками за последние пятьдесят лет. Я бы сказала: их книги — наша пища, и их судьба — наша печаль. Когда-нибудь с этих книг начнется русская критическая мысль. На Западе формализм — такая же обязательная научная дисциплина, как арифметика и география. Это — школьный фундамент литературы.

Пятый метод — *философский*. Его у нас всегда было довольно. Непревзойденным образцом его может служить статья Н. Бердяева о «Петербурге» Андрея Белого (1918 г.). На Западе этот метод почитается, но постепенно начинает выходить за пределы литературной критики. В философском подходе есть всегда что-то интересное и серьезное, но слишком часто в нем больше философии, чем литературы.

Есть, впрочем, еще один — шестой — подход, который на Западе начал вырождаться лет шестьдесят тому назад и был постепенно начисто отброшен. Он сохранился сейчас только в дешевых, «популярных» писаниях так называемых «оценщиков»: критика пишется по способу «нравится —

не нравится», «какую отметку поставить?», «будет ли у книги успех и у кого?» «Что Я думаю (а иногда и чувствую) при чтении этого произведения?» «Какие мысли мне приходят в голову (когда случайно и в мою голову забредают мысли) по поводу него?» Излагается содержание. Припоминается отсебятина, которая припомнилась «случайно», (особенно — из юности)... Этот дешевый вид давно пережившей себя «критики» когда-то назывался *импрессионистическим*. Его главным шиком было говорить о книге тоном данной книги, главной задачей — искать за «искусством» — «человека». Отбросив этот шестой способ, как совершенный вздор, нам остаются первые пять, которые сейчас на Западе начинают терять свои твердые очертания и сливаться в один метод. В тень уходят психоаналитический и социологический подходы, на которые начинают смотреть, как на подсобные. Лучшее берется и развивается из философского и формального методов. Биографический хранится под рукой для некоторых исключительных случаев.

За последние десять лет слияние этих пяти методов в англо-американской критике идет полным ходом и дает исключительно важные результаты. Такие имена, как Ричардс, Блэкмор, Тэт, Бьюкенен, Идэл, Герберт Рид, Тиндэл, Бэрке, Клэнт Брукс (не говоря уже о поэтах-критиках, как Элиот и Паунд) принадлежат людям, открывшим в критике новые пути, освежившие, обновившие старые. Они не только часто сами поэты и «эстетики», но и мыслители, сказавшие новое слово в теории познания, и стилисты, сказавшие новое слово в языке. Они и творцы, и комментаторы одновременно. Не только каждый из них написал по несколько книг (эти книги — азбука литературной науки, читающаяся десятками тысяч), но о каждом из них написаны книги. У них найдется чему поучиться вылинявшей, смехотворной, но еще существующей у нас «импрессионистической» критике с одной стороны, и вооруженной толстой палкой, так называемой марксистско-ленинской эстетике — с другой. Здесь, в Соединенных Штатах, литературная критика высокого уровня, опираясь на новые принципы эстетики (Кассирер), антропологии (Фрэзер), философии (Ясперс и С. Лангер), теории познания, как ее понимает современная наука о мифе и символе (Уайтхэд), есть одно из наиболее ярких, сильных, глубоких и полноценных явлений нашего времени.

Каковы же главнейшие основания этой новой аналитической критики, которая на наших глазах начинает вырастать из пяти направлений и лучшие представители которой тесно связаны с современной философией, связанной — в свою очередь — с математикой и точными науками? Постараюсь дать перечень этих оснований.

«Интерпретация, — говорит автор замечательной книги о Шекспире, Вильям Найт, — есть основная задача критики. Критика, которая интерпретирует произведение, стремится слить читателя с книгой, она хочет, поскольку это возможно, понять произведение в его собственном свете, пользуясь при этом внешними перекрестными ссылками только для предварительного подхода к вещи. Критика интерпретирующая избегает оценок, и т. к. само ее существование всецело зависит от дающего ей бытие факта признания ею ценности данного поэтического целого, которое она переводит на дискурсивный язык, она не обсуждает, что хорошо и что дурно. Критика, которая оценивает и не интерпретирует, есть *суждение о видении*, критика, которая интерпретирует и не оценивает есть *восстановление видения*».

С Найтом согласен Элиот: «Задача критики, говорит он, видеть вещь, как она есть, раскрыть в ней идеи, в среде которых люди в данное время живут и эволюционируют, идеи, которыми питается зрелое искусство».

Как говорит Ясперс, с разумом не рождаются. Чихать и кашлять мы не учимся, но думать необходимо учиться. Разум *решают иметь* те, которые хотят сделать свободный выбор. Чтобы жить (быть живым) — наше решение не нужно. Чтобы иметь разум — оно необходимо. За последние полстолетия (говорит Ясперс) произошло величайшее событие, равное по значению V-му веку до нашей эры: научный метод сделался предпосылкой *всякого* мышления, ничто в разуме не бывает автоматичным. (Здесь любопытно вспомнить, что первые, говорившие о том, что «поэту необходимо знать мозговые процессы», были Эдгар По и Бодлер).

Под этот закон подпадает и поэзия. Ее процессы имеют два аспекта: организация материала и организующий разум. В то время, как разум выбирает материал, этот материал, в свою очередь, выбирает способ, каким он будет выражен, и повелевает разумом. Организация материала таким об-

разом есть результат взаимного усилия между разумом и материалом.

В другом разрезе процесс создания стихотворения рисуется в следующем виде (схема Е. Сюэлл):

1. Прочное слово (незыблемое понятие) и прочная с ним ассоциация (научные слова).
2. Прочное слово (незыблемое понятие) и прочная к нему установленная цепь ассоциаций (или круг ассоциаций). (Обычные слова).
3. Прочное слово (незыблемое понятие) и не стабилизированное разнообразие связанных с ним ассоциаций (абстрактные слова).
4. Прочное слово (незыблемое понятие) и отсутствие ассоциаций (предлоги, наречия, стертые слова).
5. Нестабилизированное слово, невозможность ассоциаций (напр., словарь Хлебникова. Н. Б.).

Ричардс в своих опытах интерпретаций дает 15 толкований небольшого стихотворения Ландора (1775-1864). Блэкмор перечисляет «цепь перекрестных ссылок», которую он находит в тридцатом «Кантосе» Паунда. (Перечислю их для любопытного читателя; логопея 30-го Кантоса имеет следующий вид: Одиссея, Браунинг, Эсхил, Илиада, Сорделло, Овидий, Сид, Инеса де Кастро, японская мифология, Прованс, Катулл, Борджиа, Медичи, XII век Франции, Елена Троянская, Диоклетиан, Данте, Флобер, Генри Джеймс, Малатеста, китайская философия, Марко Поло, политическая экономия, Ближний Восток, Индия, флорентинское законодательство 1500 года, платоники, трубадуры, Венеция, Тициан, Тибулл, Флорентинский собор 1438 года, Карпаччио, Джеферсон и Адамс и т. д. В русской поэзии с этим может соперничать только I глава «Первого свидания» Белого). Иногда у таких поэтов, как Лукреций (и Элиот), не все звенья налицо и некоторые сознательно вынуты из цепи, но от этого меняется только путь, каким достигается эффект, сила эффекта не уменьшена: дайте образам и «перекрестным ссылкам», обертонам и ассоциациям падать с максимальной быстротой в ваше сознание, и впечатление будет столь же цельным, как если бы все звенья были налицо. По мнению вышеназванных критиков, те, кто *выбрал разум*, обязаны уловить *все*, что дается в стихотворении,

т. к. устройство мозга современного человека, решившего в жизни *думать*, их к этому обязывает.*

Другой элемент тройцы, мелопея, играет, конечно, неменьшую роль. Одновременные музыкальные звучания (аккорд) или раздвинутые (арпеджио) теперь, когда в стихотворении нет определенного метра, а есть лишь своего рода «ритмическое содержание», стали гораздо более сложными и «хитроумными». Раньше было тиканье метронома и в нем — музыкальная фраза. Теперь метроном уничтожен и осталась от двух элементов — метрическая доминанта, в которой живут взаимоотношения слов в их музыкальном значении. Наконец, третий элемент (фанопея) — не иероглифы и не крестословицы. Это сжатые под давлением материала образы, вполне переводимые, как мы уже знаем, на другой язык.

Хотя Элиот и другие говорят, что поэзия может быть воспринята *до* того, как она понята, но, конечно, они не думают, что этим нужно ограничиться. Элиот описывает различные ступени восприятия Шекспира, называя их «уровнями значимости»: один воспринимает сюжет (содержание), другой — характеры и их конфликт, третий — слова и стиль, четвертый — музыкальный ритм, и наконец, пятый — смысл, который себя открывает постепенно. (Здесь, конечно, сильно чувствуется схема Аристотеля). Этот пятый знает, что слово несет с собой всё свое прошлое, и, как люди, которых свели вместе, не могут оставаться замкнутыми сами в себе, и не влиять друг на друга, так и слова, которые поставлены в ряд, от соседства других слов меняют свои свойства и окрашивают друг друга. Трагедия Шекспира, как и поэма Ландора, как и всякое вообще стихотворение, — лабиринт. В нем одна синекдоха иногда может принести бессмертие поэту. В нем цепная реакция ставит каждое слово в зависимости от всех предыдущих и последующих, и когда эта реакция начинается, слова вскрывают друг в друге неведомые до того элементы: весь путь делается путем «порогов» и «вскрытий».

* С чувством некоторой неловкости вспоминаю один разговор с П. Н. Милюковым в Париже в начале 30-ых годов. На мой вопрос, почему в его газете он мало печатает Цветаеву, он улыбаясь сказал: «Я кончил университет, но ее не понимаю». А в это время во французских лицах французские дети проходили не только сверстников Цветаевой, но и поэтов следующего за ними поколения!

Эти мысли, основанные на частичном преломлении и приспособлении (даже в терминологии) данных точной науки, были когда-то высказаны менее отчетливо и «современно», и, конечно, осмеяны, если не отброшены вовсе, как парадокс и оригинальничанье. Что они были высказаны Маллармэ и По, или Белым, или другими «декадентистами» не поражает. Но к моему великому удивлению я нашла нечто весьма близкое к ним в сочинениях забытого и осмеянного символиста и формалиста (что вполне простиительно) Овсяннико-Куликовского, который будучи человеком умным и литературно-независимым, не боялся иногда некоторые вещи говорить на пятьдесят лет раньше других. Но который так пугался сказанного, что уже не возвращался к этим мыслям и их не развивал. Вот что он писал в 1910 году о лирической поэзии: (не забудем, что в это время «поэт-пророк» и «другая реальность» были во всей своей силе):

«Лирический процесс есть процесс *интеллектуальный*. Эмоция лирическая есть эмоция *интеллектуальная*. Лирика есть процесс создания гармонического душевного состояния особого типа. Гармония духа осуществляемая лирическими средствами (ритм) есть гармония психического движения».

Когда мы выходим из рамок поэтического процесса и обращаемся к поэзии, как замкнутому в себе самом феномену с тысячелетней традицией, мы видим в ней два функциональных элемента. Первый из них — символ. Сущность поэзии (как и всякого искусства) символична. Термин этот имеет мало общего с литературной школой во Франции и в России в конце прошлого столетия, так же как и другой функциональный элемент — миф — имеет мало общего с греческой мифологией. В разъяснении этих понятий и их роли в искусстве Кассирер, Фрэзер и Уайтхэд сыграли огромную роль. Все трое в *собственной* области сделали открытия (эстетика, антропология, философия, связанная с математикой), которые породили предпосылки для «интерпретации поэзии», т. е. для современной критической мысли. Эти открытия дали возможность поэзии выйти из идеалистического-романтического полу-бытия и связали ее с проблемами и конфликтами современного человечества, одновременно будя сознание людей и давая им возможность

разрешения глубочайших конфликтов, «страха и трепета» их жизни. (Терминология Киркегарда).

«Написанное слово есть символ, — говорит Уайтхэд, — значение его — произнесенное слово. Это слово (произносимое) — в свою очередь — символ, а его значение — в словаре, напечатанное и прочтенное». В поэтическом языке происходит «двойная перекрестная ссылка» — от вещей к словам (поэт) и от слов — к вещам (читатель). Мы все — от электрона до человека — обладаем единством опыта. Наше сознание состоит из соединения данных и образа мыслей об этих данных. Колебания сознания есть колыбель искусства. Нерешительность (свобода выбора) нашего сознания есть прерогатива человека: цветок поворачивается к солнцу без малейшего сомнения, сильнее его следует своему закону камень, слабее — животное. Нерешительность есть следствие нашего сознания. Сознание выражается в символах. И символ есть путь познания истины.

Англо-американская поэзия XX века уходит своими корнями не только в свое собственное почти тысячелетнее прошлое, но и в прошлое всех других народов, по словам Элиота, *всё* принадлежит поэту, и чем больше он связан со *всем*, тем для него лучше. Первый этап этого прошлого — поэты конца XIX века. У нас, в России, французская школа вторым поколением русских символистов считалась чем-то презренным, они так были заняты борьбой с Брюсовым, что прошли мимо многого, что было ново и важно в мыслях Жида, в формулировках Валери, в поэзии Лафорга, которой Элиот и Паунд стольким обязаны. Ейтс вообще не был услышан в России, а он как раз есть то звено, которое сейчас, через столько лет, отчетливо стало видно, как связь двух эпох. Величайший гений двух веков (1865-1939), он питает уже пятое поколение своим непревзойденным гением. Статьи Маллармэ, статьи Валери (особенно о Маллармэ) живы сейчас, как они были живы пятьдесят лет тому назад, и может быть, еще более. И Ейтс — классик. (Нобелевский лауреат 1923 года). Но Белый и Вяч. Иванов не «открыли» всего этого, а как бы это помогло им, как бы открыли их! Ведь никто другой, как Белый сказал когда-то: всякое искусство символично. Но он, как Овсянко-Куликовский, испугался своих слов и не мог или не сумел их развить. А теперь это принято за аксиому, как в поэзии, так и в живописи, и в музыке. Эта аксиома дала современному искусству «символическую технику», тот способ, ка-

ким «сырье» жизни, бессознательные и остающиеся необъясненными силы, традиция и новые пути интуиции, превращаются в произведения искусства.

Современная критика тренирует читателя в умении символически мыслить, потому что «всякая поэма есть внешнее движение, насыщенное внутренним смыслом действие, полное многозначности и вызванное к жизни воображением» (Блэкмор). В поэзии «отдельные слова, или образы, или формулировки до такой степени бывают наэлектризованы и наполнены значением (смыслом) от окружающего их контекста, что образы становятся символами мощной драматической силы» (Брукс). «Поэма есть равновесие напряжений. Она не дает нам знание о чем-то постороннем, она сама есть полнота этого знания. Мы знаем ее, данную поэму, а не то, о чем она говорит и что мы может перефразировать» (Тэт). «Произведение есть предмет познания *suī generis*. Важны системы норм, иерархия точек зрения» (Веллек). «Искусство в основе своей есть конкретное чувственное развитие символических форм» (Рид). И может быть, с наибольшей полнотой С. Лангер определила, что такое стихотворение, в своей книге «Философия в новом ключе», обошедшей мир в переводах на все языки (кроме русского), кстати, — написанной первым женщиной-философом:

«Хотя поэзия и пользуется словесным материалом, однако то, что она приносит с собой, не есть буквальное и конкретное утверждение чего-либо, выраженное словами. Это есть способ, каким это утверждение сделано, иначе говоря, сюда входят: и звучание, и темпы, и аура ассоциаций слов; и сложные и простые обрамления мыслей, и богатство (а также и бедность) проходящих мимо образов, которые выявляют эти мысли; и внезапная остановка воображения, остановленного передачей конкретного факта; и поток конкретных фактов, остановленных внезапным поворотом воображения; и наше напряжение в ожидании того хода, какой примет буквальный смысл (не преобразованный), или примет продленное смысловое колебание, которое вдруг прервется каким-нибудь давно ожидаемым ключевым словом; и все объединяющий, все обнимающий искусно сработанный ритм».

Откуда черпает современная поэзия свою живую суть? Из миров древности и газетных известий, из остатков тысячелетних религий и данных точной науки, из творимых те-

перь, в наше время, большими поэтами (иногда с помощью самой жизни) мифов, которые включаются в цепь тех, о которых писал Ницше:

«Культура, потерявшая свой миф, тем самым потеряла здоровую возможность творчества. Только когда горизонт заселен мифами, культура получает единство. Силы воображения могут быть спасены только мифом от беспорядочного, праздного шатанья из стороны в сторону. Образы мифа должны всегда занимать первое место, как в детском уме, так и в уме взрослого человека, чтобы давать смысл человеческой жизни и человеческой борьбе».

И дальше:

«Народ, как и личность, ценен лишь в той мере, в какой он способен придать опыту сегодняшнего дня печать вечности».

Это было почти сто лет тому назад. Наш современник, Уилрайт, один из первых, кто писал о значении мифа в современной поэзии, пишет теперь:

«Утеря мифа — одна из самых опустошительных потерь, которые могут постичь человечество. Сознание мифа — та связь, которая объединяет людей, как друг с другом, так и с оставшейся нераскрытой Тайной, из которой произошло человечество, и без мысли о которой основное значение всех вещей ровно ничего не стоит».

И еще (Марк Шорер):

«Мифы одной эпохи могут быть «лучше», чем мифы другой. Это значит, что некоторые из них содержат большую часть тотального опыта данной культуры, чем другие. Но в великие века мифы народов содержат в себе *весь* опыт их культуры. Тогда-то поэзия и достигает своих вершин».

Достигла ли англо-американская поэзия в середине нашего столетия этих вершин в лице Ейтса, Элиота, Стивенса, Мак Лиша, Джойса, Паунда, Оудена, Каммингса и других? Я думаю, это может быть решено только в верной перспективе времени, не сейчас. Однако, сегодня есть для положительного ответа на этот вопрос серьезные предпосылки. Тот, кто участвует в этой поэзии, как поэт или как критик-интерпретатор, и тот, кто касается ее, как читатель, знает, что она несет с собой огромное сокровище — целый

мир, открытый и свободный для всех тех, кто выбирает жить в нем. В этом мире есть и *урок*, и *наслаждение*, и *величие*, и *игра*, в нем есть *источники* и *отголоски*, — мощная традиция и залог будущего.

Я постаралась дать несколько формулировок и общую картину современной критики, указать направление, куда идет критическая мысль и наметить взаимоотношения между критикой и поэзией нашего времени. Я не коснулась поэзии по существу. Я не успела даже упомянуть того факта, что имена Дарвина и Фрейда, Данте и Кольриджа, Платона и Аристотеля тесно связаны и с критикой, и с поэзией, и дать этому факту объяснение. Для тех, кто не читает в оригинале современных английских, американских, французских и других поэтов — они запечатанная книга. Переводов русских нет. Ничего общего со знакомой когда-то русскому читателю поэзией начала этого столетия современная поэзия не имеет: метроном не отбивает такта, рифма не шелкает (эти два элемента сейчас перешли в поэзию рекламы), чувства, как тема, исчерпали себя, сложный механизм (музыкально-семантический) внутри стихотворения делает каждое из них непохожим на другое. Эти стихи трудно читать. Их трудно писать. Они, как современная музыка, как современная живопись, требуют напряженного внимания, многократного чтения и слушания — все большие поэты давно записаны на пластинках. Такова поэзия и в Америке, и во Франции, и в Англии, и в Италии, и в Швеции, и в Румынии, и в Исландии, и в Польше, и в Бразилии, и в Эстонии, где, кстати, есть большие поэты и сильна поэтическая традиция. Для всех этих стран, и для многих других, наш век — великий век. И только русская чаша весов одиноко поднимается всё выше и выше от своего оскудения. Мы давно испили эту чашу. Она не миновала нас, как и многие другие. (Здесь метафора переходит в символ, и символ переходит в миф).

Место свободно для шамана, для заклинателя, для престижизитатора, для жреца, для горохового шута, для пророка, для новатора, для реставратора, — для кого угодно!

Н. Берберова

ТАИСИИ СМОЛЕНСКОЙ

1

Есть черной стрелой в поднебесьи подбитая птица,
Есть мутная тень, что ночами бессонными снится.

Есть дьявол, есть гибель, есть сердце, что в гибели
стынет,
Глаза голубые, что плачут в больничной пустыне.

Есть легкое тело, лежащее в тяжком страдании.
Есть свет, что сияет в бессмертии воспоминаний.

Есть сердце, что бьется и стонет в безумном усилии,
О, взмах белоснежных, уставших, страдающих крыльев,

О, бедная Тася, ты плачешь, ты любишь, страдая,
Дай в вечности губы, мой ангел, моя дорогая.

Да будет за всё, за страданье, за гибель награда —
Бессмертье с тобой — мне иного бессмертья не надо.

Слышишь, Тася — любовь — что поет до скончания мира
Перерезанным горлом и полуразбитою лирой.

2

Перерезали горло,
Бьют в несчастное сердце,
Душат бедную душу мою,
— Нету рифмы на горло,
Нету рифмы на сердце,
Но я всё же пою и люблю.

Дай мне, Господи, силы,
Дай мне, Господи, слабость,
Чтобы ясно и просто сказать
— У предверья могилы —
Что бессмертье и радость
У любви никому не отнять.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ РИТМЫ

Выйди в полночь в цветущий сад
— Жить когда уж не стало мочи, —
Звонко созвездия зазвучат
В гулких глубинах ночи.

И в сердце — в мечтаньях твоих ночных,
Летя, блистая крылами,
Зазвучит, еле слышно, невнятный стих
Еще немymi словами.

Но вот, всё яснее слова звучат,
Всё явственней, всё нездешней.
Выйди в полночь в цветущий сад,
Звезды всё ярче, ночь всё кромешней.

ДИАЛОГИ

1

— Обглоданные нищетой старухи,
Забитые нуждою старики,
Уроды, идиоты, потаскухи,
Калеки без ноги и без руки

Тебя несчастней во сто крат, быть может,
Не во сто крат, ну, скажем, раза в два,
Тоска, что сердце им несчастным гложет,
Коснулась сердца твоего едва.

Их боль сильнее, неизлечимей раны,
Быстрее их жизни оборвется нить.
Благодари же Бога!
— Друг, мне странно
За боль мою Его благодарить.

2

— Вот осталось мало жить,
Не о чем тебе тужить —
Прожил жизнь и слава Богу!
Что ж ты накопил в дорогу?
Что же ты с собой возьмешь?
Что в бессмертье донесешь?

— Я возьму любовь и веру
И стихи!

— Оставь, не в меру
Ты берешь! — стихи оставь!
Пусть среди людей и трав,

Радуюсь, изнемогая,
Смерть твою преодолевая,
Пусть они живут мечтаньем,
О тебе воспоминаньем.

Владимир Смоленский

О РАННЕЙ ПРОЗЕ ПАСТЕРНАКА*

В середине двадцатых годов, когда стихи Пастернака горячо обсуждались и многими превозносились до небес, о прозе его речи почти не было. «Детство Люверс», однако, он опубликовал в том же году, что и «Сестру мою жизнь», а «Воздушные пути» через год после «Тем и вариаций», так что и тогда было достаточно оснований придавать его прозе не меньше значения, чем стихам. Основания эти еще умножились немного позже, когда появилась «Повесть» и произведшая все же некоторое впечатление «Охранная грамота», но и после этого в авторе их продолжали видеть исключительно поэта, а прозаические его писания считать чем-то побочным и не уделять им особого внимания. Между тем, тогдашним поклонникам его следовало бы этой прозой восторгаться едва ли не еще больше, чем стихами, оттого что поэтом оставался он и в ней, а его сугубо поэтический, до предела насыщенный образностью язык был здесь еще более нов, необычен, острее, чем в сочетании с рифмой и с привычным сравнительно размером. Но и независимо от этой (не очень оцененной) модернистической своей природы, а то прямо ей наперекор, проза эта поражала чертами, резко отличавшими ее от той, что так пышно цвела у нас в то время. Любили расплывшуюся, рыхлую, а она была подтянута и сухошава, держалась вдали от разговорной речи, не подражала никакому «сказу» и синтаксис ее был четко артикулирован. Как и в стихах тех лет, Пастернак приближался тут скорее к западному, чем к нашему доморощенному модернизму. Некоторое сходство с его прозой обнаруживает у нас лишь проза Мандельштама, стихи которого на его стихи вовсе не похожи. За тридцать лет и больше она не выцвела, и немало в ней есть страниц, крепче сложенных, выверенных точнее, чем это можно сказать о многих современных ей пастернаковских стихах.

* Статья эта будет напечатана в качестве введения ко второму тому собрания сочинений Пастернака, издаваемого Мичиганским Университетом.

«Апеллесову черту», рассказ 1915 года, навеянный путешествием в Италию и озаглавленный сперва по-итальянски, а также «Письма из Тулы», написанные три года спустя — нечто среднее между рассказом и стихотворением в прозе — можно рассматривать еще как пробы пера. В них много таланта, натиска, задора, но и юношеского романтического сумбура (смягченного юмором в «Апеллесовой черте»). Однако, намечается в них и та особая стремительность тона, та гибкость и четкость фразы, а главное, сквозь всё фехтованье словами, та меткость слова, которые скоро приведут к подлинному словесному мастерству. В «Детстве Люверс» и «Воздушных путях» оно уже проявилось полностью. Вот его образчик, относящийся к той передаче чувственных восприятий (в данном случае зрительных и слуховых), что и в стихах, с самого начала, лучше всего давалась Пастернаку, а здесь, на свободе, достигает и совсем безоблачной прелести:

«Двор был пуст. Прохор отработал. Он вышел за ворота. Там низко-низко, над самой травой, струнчато и грустно стлалось бренчанье солдатской балалайки. Над ней вился и плясал, обрывался и падал, замирая в воздухе, и падал и замирал, и потом, не достигнув земли, подымался ввысь тонкий рой тихой мошкары. Но бренчанье балалайки было еще тоньше и тише. Оно опускалось ниже мошек к земле и, не запыхавшись, лучше и воздушней, чем рой, пускалось назад в высоту, мерцающая и обрываясь, с припаданьями, не спеша».

Это из «Детства Люверс». А вот из «Воздушных путей» отрывок совсем другого рода, относящийся к ситуации, определяемой на предшествующей странице так: «Неизвестная дама в третий раз уже спрашивала члена президиума губисполкома, бывшего морского офицера Поливанова. Перед дамой стоял скучающий солдат». Действие происходит в 1920, примерно, году:

«Солдат отвечал даме, что Поливанов еще не ворочался. Скука трех родов слышалась в его голосе. Это была скука существа, привыкшего к жидкой грязи и очутившегося в сухой пыли. Это была скука человека, жившегося в заградительных отрядах с тем, что вопросы задает он, а отвечает, сбиваясь и робея, такая вот барыня, и скучавшего оттого, что порядок образцового собеседования тут перевернут и нарушен. Это была, наконец, и та напускная скучливость, которою придают вид сущей обыкновенности чему-нибудь совершенно небывалому. И, превосходно зная, каким неслыханным должен был

казаться барыне порядок последнего времени, он напускал на себя дурь, точно о ее чувствах и не догадывался, и отродясь ничем другим, как диктатурой, и не дышал».

Отрывок этот, в силу своей темы, не столь непосредственно поэтичен, как предыдущий, но и он насыщен, отточен и закончен, как стихотворение. Стилистически, в обоих отрывках нет ни малейшего изъяна, чего не скажешь о большинстве стихотворений, входящих в «Темы и вариации» или «Сестру мою жизнь». Меткость же их, изобразительная точность в них достигнутая тоже не оставляет ничего желать, хотя в обоих есть элемент игры, который сходству не вредит, а только дает его сильнее почувствовать и устраняет опасность смешения его с чем-то заранее известным. В тех ранних двух опытах, как и в стихах, игра эта переплескивала через край и тогда сходство исчезало или, верней, пропадал смысл о сходстве говорить: игра становилась беспредметной. Теперь это наблюдается реже. Закипающая сама собой образность речи получает оправдание: ее образы что-то изображают, и это что-то уточняется и углубляется. Меткость, как во втором отрывке, оборачивается психологической пронизательностью. Часто уже и не знаешь чему радоваться больше, верности наблюдения или безошибочности слов, выражающих его, например, когда дети Люверс укладываются в вагоне на верхние места, а утром Женя, проснувшись, глядит вниз и видит там читающего газету незнакомого пассажира:

«Женя разглядывала его сверху с той ленивой аккуратностью, с какой думает о чем-нибудь или на что-нибудь смотрит вполне проспавшийся, свежий человек, оставаясь лежать только оттого, что ждет, чтобы решение встать пришло само собой, без его помощи, ясное и непринужденное, как остальные его мысли».

Таких отрывков и фраз, да и целых страниц такого качества в «Детстве Люверс» немало. Еще больше их в написанной позже «Повести». От искусно, но и несколько искусственно придуманных сюжетов, как в «Апеллесовой черте» и еще в «Воздушных путях» (где отец дважды находит сына, о существовании которого ему не было известно, и дважды его теряет — по разному) Пастернак в дальнейшем отказался, но повествование, само по себе, в прозе или в стихах, особенно такое, куда легко включались лирически окрашенные воспоминания, стало привлекать его еще сильнее, чем прежде.

Об этом свидетельствует не только упомянутая уже, оставшаяся неоконченной, как и «Детство Люверс», «Повесть», но и «1950 год», «Лейтенант Шмидт», «Высокая болезнь», «Спекторский», а также насыщенная лиризмом автобиография в прозе, названная «Охранной грамотой». Повествование требует некоторого обуздания первичного лирического порыва, того, что у героя «Повести» сливается с влюбленностью и определяется автором, как то ее «качество, благодаря которому язык кишит образами, метафорами и еще более того — загадочными образованиями, не поддающимися разъяснению». Дисциплина повествования в прозе тут действует сильнее, чем та, что присуща, например, роману в стихах, такому как «Спекторский», где, несмотря на резко прозаический словарь, не достигнута та новая, отнюдь не ведущая к скудости прозрачность, которая предчувствовалась уже в «Детстве Люверс» и еще определенной наметилась в «Повести». Язык «Охранной грамоты» более цветист и прян, более приближается к языку «Воздушных путей» и даже чуть-чуть к «загадочным образованиям, не поддающимся разъяснению», о чем никто, впрочем, не пожалеет, кто прочтет хотя бы только страницы этих воспоминаний, посвященные Марбургу или Венеции. Но дальнейший путь Пастернака всё же «Повесть» указывала всего ясней. Недаром, со второй половины тридцатых годов он уже работал над будущим «Доктором Живаго».

**
*

И всё же, так безболезненно и прямолинейно он к этой книге, венцу своей жизни, не пришел. «Доктора Живаго», которого мы знаем, он бы не написал, если бы не тот глубокий, нами лишь угадываемый душевный перелом, одним из следствий которого было осуждение самим поэтом всего прежнего своего творчества. Вторая автобиография начинается с приговора над первой: «К сожалению, книга испорчена ненужной манерностью, общим грехом тех лет». Из этого нельзя не заключить, что когда немного дальше упоминается об «удручающе неумелых писаниях тех лет», то относится это и к писаниям в прозе, а слова «я не тужу об исчезновении работ порочных и несовершенных», к потерянным рукописям, отнюдь не только стихотворным. «Я не люблю своего стиля до 1940 года». «Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и лом-

кою всего привычного, царившими кругом. Всё нормально сказанное отскакивало от меня». Это тоже касается в равной мере стихов и прозы. И как бы нам ни казалась чрезмерной строгость этого суда, она объяснена и оправдана — опять таки в равной мере — стихами последних лет и прозой его лучшей книги.

Если вдуматься, однако, в точный смысл этих самообвинений, то позволительно будет прийти к выводу, что прозой они заслужены всё-таки меньше, чем стихами. О выкрутасах и манерностях скорей возможно говорить применительно к «Сестре моей жизни» и даже еще ко «Второму рождению», чем к «Повести», где их почти нет, или к «Охранной грамоте», где они так связаны с душой этой книги, что читатель с ними сживается и на них не сетует. От прозы двадцатых годов, путь к «Доктору Живаго» короче и прямей, чем от стихов того же времени, к стихам, образующим последнюю главу романа. Кроме того, если в манерности и выкрутасах обличать всякую сколько-нибудь непривычную или издалека притянутую образность, то от нее проза Пастернака никогда вполне не освободилась и не должна была освобождаться, потому что черта эта неотделима от лучших ее качеств: от ее живости, меткости, выразительной силы. Тут же, в «Автобиографическом очерке», когда речь заходит о смерти Толстого и о стараниях Софьи Андреевны оправдать себя перед толстовцами, ненужность этих стараний изображается при помощи метафор немного громоздких (гора, скала, туча, молния), напоминающих слегка язык «Писем из Тулы» или «Апеллесовой черты», но немногими строками дальше все придирки кажутся вздорными, когда читаешь, как лежал на постели в углу «маленький сморщенный старичок, один из сочиненных Толстым старичков» и как «сидевшее солнце четыремя наклонными стопами света пересекало комнату и крестило угол с телом крупной тенью оконных крестовин и мелкими детскими крестиками вычертившихся елочек». — Поздняя проза Пастернака отнюдь не сводится к «нормально сказанному», т. е. сказанному будничным, чуждым поэзии языком; ее отличие от ранней лежит в другой плоскости, как и весь смысл произошедшей в его искусстве перемены.

Когда Жене Люверс объяснили, что странное зрелище, которое она каждый день наблюдала из своего окошка было учением солдат, случилось следующее:

«Налет бездушья, потрясающий налет наглядности сошел с картины белых палаток; роты потускнели и стали собра-

нием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и обесцветил».

Это замечательно верно увидено и прекрасно сказано, но отнести это можно и должно не только к тому, о чем тут непосредственно идет речь. «Потрясающий налет наглядности» — вот чего только или почти только и требует долгие годы от своего искусства Пастернак, и чего, даже вопреки своему сознательному намерению, он вынужден от него требовать, по самой природе своего таланта. Если бы он «одушевил», «возвысил» свой мир, он бы его обесцветил. Когда в «Воздушных путях» ему нужно изобразить людей, ищущих пропавшего ребенка, он пишет:

«Находясь на больших расстояниях друг от друга, они перекликивались и махали друг другу руками, и так как эти сигналы понимались всякий раз превратно, то тут же они принимались махать по-иному, порывистей, досадливей и чаще в знак того, что знаков не поняли и они отменяются, и чтобы не возвращаться, а продолжать искать там, где искали. Стройная бурность этих фигурок производила такое впечатление, точно, задумав ночью играть в лапту, они мяч упустили и теперь шарят его по канавам, и, найдя, игру возобновят».

Если «введенный в них смысл» одушевил и возвысил для Жени Люверс упражнявшихся в лагере солдат, сделал их близкими и тем самым обесцветил, то люди ищущие ребенка сделаны дальними, обездушены, принижены рассказывающим о них, и смысл их поисков им устранен, как раз для того, чтобы картина этих поисков была не обесцвечена, а возможно более наглядна. Лучше всего это достигается последней фразой, которая всего успешней возвращает картине «налет бездушья, потрясающий налет наглядности». Этого потрясения рассказчик именно и искал; оно, по связи его рассказа, нужно и вполне оправдано; и всё-таки, если взглянуть на раннюю прозу и тем более на тогдашние стихи Пастернака, в целом, придется сказать, что этот постоянно искомый и находимый «налет наглядности» придает им, как-никак, и некоторый «налет бездушья». Слети с них этот налет — так мы чувствуем, и чувствуем слишком часто — всё улетело бы с ним: не о чем было бы писать, нечем было бы любоваться.

С одной стороны, это в порядке вещей. Для ребенка и поэта, мотивировки, объяснения, причино-следственная понятность мира, обесцвечивают его, делают его будничным и прес-

ным. Но поэзия бывает соткана из одной поэзии разве что в раю. После того, как сорван плод со древа познания добра и зла, ей нужен мир, такой, как он есть, и знающая о нем человеческая совесть. К этой поэзии, во всей ее полноте, но достигшей полноты только через отречение от чего-то, что составляло часть ее самой, Пастернак и шел, медленно, всю свою жизнь; к ней и пришел, после перелома, в конце жизни. Воплотил он ее и в стихах, но прежде всего в своей прозе написанной и названной романом поэме. В наглядности, языку ее и тому, что в ней показано, не откажет никто, но необходимая жертва принесена, а потому и обошлось без того, чтобы на людях, странствиях, временах, о которых мы читаем тут, лежал какой-либо, хотя бы и самый легкий, налет бездушья.

В. Вейдле

«РОЗЫ ИЛИ РОЖЬ?»

Памяти Анны Присмановой

«Что дороже нам: розы или рожь?», спрашивает Анна Присманова? Вся поэзия ее (три книги стихов и поэма «Вера») устремлены к будничному. Она не терпит прикрас, срывает их резко, ошеломляет подчас нарочито угловатыми образами. Прекрасное стихотворение «Горб» могло бы послужить эпитафией ко всему ее творчеству. Присманова сознательно предпочитает уродство мнимой красоты: «И матери горбатый сын милей — других ее — высоких — недоростков». Ей нужен «не верхний, а нижний слой воды». «Одичалая душа» стремится уничтожить ложный блеск, ищет смятения, а не гармонии, хочет разозлить, оттолкнуть от себя читателя, а не привлечь его. Порою умственное, головное преобладает над непосредственным, городское над природным. Она не поет, как птица, а похищает сознательно то, что другим дается так, ни за что. Но, сравнивая себя с «кривой яблоней», она твердо верит, что именно в ее яблоки вонзятся зубы Музы и «райские останутся следы на мякоти того стихотворенья». Порою ее образы рассыпаются, как ничем между собой не связанные разнородные бусы — ведь единство недостижимо и ненужно в распадающемся мире: «И полное лишь в сказке, знаю я, — ждет замарашку удовлетворенья».

Присманова как-бы упрямо говорит читателю: «полюбите нас черненькими». Она требует от читателя усилия, пронизательности, доверия. Оправдано ли такое отношение? Не махнет ли читатель рукой и не закроет ли книгу? А между тем усилие это надо сделать. У Присмановой свой голос, свой (нелегкий) путь и своя правда. Стройность, единство не свойственны духу века, хоть и тоскует по ним душа. Стихи Присмановой современны и мужественны. Они пахнут полынью и солью. Дар поэта принят, как безрадостный, но почетный долг: «Душа, ты выросла из юбки, — она тебе уж до колен».

Ей не нужны ни безделушки, ни украшения. За вечно меняющимися формами Присманова ищет прежде всего неизмен-

ное — скелет. Музыка, хотя это слово и повторяется часто, сознательно изгнана из ее поэзии. Она живет в непогоду, а «непогоду надо переждать» по своему: пожалеть другого:

«А яблоня как мать стоит живая.
Ее ключицы клонит бремя дней.
Пускай подаст рука ее кривая
Тому, кто всех в селеньи голодней».

Материнское жалостливое течет подспудно в стихах. Женская страстная доля отвергнута. Не ей говорить за влюбленных, не им повторять ее стихи. Их могли бы скорее вспомнить стоящие в очередях за хлебом для детей озабоченные женщины. Не балы, а «пена стирки» пристала поэту. И когда краски жизни проходят перед ее глазами: зеленый луч надежды, «цветок лазури», «красная латка сургуча» или «черные дроги», она выбирает белое:

«Белый цвет владеет нами:
В доме белый потолок.
Люлька с белыми волнами,
Саван — белый эпилог».

Она перешагивает через белую вуаль невесты и сразу же наклоняется над люлькой или перебирает складки савана. Рождение — смерть. Весь путь. И важно в нем только материнство, — тот потолок, через который прорывается неведомое. В жизни она ищет не праздничного, а скромного, незаметного. Из всех поэтических образов роднее всего ей образ пчелы, «чей воск по капле тает». Дорог ей и образ служанки, о которой она так хорошо пишет в «Сестрах». Не воспетая раньше никем, она входит в мир Присмановой

в пальтишке узком, с кончиком лисы,
в крылатом фартуке, обычно в клетку,
она в дома приходит на часы,
как птица, что сама влетает в клетку.

Присманова находит для безвестной труженицы никем не сказанные слова, видит, как она «среди вещей — чужих, но дорогих — сама, как тряпка серая, сновала».

Все силы служанки отданы за несколько «безжалостных монет». И сколько человечности в словах об отдыхе этого, никому не нужного человека, который «лишь раз в неделю думал о себе и это было утро воскресенья». Воскресенье обездолен-

ных, непривычная чистота, непозволительная расточительность отдыха. В поэме «Сестры» Присманова возвышается до подлинной поэзии и кончает вопросом: «Возьмут ли «Жития» ее к себе — за силу всепрощенья?». Присманова кровно чувствует «выстраданный день» служанки, видит те три гвоздика, «на коих вешается бремя дней». «Гвоздики» эти — Вера, Надежда, Любовь, путеводительница обремененных. Но служанка у нее все же особенная: в дневной страде она никогда не забывает о музыке, о сновиденьях. Это для нее — оправдание трудов.

Склоняется Присманова и над слепорожденным. Ей дороги те пальцы, «что видят слезы». Она верит, что газетный лист, греющий спину нищего под мостом, важнее тетрадного листа, исписанного поэтом. С такой же убедительностью говорит она и о старой деве, учительнице музыки, потерявшей жениха: «И вот, взамен колечка обручального, — одно салфетное осталось с ней кольцо».

Жизнь подносит Фредерике Форст одни «железные цветы». И вот эта «служительница муз, без мужа и без племени» живет втайне музыкой. Никакой романтики, любующейся собственными слезами, а только «три гвоздика». Но впитывая и лелея прозу жизни, она все же не забывает, что «Проза в полночь стиху полагает нижайший поклон, — слезы служат ему, как сапожнику в деле колодка».

Оригинальность этих строк состоит в том, что Присманова не боится сравнить слезы с колодкой сапожника. Сознательное снижение образов, их погружение в грубую прозу — характерно для Присмановой. Она — враг красоты. Свеча, отдающая себя «на съедение молитве» — образ для нее не случайный. И недаром певец «кремнистых путей» — Лермонтов, спутник ее детства, не пережил ее юности:

«Пошла я, в узкий ранец мой вложив,
того корнета синее сиянье.
И посейчас тот бедный ранец жив,
но, ах, взгляни — какое в нем зиянье!»

Но отношение к Лермонтову все же двойится. С одной стороны он не пережил ее юности, с другой и сейчас не изжиты чары:

«Пятнадцатого каждый год числа
июля, отдавая дань разлуке
с тем, коего обида унесла, —
река Дарьял выходит из русла,
гора Машук заламывает руки».

В Париже, в тридцатых годах, немало блестящих стихов было написано о смерти, ею играли как мячиком, примеряли ее как ожерелье, но Присманова всегда знала, что «о смерти зрело написать может тот лишь, кто смертельно болен». Для страды, для трудов создано тело. Но тень этого тела — иное:

«Но тень моя иного хочет,
и для чернильного ведра
пучек гусиных перьев точит
и водит ими до утра».

Всмотримся в образы этого стихотворения. Присманова не терпит позолоты, нарочно огрубляет образ: вы требуете роз, а не хотите ли корку хлеба? Идя в этом направлении, она иногда доходит до невнятицы. Приведу сугубо непонятные строчки: «Душа, как странный музыкант, — сыта горошинами шарфа». Что хочет сказать поэт? Не быть, как все? Но поэзия ее и так достаточно своеобразна. Есть своя тема, поступь. И будущий читатель, дорожа ее лучшими стихами, решительно отвергнет такие, как «неузнаваем лебедь на воде, — он, как Бетховен, поднимает ухо».

Тема скитальчества не осталась чужда Присмановой, как и всему ее поколению. Она знает, что все скитальцы «еще среди жизни и уже во вне», но жаль ей не их, а «детей-головастиков», которые плывут к «искусственным кустам»; изгнание — аквариум. «Но снег, береза, бирюза, рябина — четыре слова бьются в наш висок». Оторванность от истоков, одиночество парижских мансард Присманова переживает трагически:

«Нас забыли, душа. Мы остались на том пароходе,
Грудь которого будет, конечно, разбита меж льдин.
Льдом он сдавлен, как панцырем рыцарь в крестовом походе,
Он в молчаньи, в полярном сияньи, остался один».

Эмиграция — «крестовый поход», обреченный на неудачу, достойный восхищения, недаром «синий веер» подарен музой.

Второй сборник Присмановой «Близнецы» написан главным образом пятистопным ямбом. Для него характерны однообразие ритма при вполне своеобразных образах. Главная тема — раздвоенье, борьба «кости и крови» — двух близнецов. Но над тяжбою двух начал реет объединяющее — поэзия.

«Всесильная, одна ты можешь
и кровь и кость в себя вобрать.
Ты мне едва-ли жить поможешь,
зато поможешь умирать».

Немного ошеломляет в этом сборнике постоянное упоминание о «скелете», «позвонках», «горле»... Правда, Присманова враг красивых слов, «преступной вышины». В ее стихотворении «обвинение» на скамье подсудимых «сидят высокие слова». Она признает лишь слова «необходимые», иные-же только «корень зла». Трезвая в первой книге, она с годами становится все требовательнее к тому, что считает суровой правдой. В манере часто проскальзывает влияние раннего Пастернака. Присманова сама понимает, что ей трудно вместить полноту бытия, что она «всегда стояла к жизни боком и видела лишь часть ее лица». Это сектантство не только ее особенность, но и трагическое наследие всего поколения. В «Близнецах» больше рассудительности, сентенций, прозаизмов, чем в первой книге. О музыке говорится постоянно, но стихи не поют. Присманова здесь занята собой. На все лады анализирует она свой внутренний мир, варьирует тему раздвоенья. Здесь рядом с неудачными строками и образами попадают прекрасные. Хороши стихотворения «Толчок», «Лицо любви», но вообще любовная лирика ей не свойственна. Образ «соли» уже появляется в этой книге, чтобы стать главной темой третьей. «Сначала перл лежит в растворе соли», т. е. боли, сердечной муки. Обычно поэт здесь берет какой-нибудь основной образ, скажем, образ поезда, и вкладывает в него личные переживания, заслоняется им от лирического простодушного потока, от прямого высказыванья. Иногда этот прием охлаждает породившее его чувство, отдает надуманностью. Зато прекрасны стихи о детстве, о родном северном городе:

«Так много о любви прочла я книг,
что книгою любовь к любви убила,
и все-таки, душа, в последний миг
я вспомню только то, что я любила:
То было небо с бледной синевою,
вдоль набережной шов травы весенней,
и стук копыт по чистой мостовой
в пустое утро, утро воскресенья.
То был туман с мерцаньем фонарей,
и тусклых вод текучие траншеи,
и груды чаек, реющих вдоль рей,
и грусть лебедек, вытянувших шеи».

Весь цикл «Песок» о близких — о деде, отце, матери, о днях первоначальных. Этот цикл очень значителен. В нем исток поэзии Анны Присмановой, метки бытия. Известная холодность Присмановой связана с холодом родного севера, с его туманами, соленым ветром Балтийского залива. Юг чужд Присмановой. Его красочность никогда не находила в ней отклика: «В сентябрьский день, на севере, в порту — рожден был мир мой, слову посвященный». Родина воспета ею прекрасными строками:

«Над солью волн шли пресные дожди,
за рыбою шел парус, ветром полный,
и важные, седые, как вожди
над мелкими — девяты шли волны».

Север — ее родная стихия. Вспоминая о нем, поэт становится лириком. Обращаясь к ели, она говорит: «Все также-ль устилаешь перед гробом — дорогу ты на родине моей?»

Вся поэзия Присмановой стремится к добру, трезва трезвенностью сердца, чужда стихийности. Недаром «душа проводит время в книгах, свинцовый почерк разума любя». Свой путь прошла она под знаком Софии, «отдав любовь другим на попечение, словами заговаривая кровь», но отнюдь не разжигая. Ей ненавистна Лилит, враждебная всему живому:

«Задунув пламя и убив
яйцо животного и злака,
ни разу в мире не любив,
она плывет как море мрака».

С годами Присманова преодолела и свойственный ей эгоцентризм. «Близнецы» кончатся словами: «Мы все проходим чрез себя, — чтоб постепенно выйти к миру».

Третью книгу стихов Присманова назвала «Солью». Соленое море, соленые слезы, «куль соли за плечами» — ее богатство. Здесь ей хочется говорить за тех, «в ком мысли маленького роста», она хочет приблизиться к человеку потому, «что вы, по-моему, несчастны». И снова возвращается к самому дорогому — молодости:

«Не трогайте ладоню плотной
След молодости мимолетной,
Цветущей лишь весной и летом».

К себе она беспощадна, как редко бывают поэтессы, не боится говорить о «туче странностей бесспорных», о «явной резкости движений», о том, что «злая женщина одна подошла к вам с добротой».

В последней лирической книге все меньше сглаженных углов, заостряется ее манера соединять несоединимые образы, подчеркивая свою необычность. Но это только явное. Ее «тайное лицо» иное, в нем много боли, нежности, печали. «Выйдя к миру», переборов отъединенье, она говорит:

«Углы летящих голубей
давно уже умчались к югу.
Осталось несколько людей,
что медленно идут друг к другу...».

И если у каждого поэта свой, до старости неизменный, возраст, то Присманова права, сказав о себе, что «подростком, (уверяю вас) я, к сожалению, осталась и по сей день и по сей час». Трудно лучше и проще сказать о бедности и о возвышенной молодости, чем сказала Анна Присманова:

«Когда-то, как приморский инок,
я — бедности не замечая
питалась серебром сардинок
и золотом пустого чая.
Обед — на стеклах я читала.
О, ресторанные глубины,
весна Латинского квартала,
цветы и рокот голубиный!..»

В «Сестрах» Присманова еще раз возвращается к своей центральной теме «Близнецов». Мария и Марфа не сестры, это единая человеческая душа, расщепленная жизнью и все же неделимая. Но первенство, вопреки древней традиции, Присманова отдает Марфе, безропотной труженице. Ведь Мария ее далека от евангельской. Это не отрешившаяся от жизни праведница, а мечтательница, замороженная снами, проглядевшая простую человеческую жизнь. Присманова предъявляет ей, (а, может быть, самой себе?) длинный свиток обвинений, казнит и судит (как когда-то казнила «высокие слова») за то,

что люлька у детей сырая,
что у нее не глажено белье,

а главное

за каждый без труда убитый день,
за вечное с мечтою панибратство.

Поэма «Чай» передает Пасхальное торжество. Вся она окрашена золотым благосклонным солнцем. Золото чая, «желтые комочки цыплят» и даже китайский мальчик «смеется в убогом ложе, бесплатным золотом играя».

Этой поэмой торжества и обновленья кончается третий и последний сборник лирических стихов Анны Присмановой. Себя она упорно называет неверующей, постоянно говорит о тленности, но эта поэма врывается торжествующей светлой нотой в ее будничные, нарочито серый мир. Она говорит о Воскресеньи.

Екатерина Таубер

ДНЕВНИК РАЗОЧАРОВАННОГО КОММУНИСТА*

1 августа 1921 г., Берлин. Чудак он, все еще возится с «планами жизни», как будто в жизни нашего поколения возможна последовательность. Ну, пусть его! Собирается сделаться «полезным человеком». Так как, по его мнению, паровоз стоит десятка революций, хочет сделаться инженером. Машина двигает прогресс (темное словечко), посему надо улучшать машины, вообще возиться с «точными науками». Но предварительно хочет «пополнить образование». Отсюда схема: языки, история народов — хозяйственная, моральная, политическая, энциклопедия наук. Он вечно юн, герой моей повести, всегда оптимистичен. Говорят — оптимизм признак ограниченных кругозоров. Не думаю. Есть такие здоровые эгоистические души — всегда спокойствие и улыбка. Впрочем, моего оптимиста начинают пугать годы: стареть, говорит, начинаю. Немудрено: революция, лишения, тревоги могут внушить такие страхи и в тридцать пять лет. Особенно, когда и за рубежом каждый новый день вносит разруху во все начинания, требующие оседлости.

Он сказал мне сегодня: это была маленькая деревенька, куда я провалился в прошлое воскресенье. Этак десятка два домов. Песчаная дорога. Кирха в зелени. Кругом — сосновый мелкий лес, поля, уже убранные и тишина. Ночью шел с этой забавной немкой на вокзал. Она пела — под старость лет. Белое платье пошатываясь, с развалкой немецкой, мужицкой — плыло впереди. Темно. Лес спит. Лягушки прыгают из под ног как-то бесшумно. А мне думается и думается. И знаешь, говорит, какая-то пелена этой вечной тревоги стала сваливаться. Как-то тверже по земле пошел...

Он думает, что это признак начинающегося физического оздоровления и радуется. При этом развивает какую-то оптимистическую философию: на что-то такое следует наплевать;

* Это дневник члена компартии, ставшего невозвращенцем; автора уже нет в живых; мы печатаем дневник без каких-либо изменений, как человеческий документ. РЕД.

горные снега еще горят на солнце и т. д. А кончается все тем же: работать надо, план выполнять...

2 октября 1921 г. Пишутся книги — бесконечно много книг. Их или не читают совсем, или читают немногие. Да, ясно, конечно: мысль порождается запросами жизни, книги пишутся по практическим поводам. Но ведь часто бывает и так: книги пишутся по поводу книг. Получается вредная книга второй степени. По поводу таких книг опять пишутся уже невыносимо вредные книги. Ком растет. Литературные ребята радуются — прилаживают этому кому трубку и глаза, надевают на него старый цилиндр — и вот она мировая литература, олицетворенный чулан человеческой праздной мысли. Стоит, красуется, пока не блеснет новый луч. Тогда тает, испаряется...

Какая чудовищная растрата сил — эта современная «культура»! Конечно, жизнь бессмысленна. Труд и думы — поскольку они прямо или косвенно не направлены на продовольствие, одежду и жилище — игра. И форма игры не имеет значения. Чем больше человеческого труда заменяется машиной, — тем больше времени для игры, тем больше книг, газет, картин, театров, кино, музыки. И, наконец, тем больше времени остается для изучения содержания и форм этих игр, т. е. для сочинения книг, пьес, картин второй ступени, третьей ступени и т. д. Толстой, вооружившись против такой культуры, был прав. Но, увы, он оказался слабым в предложениях. Мальтус был куда сильнее. Не размножайтесь, черт возьми! А Маркс и Энгельс — горячие демагоги, противники конкуренции, засушенные грибы гуманитарных идей! Они — «великие отрицатели» — приняли, как добрые бюргеры, всю пошлость человеческой мысли. Они ей льстили и — как всякий льстец — нашли широкую армию поклонников. Мораль! Мораль!

А в чем мораль? Всем поровну работать и — очевидно — поровну есть, всем поровну ходить в кино и, по возможности, поровну читать и писать книги и газеты. В марксизме нашли свое «научное» отражение пошленькая зависть работника, страх перед работодателем и неуважение к интеллигенции. Когда говорят, что марксизм освобождает человека, ставит на должное почетное место науку и искусство — это чушь. Это сладенькая идеология внесена в марксизм интеллигенцией. Рабочие этих привесков не приемлют. И не даром в России интеллигенция проходит все круги дантова ада, недаром она там мрет или сходит с ума. Она не умеет подличать, льстить, она не привыкла 24 часа в сутки, отрекшись от дум и мечтаний, тащить на себе бессмысленную канцелярскую соху...

Рабочие, в течение столетий — из поколения в поколение — напрягавшие свои руки и мозги только ради пищи и тепла, не понимают зачем нужна книга и газета, музыка и театр. Естественно, они ни во что ставят людей с гладкой кожей на ладонях. Интеллигент — это не работник, а так — нахлебник.

И это отношение будет жить еще многие-многие годы. И если какой-нибудь интеллигент ради какой-нибудь более или менее вздорной идеи захочет воспользоваться скотским воздействием масс, он должен теперь же сделаться сапожником, каменщиком, землекопом, пахарем, инженером, врачом, ветеринаром, агрономом. Горе этому типу, если он только журналист, адвокат, чиновник, приказчик, офицер, артист, художник, профессор, учитель...

3 октября 21 г. Странное впечатление от русских газет. Ложный пафос и скука. Это понятно: советская пресса изготовляется интеллигенцией, а интеллигенция живет еще старыми чувствами, воспринимает старым сердцем. Интеллигенты-большевики думают одно, а чувствуют другое.

Ужасное положение. Эта струна должна лопнуть: или интеллигенция уйдет от революции, или революция провалится. Ибо: без интеллигенции нельзя построить социалистического и какого бы то ни было государства. Все слова о рабочей интеллигенции ни к чему не привели. А ведь Ленин был прав, чорт возьми, когда говорил об орабочении государственного аппарата. Этот человек глубоко чувствует и думает. Но он пришел слишком рано и, кроме того, он не может творить чудес.

Народный вождь должен быть чудотворцем, иначе ему нет уважения и признания. Он лично должен приносить пользу, иначе его идеи потонут в реке медленного стихийного прогресса. Да, недаром древние пророки, а потом Христос, и Аполлоний Тианский и наш Пустосвят творили чудеса — полезные чудеса: исцеляли больных, воскрешали мертвых, воду превращали в вино, крупу и масло делали неистощимой, в пустыне давали вино, хлеб и рыбу, и т. д.

Ветер за окном. Жаркий. А воеет уж по-осеннему. Качается маятник, вечный спутник дум. Шумит газовая горелка, немножко подмигивает. И вот это все, да еще впечатление от сегодняшних косых резких теней на улицах, от крутящихся в блеске солнца желтых листьев, да еще багаж, собранный в мозгу и во всем организме от долгих лет скитаний; да еще тихая ласка жены — вот что определяет настоящую минуту... Как забавно все: друзья в детстве, а теперь уже не приобретешь друга: вследствие ограниченности мозга и запросов все смотрят

на твою добрую улыбку, как на подвох, на твоё искреннее слово как на провокацию, как на донос, как на оскорбление. И они правы: ведь вся их жизнь закована в доносы, провокацию, подсиживания — они такие маленькие жестокие зверьки, эти люди, чорт бы побрал их тупость и эгоизм!

Любовь — это хорошая штука. И я счастлив, что жена мне — друг, единственный повидимому. Но любовь так узка и она часто мертвит другие порывы, ибо... ибо нехватает времени... ибо жизнь — такое нагромождение излишнего любопытства, пустых зрелищ и бессмысленного долга... И потом — любовь полна любопытства, она требует путешествий и открытий. Природа сэкономила способности самца и предусматривала целостность и благополучие рода, поэтому она заставляет самца искать все новых и новых самок. А ведь друг-то один. И он смертельно обидится неверностью. И всякая новая самка обидится неверностью и кроме того — как это смешно — всякая новая самка берет из сердца кусок. А потом это оборванное место саднит и стонет: а как эта вот плакала, была жалка и близка, как ребенок; а как вот та посмотрела и улыбнулась, а в складках глаз была грусть — стрела. И стрела впилась в память и не вытащишь ее оттуда. Та так покорно отдавалась — дарила всю себя. А я? И снова больно, что эти ласки встречали только улыбку. А это вот — пятая, десятая — улыбнулась стыдливо, когда я целовал грудь... И еще и еще... Ах эти стрелы, эта печать прошлого. Всех их жаль почему-то — даже тех, которые взяли от меня все — и любовь, и пафос, и искры мысли, и труд и главное — годы, годы! Взяли ни за что, взяли за бабье тело и пошлую болтовню.

А друг один. И часто обижаешь его. Эти грубые окрики, временами недостаток участия, интереса, деликатности... все это впиивается и потом отзовется нестерпимой болью...

Но... Прощай ветер, маятник и лампа. Надо спать. Жадность к жизни, переваренная где-то в нервных клетках, перегнанная через колбы и реторты мозга, превратилась в крошечный волевой импульс: долг зовет в постель, ибо долг требует завтра ранней бодрости. Так бурный, ясный, кристальный поток — воля к жизни, растекаясь по грязным закоулкам культурного черепа, заканчивается грязной лужицей: пора спать, ибо завтра надо в канцелярию, ибо этого требуют другие, мне полезные, меня поддерживающие дураки, у которых воля к жизни тоже низведена до воли 9 часов сидеть на стуле и писать, браниться, снова писать... Это называется организованным существованием человеческого рода. И социализм — это наибо-

лее организованная канцелярия — вернет наш волевой поток в прежние дикие берега? Чушь. Машина должна освободить нас, машина!

5 октября 1921 г. Сорок человек сидят и слушают, ибо боятся не сидеть этот вечер здесь. А три шута забавляют этих сорок человек глупейшей, грубейшей, пустейшей болтовней. И все считают этих шутов — одного болвана и двух сыщиков — товарищами. Чудовищно! Деталь: двое из этих шутов — именно сыщики — производят теперь ревизию местных членов. И всякий маленький их боится: если найдут неблагопристойным, т.е. гордым, самостоятельно мыслящим и честным, — придется сдать партийный билет и ехать в голодную пустыню, на безмерные нравственные унижения и б. м. на смерть. Вот она подлинная трагедия трусливых человеческих душ!

Россия, Россия! Какую безмерную мерзость выплюнула ты на поверхность! Белая эмиграция — гниющий Передонов, живой труп. Красная власть — издевающаяся над телом и душой народа полицейская канцелярия — безмозглая, наглая и вороватая. И посередине — она, народная душа. Безвольные терпят. Их вешают белые, расстреливают чекисты, грабят все. Сильные волею идут на бой — под белым знаменем, если личная обида велика, под красным знаменем, — если свежа память о прежних унижениях и страданиях, или если крепка вера в то, что политические перевороты могут кому бы то ни было — кроме прохвостов — приносить радость.

И нет теперь в России ни одной группы людей, которая бы имела свою «политическую ориентацию». Ибо русский народ и его интеллигенция оказались до последней степени убогими мыслью и опытом. Да, вот страна, которая может служить только материалом. Она будет много десятилетий целовать пятки тому, кто организует ее хозяйственно — будь то европейский капитал или сам Вельзевул. И только через десятилетия, изжив страдания и болезни, вырастив новые поколения, Россия почувствует гнет. И, очнувшись, придет к «благодетелям» со своими претензиями. Ты грабишь меня, сироту!

Европейского социализма нет. Русского пролетариата нет. Остаются: европейский капитал, русский мужик и ремесленник и — между ними Ленин со своей канцелярией и чрезвычайкой. Уступки мужику — это уступки капиталу, а концессии капиталу — это концессии мужику. Чем больше уступок туда и чем больше концессий сюда, тем больше должна сжиматься канцелярия и застенки. Ибо русского пролетариата нет и его еще долго не будет.

Ленин хочет перехитрить экономику. Он надеется, он рассчитывает: новый капитализм (под эгидой советов) создаст новые кадры рабочих. И советская власть, шатаясь, виляя, уступая, продержится до той поры, пока этот новый пролетариат создаст свои классовые организации, приобретет антагонистическую психологию, придет к своим «благодетелям» — хозяевам требовать отчет... Вот тут-то и вспомнит пролетариат, что у него ведь советская власть...

Увы, Ленин! К этому моменту советская канцелярия так основательно протухнет, так крепко будет взята в руки предпринимателями и воровским, подлым чиновничеством, что пролетариям — если будет у них сила — придется выбросить ее вон.

Что ж делать? Начать поход на Запад, спровоцировать социалистический переворот там, где лучшая почва, где силен и просвещен рабочий класс? И затем отдать голодную холерную Россию на удобрение для западного социализма? Перенести резиденцию юрких спекулянтов из III Интернационала в Берлин, Париж, Лондон?

Но Польская кампания сорвалась? Вместо польской реакции, нащупывающий красный штык уколол польского мужика и польского рабочего. И что же? Потоки крови, истощение польского народа. На почве военного разорения — усталость, а усталость и нужда хлопа — на руку пану. Кроме того, поляки задолжали по уши французским банкирам и, естественно подпали под эгиду реакционной Франции...

Так делается история! Надо ли говорить, что польская кампания необычайно усилила советскую канцелярию, влила в красную армию яд шовинизма, словом сделала советскую власть еще реакционнее. Да, поход на Запад — мудреная штука. Значит... уступим здесь, уступим там и будем гнить, гнить, гнить...

Это чудовищно, это мерзко! Да, европейцы правы: кроме воли к власти у этих маньяков ничего не осталось! А волю к власти можно дешево купить. Ллойд Джордж это понимает. Я удивляюсь, что этого не поняли еще французы. Дайте ж им заем, но оговорите: наш контроль тут — вот вам миллионы, наш контроль здесь — вот вам другие миллионы...

Рано или поздно, эта торговля совершится — рано, очень скоро... Так как кровь и ужасы надоели — надо эту торговлю поддерживать всем честным людям. Это был бы ужас — насильственное свержение нашей прогнившей власти в этот мо-

мент. Пусть этот зуб сгниет. Вырвать его — слишком кровавая операция. А крови в российских жилах так мало, так мало...

15 октября 1921 г. До чего мы все больны. Вот стоят прекрасные дни. Выхожу утром к трамвайной остановке. Из-за туманов, над дымящими трубами грузно вздымается солнце — все еще горячее. Снимаю шляпу. На голову падает кленовый лист желтый, грязноватый. Но от него — городского, запыленного — пахнет осенью, ночным заморозком, бодрой сыростью. Взбираюсь на площадку трамвая, еду — спиной к солнцу, лицом к будничным, спешащим, дымящим мне в лицо сигарой людям. Тени от домов закрывают панель и больше половины мостовой — осень. Магазинные витрины, некрасивые мужчины, болезненные или уродливые женщины, грязные уличные дети. Дети собирают у трамвайных остановок билетки — *bitte*, *Fahrscheine*! Объявляющиеся на билетках фирмы дают какие-то премии. И детишки выступают, как дешевые рекламаторы. Все это убого. Но нет в душе ни возмущения, ни тихой обиды. Главное — осень не родит энергию и мысль. Помню петербургскую осень — желтые и пурпурные аллеи островов. Все четко, все близко, все понятно. Физиологическая энергия, претворенная в волю, раскладывает все явления по полочкам, отпихивает факты в сторону, прокладывает среди них русло и течет к некоей метафизической цели. (Цель — она всегда в метафизической дымке).

И вот она — апатия, бесцельная жизнь. Мозг обостряет всё, отекаивает процессы, но самого себя ставит в стороне. И мысль превращается из боевого разведчика в судебного эксперта: действовал подсудимый в состоянии аффекта, а потому — невиновен. Так как все действуют в состоянии аффекта, — виновных не оказывается. Или природа виновата во всем? Увы, такое умозаключение не указывает, кого надо хватать за горло и тащить в полицию. А хватать и тащить надо — это долг гражданина. Кто не хватает, тот вне общества, отщепенец, пустынный в миллионных вертепах... Это — мучительно. Это — болезнь.

Часа три назад слушал *Burmester*'а. Он играет чудесно. Я — провинциал в столицах — не думал, что такой маленький скромный инструмент — скрипка может родить такую массу звуков — нежнейших, рокошущих, стонущих, зовущих, танцующих. Ах, этот менуэт *Voccherini*! Маленькая французская парочка. Он — кавалер в белых чулках и при шпаге — ну да, при шпаге. Беспечен, остроумен. Главное — чертовски ловок и гибок. Она — она маркиза, конечно, в 19 лет. Красива, чудес-

на, божественна. И она грустит немножко в менуэте — вот видите ее черные глаза...

Но воспринимаешь все это холодно. А ведь вот вспоминается осенняя лунная ночь где-то в Томске. Мальчишка еще, как зачарованный я сидел часа два у окна, потому что в одном из соседних домишек кто-то брал время от времени аккорды на скрипке. Скрипка меня разбудила. Как лунатик, уселся на подоконнике, спрашивал себя: это сон, сон? И ждал. Пустынная пыльная улица, холодная, светлая ночь. Кругом — ни души, в окнах нет огней. Сон, сон? Нет! Вот опять... Да, да, да... Играет... Господи, какая красота! Звуки падают откуда-то сверху, летят справа, слева — наполняют всю землю... Откуда? Не знаю. Смотрю кругом и не знаю. И вдруг — порвались. Опять тишина. Чудо? Сам черт меня морочит: кто может так играть в этой трущобе? Да это или сон или чудо! Но нет. Мне холодно. Я босой и раздетый сижу на подоконнике. Слышу, как посвистывает носом моя в некотором роде начальница — горничная Мотя. Я не сплю. Это не сон. В чудеса я не верю, ибо режу лягушек, дохлого петуха анатомирую у сарая.. Пойду спать. Спускаю босую ногу, хочу закрыть окно и... Опять, опять, опять... Два голоса — две струны поют о моей бедной маме, о моих скитаниях. Как хорошо! И я плачу — грубый мальчишка, уже испорченный мальчишка — я плачу, уткнувшись лбом в колени. А скрипка поет, поет — небо и земля вложили в песню всю свою мошь и ширь...

Да. До рассвета я сидел и ждал. Больше не играли. Потом я всех спрашивал. Никто не мог сказать, кто играл этой ночью. И осталась у меня в памяти скрипка в ореоле чудесного. Сам черт играл в ту ночь над моей скудной душенькой. Но тогда я плакал. А теперь? Ведь это не провинциальный скрипач. Это — виртуоз Германии. Таких в мире два-три. Однако, я не плакал, ничего не вспоминал. И жизнь казалась мне близкой — тут вот в кармане.

24 октября 1921 г., Берлин. Вчера был ураган. Весь день бежали на восток, все на восток бешеные тяжелые тучи. В прорывах маячило чудесное зеленоватое небо. А сегодня уже осень. Слякотно и темно весь день. Холодно и постыло. И опять какие-то приступы философической хандры. Хочется написать книгу — плюнуть всем в пошлые хари! В самом деле ведь это так смешно: подымись на пять верст от земли и перестанешь видеть человека — только большой мир — океаны, пустыни, леса. Подул этот холодный ветер с гренландских ледников и весь Берлин, мировая столица, ушел в свои серые темные логовища

— на маленьком клочке — земле. И там, в холодных смрадных, темных квартирах, канцеляриях, магазинах, фабриках, кабаках он шумит, болтает, ругается, поет, обнимается, умирает, производит кривоногих ребят. И газеты—гнусный суррогат духовной пищи — приносят известия о бурях в стакане воды: уходит Вирт, голодают на Волге, дерутся в Лиссабоне, бастуют в Америке, агитируют против Л. Джорджа. Как будто весь мир определяется большевиками, Брианом или уэлльским ловким человеком. Мерзость отупения, скука глупости, пошлость невежества, убогость изнеженности.

И опять приходит на мысль и раздражает эта пошлейшая из теорий, глупейшая из концепций — марксизм! Простое явление эта теория облакает в некую кабалистическую формулу прибавочной ценности, — только для того, чтобы оправдать невежество и тупость работника и «научно» доказать правильность суждения холопов: всякий, кто не тащит, плут, не работает и паразитирует! Как будто кто-то мешает глупцам быть умными и обходиться в производстве без капиталиста, лентяям быть трудолюбивее, а невеждам — образованнее. Это избитые аргументы: система производства не оставляет времени подумать над своей горькой долей. А для кабаков, а для опешляющих партийных собраний, а для одуряющих хождений в гости остается время? Кто смел и предприимчив, тот находит выходы — эмигрирует, уходит на землю, выдвигается в организаторы, изобретает технические усовершенствования, успевает в науке. А дрянь, мразь, человеческие отбросы, «части машин» слетаются, как ночные насекомые, на светоч коммунизма. Для чего? Чтоб свергнуть капитал, чтоб улучшить свою жизнь отрицательными мерами: меньше работать, меньше думать, меньше преодолевать. При коммунизме будем работать два часа. А остальное время — гулять, смотреть на солнце и нажимать кнопки: прошу вина, прошу театр, прошу книгу, прошу красивую вакханку!

Немного надо мудрости, чтобы прописать рецепт: действуйте скопом, как саранча, как всякий мелкий скот. Если б этот рецепт имел в виду внешний мир, — это было бы тривиальностью. Но это преступление, поскольку марксизм предлагает действие скопом по линиям внутриобщественным. Гоните организатора, гоните творца, гоните художника, гоните всех, кто не воспекает ваш мышиный ум и ваши кривые, потные ноги!

Народ страдает. Страдание — отвратительная штука. Кто чем может, — пусть устранил страдание. Это гнусно: на чужом страдании строить свое мизерное благополучие. Людей на-

до ценить, ибо без чужой солидарной помощи мы не улучшим свою жизнь, не придем к счастью бессознательности, к гармонии со средою. Но нелепо предлагать à priori плохие рецепты: овладей машиной. Нет, нет. **Создай** новую организацию пользования машиной, а еще лучше: создай новую машину. Вот правильный рецепт. Теоретически: кто мешает рабочим и мужикам обмениваться благами без посредника, кто мешает рабочим и мужикам организовать собственные производства? Тупость, лень, взаимное надувательство, обворовывание самих себя.

Но, спрашивается, почему это легче, практичнее: пролить реки крови в социальных революциях, потом, придя к власти, десятилетия учиться делу, путать, портить, ругаться между собою, арестовывать и расстреливать друг друга? Почему менее целесообразно всю энергию комариных армий труда, всю энергию людской саранчи не направлять на непосредственное творчество, в рамках сегодняшнего дня?

Земля велика и обильна. Даже при современной технике она дала бы изобильные дары всем. Но труд не направлен на землю. Он, творческий труд, направлен на взаимный грабеж. Система современных капиталистических государств создает заколдованный круг: в рамках государства жизнь — страдание, вне этих рамок жить нельзя, ибо всюду, даже на полюсах развеваются флаги «верховных прав». Марксизм берет этот заколдованный круг за постулат поведения: работник, пока этот круг есть, пока ты не захватил само «верховное право», ты будешь страдать. И работник успокаивается на марксистской концепции, как когда-то успокаивался на заповедях церкви. Бей капиталистов — и обрящешь царствие Божие!

Отрицая огульно всякого организатора и его творческие права, марксизм способствует организации мужика, торговца, предпринимателя, чиновника и ученого, художника и офицера в один боевой черный фронт. Черные против красных. Между тем, в черном лагере все богатство человеческого опыта, вся гамма чувствований, бесконечные творческие порывы и красивые мечтания. Если б саранча была немножко наблюдательнее, если б она была немножко осмысленнее, если б она гнала прочь пророков борьбы и слушала апостолов творчества, — она расколола бы черную рать, она нашла бы среди своих мнимых врагов много искренних вождей и поэтов.

30 октября 1921 г. Когда Энгельс и Маркс заявили, что общественное творчество определяется брюхом, а история есть борьба классов — это было крупным вкладом в социологию.

Насколько слаб марксизм, как провозвестник нового лучшего мира, настолько же он силен, как методологическая система. Конечно, история есть борьба классов, а формы общежития есть компромисс, достигаемый в борьбе (это не говорится марксистами; марксисты определяют всякую данную систему общежития как диктатуру того или иного класса, что вносит существенную путаницу). Политическая диктатура данного класса — это поверхностное явление: диктатура организует данное в общих интересах. Деятельность диктатуры определяется суммой живущих в обществе склонностей, убеждений, идеалов, опыта, энергии — мозговой, мускульной, механической. Еще не было случая в истории, чтобы диктатор действовал вопреки **убеждениям массы населения**. Собственность священна. Красть нельзя. Не убий. Не насилуй. Не ходи без штанов. Не дерись на улице. Уважай сограждан и законы. Все это заповеди общего значения, общего признания. Пролетарий и буржуй, поп и атеист, министр и мальчишка — все признают эти заповеди за данное, за святое. Самая жестокая и убедительная критика не поколеблет их, пока **масса населения** не найдет иных заповедей. Но в этот момент будет иным и весь хозяйственно-политический строй.

Вечная борьба и вечный компромисс. Революция свергает диктатуру лишь формально. Живущий в обществе, медленно видоизменяющийся компромисс тотчас выравнивает увлечения новых пришедших к власти людей. Они из революционеров делаются POSSИБИЛИСТАМИ или уступают место истинным выразителям установившегося в данный период общественного компромисса. История русского большевизма в этом отношении весьма показательна.

Большевистская революция стала возможной из-за ужасающей темноты русского населения. Темнота определила особую власть над волей народа — различных групп населения — современных идеалов, желаний. Армия не хотела воевать. Мужик не хотел кормить армию и сильно хотел захватить в суматохе помещичью землю. Рабочий не хотел дальнейшего напряжения мускулов, не хотел голодать. Мелкое городское мещанство устало от военных работ, от голодовки. Наконец, все устало от крови и бесцельности бойни.

Большевики обещали мир, хлеб, свободу. Пока верили Керенскому, обещавшему — **при общественном содействии** — все уладить, — большевиков считали изменниками, немецкими шпионами. Керенский никакого общественного содействия не получил. Буржуа не шли на уступки, рабочие не хотели демо-

билизации промышленности, мужики не хотели еще и еще ждать землю и подчиняться хлебному закону... Все не хотели. Эта негативность воли определила октябрь. Ненависть к барину, интеллигенту, к **формам** старого быта, наконец полная невежественность по части общественного строительства создали почву для глупых ленинских экспериментов, для террора, для полицейщины большевиков.

Реставрационные войны укрепили большевизм. Сопротивление мужиков в выполнении хлебных законов и их ловкое объегоривание погибающего города озлобило рабочих против деревни. Глубокий упадок народного хозяйства, сделавший индустрию и транспорт непосильной для страны роскошью, смягчил всю нелепость национализаций, сделал эти национализации незаметными для деревни и выгодными для пролетариата (как пансион). И т.д.

Опираясь на рабочих, Ленин грабил деревню; опираясь на мужика-красноармейца, готового драться с Деникиным, опираясь на люмпенпролетарские элементы из че-ка, Ленин держал в узде рабочих; разжигая ненависть черни против старого строя, он стёр интеллигенцию и остатки буржуазии. Ловкий прохвост делал это, повидимому, ради социализма, т. е. некой предвзятой идеи.

Теперь в России все советское расползается. Жизнь формируется под нищенскую гребенку. Россия идет под власть капитала, как жалкая колония. И Россия будет много лет жалкой эксплуатируемой колонией, независимо от личностей диктаторов и форм диктатуры в политической сфере.

Следовательно наличный общественный компромисс, созданный на уровне разочарований увлекшихся невежественных масс, растроченных ценностей и хозяйственных разрушений, устаивается, определяется и выдавливает формы общежития.

Большевистская революция внесла крупные коррективы в марксистское учение о классовой структуре общества. Настолько крупные, что от всего учения осталась одна методологическая предпосылка: история определяется брюхом. И эта предпосылка, подчеркиваю, чисто методологическая. В жизни все определяется всем.

Да. Крупные коррективы: питерские и московские пролетарии стреляли в украинских, донских, уральских пролетариев. А те в питерских и московских. И обе стороны палили с ясным сознанием пользы этого занятия для рабочего класса. Московские и тверские мужики ходили походом против пензенских и

тамбовских мужиков — все вместе — против украинских мужиков. И тоже с сознанием пользы этого дела для крестьянства. Таковы классовые спайки. Отсюда следует, что групповая солидарность определяется не только одинаковым положением в производстве, но и многим другим. Это известно, впрочем, со времени 1914 года. Это нашло блестящее подтверждение в недавней польско-русской войне.

Всякая революция признак общественной невежественности, как и всякий экономический кризис. Невежественность, неосмысленность ведет в одном случае к перепроизводству товаров — сверх потребительских сил, в другом случае — к производству идеалов — сверх творческих способностей. В революции, как и в кризисе — стихийно складывающийся компромисс дает успокаивающую всех форму общежития. Но с точки зрения прогресса, после революции, как и после кризиса компромисс хуже (особенно для народных и организаторских масс), чем тот, какой существовал до революции или кризиса. Невежественность масс определяет зигзагообразную форму истории — вниз, вверх, снова вниз, снова вверх. Причем слову вверх соответствует реакция, вниз — революция. Всякому ясно, что отклонения от правильной кривой истории стоят человечеству безгранично много страданий и лишений. И всякий, призывающий к тому или иному выступлению — военному, революционному — есть враг народа и прогресса.

Кто может бороться с такими пророками и глашатаями кактаклизов при современном состоянии общественного сознания? Очевидно, две силы: 1) интеллигенция и передовые слои рабочих и крестьян, наиболее общественные слои, 2) представители мировых промышленно-финансовых синдикатов.

Первая группа во всех странах уважает труд организатора-капиталиста, противопоставляя хищническим наклонностям капиталиста, его деспотии организованную силу технического персонала — рабочих и служащих — и мелких трудовых собственников-крестьян и ремесленников. Интеллигенция, опираясь на пролетарские и крестьянские массы, может помешать войне, может способствовать разрешению мирным путем международных столкновений капитала.

Вторая группа не отрицает организованных масс, готова устанавливать с ними компромисс. Эта группа капиталистов достаточно сильна, чтобы считать свое господство над миром обеспеченным без войн, она слишком заинтересована в правильной работе всех своих мировых предприятий, раскиданных в

разных странах, чтобы с легким сердцем заваривать бойню, она слишком богата и слишком много теряет во время депрессии, чтобы противодействовать всяким мерам учета производства и емкости рынков — для предотвращения кризисов.

31 октября 1921 г. Берлин. Получены московские газеты. Их украшает километрическая речь Ленина. Старый фигляр додумался до теоретического фундамента. Как раз то, о чем я писал кажется месяц тому назад (5.X.21). Я вижу этого типа насквозь!

Итак — кто кого обгонит в уходе за крестьянством. Если понравится мужику капиталист, — Ленина ко черту! Если понравится советская лавочка — капиталиста к черту. Тут все просто, но увы — глупо!

Ленин хочет держаться на национализированном производстве, ибо, по его признанию, пролетариата в России нет. Получается нечто в роде первобытных колониальных форм государственности: советская фактория, советский трест, фирма Ленин и Ко, опираясь на свои заводы и банки, управляет дикой страной. Парагвайская иезуитская практика.

Россия настолько пала в хозяйственном отношении, крупно-капиталистические страны настолько деградировали, что фактория Ленина и Ко может существовать на русской почве некоторое время, ведя типично-предпринимательскую политику внутри и вне страны. Социалистическая вывеска и красный флаг являются вопиющим противоречием всей теперешней практике Ленина и Ко.

Всякая монополия компания, пользующаяся в России публично-правовым влиянием, а тем более — публично-правовой властью, является величайшим тормазом прогресса — хозяйственного и всякого иного. Худшим тормазом прогресса является теперь эта ленинская фактория, работающая с худшими элементами России и пользующаяся услугами худших заграничных фирм. Ленин, воображая, что держит Россию в своих руках непросвещенного абсолютизма, в действительности — не имея нужных капиталов, — хищнически распродает Россию всякой иностранной дряни. Около Ленина и его достойных иностранных представителей — жуликов или глупцов — увивается тьма всякого интернационального сброда. Часть этих людишек прикосновенна к торговлишке — это экономическая база. Часть прикосновенна к наиболее отсталым, анархическим, озлобленным слоям рабочих Запада. Это политическая база III Интернационала.

Однако ленинская фирма — нечто весьма своеобразное. Она есть исход — мирный исход — наиболее левой из революций. Ее революционное крещение освещает ее особым лучем. Ленин — политический шарлатан, несомненно проникнутый наилучшими намерениями. Представим себе на минуту, что большевистская фактория в России была бы поддержана материальными жертвами и моральным одобрением всего рабочего и интеллигентского класса мира. В этом случае она, в силу своей оригинальной конструкции и идеологии, легко превратилась бы в весьма мощный материальный оплот освободительного движения и в крупнейший умиротворяющий фактор в международных отношениях?

Однако, такой поддержки нет. В этом виноват кризис, истощивший пролетарские силы. В этом виноват и сам Ленин, порвавший со всеми социалистами и радикалами, юркнувший в грязную собачью конуру III Интернационала.

Не нужно быть очень глубокомысленным человеком. Факты ясны: изолированная от оздоравливающего влияния русской и иностранной трудовой демократии, большевистская промышленная фирма попала в руки дрянных дельцов торгового мира. При таких условиях сам Ленин, не способный превратиться в своекорыстного жулика, будет скоро уничтожен и выброшен вон. Очищая свою придворную партию от всех демократически мыслящих и порядочных идеалистических элементов, оставляя своей лейб-гвардией низких карьеристов из бывших коммивояжеров и писцов и тупых, на все озлобленных элементарных громил из остатков дегенеративного русского пролетариата, Ленин роет себе яму.

А впрочем, ну их к черту!

Стоят такие хмурые дни — ни зима, ни осень. Иногда подует с запада. Разрываются тучи. В разрывах — нежно-зеленое небо. К вечеру проглядывает солнце, заливая кровью запад, блестит на последних уцелевших от ветра желтых листьях.

Под хмурым небом отсыревшие дома и мостовые. Под хмурым небом гудит город. Люди спешат туда и сюда, всегда озабоченные, уstraшенные, приготовившие кому-то почтительную улыбку и низкий поклон. Ибо жизнь так дорога. Нужно много марок. А те, кто дают марки, преследуют свои цели, им нельзя противоречить. На службе нельзя проводить свои намерения. Выгонят. И люди теряют свои намерения, выношенные в юности. Люди начинают поступать «практически». И этот ком практических людей, связанных иерархией, голодной зависимостью, катится бесцельно вперед.

Людам становится труднее жить, труднее из поколения в поколение, потому что с каждым годом все большая масса работников отрывается от производительного труда, переводится на службу рекламе, культуре, государству. Управление людьми требует все большего количества чиновников, солдат, газетчиков, ораторов, писателей, рабочих. Надстройка отрывается от базы, действия теряют первоначальную цель. И народы сгибаются под тяжестью труда — в чахотке, неврастении, недоедая и недосыпая, не имея времени для любви, для солнца и воздуха, люди работают, дабы кормить управляющий ими, их организующий аппарат. Это чудовищная нелепость нашего времени.

Люди так легко, оказывается, идут в кабалу, превращаются в машины. И поэтому кажется нецелесообразным применение, а тем более изобретение машин. Что проще почты и телеграфа? Машина могла бы работать за почтового чиновника. Что проще счетных операций? Машина могла бы заменить бухгалтеря. Что проще переписки, машина могла бы заменить барышню-переписчицу, как она заменила перо рычагом. Существуют тысячи машинных операций. И эти операции делаются людьми, а не сталью. Поэтому мало хлеба и овощей, поэтому так велики и безобразны города...

2 ноября 1921 г. Берлин. Каждый класс имеет свою правду — старая истина. Сегодня некий фрукт — молокосос из русских рабочих, лет 35, развращенный канцелярией и властью, разразился филиппикой по адресу Ленина и прочих типов: они создают буржуев, они дают спецам миллионы, а нам — рабочим — гроши. Они идут ошибочным путем — от пролетариата.

Молокосос прав по-своему. Но официальные коммунисты могут легко парировать его нападки: идем, де, к буржую, потому что вы — пролетарии — гроша ломаного не стоите в строительной жизни.

Я сказал молокососу: полно ерундить. У тебя своя правда, у них своя. Заметь: когда тебя, непримиримого, потащат на виселицу, — ни одного из этих комиссаров с тобой не будет: они увильнут. Он дико меня осмотрел. Я улыбнулся...

Холодная сухая ночь. Звездное небо. Как редко мы смотрим на звезды! Задрал голову вверх с трамвайной площадки, смотрел на мелькающие в оголенных ветках бульвара небесные огни. И так захотелось забыть всех этих коммунистов и либералов — болтунов, гешефтмахеров, дураков. Прочсть бы хорошую книгу — о мрачных замках с привидениями, о тихих

комнатах загородной виллы, о поэтическом каминном огне, отбрасывающем на стенной ковер две склоненные одна к другой тени...

Чтобы быть счастливым, надо наполнить мир фантазиями, жить в измышлениях. Ведь жизнь так скучна без призраков и сказок. А время идет беспощадно, неуклонно, отбирает минуты, и года, и молодость, пригибает к земле. Горе мечтателям и фантазерам. Они остаются вне жизни не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова. И надо что-то предпринимать. Хочу быть инженером — сказал мне тогда этот чудак, хочу открывать новые законы вселенной, хочу уловить какие-то волны и потоки вне нас, а м.б. и внутри нас.

7 ноября 1921 г. Берлин. Четыре года революционного кошмара после 3,5 лет кошмара военного. Почти восемь лет вычеркнуто из жизни России — из ее настоящей творческой жизни. А приобретения?

Война подорвала хозяйство России. Русские штыки способствовали расшатыванию мощного хозяйственного и культурного организма Средней Европы. Нищета и миллионы трупов и калек — вот итог войны. А революция? Ленин хвастает, что октябрьская волна смыла в России все пережитки старого. Буржуазные принципы равенства и раскрепощения проведены в России полнее, чем где бы то ни было. Если бы это и было так в данный момент, — это обречено на частичную гибель из-за хозяйственного регресса, уже признанного теперь. Через несколько лет мужик, рабочий и интеллигент будут в железной узде хищнического капитала.

Так делается история! Объективный факт ясен и младенцам: восемь лет человечество воевало, митинговало и праздновало. Теперь всех охватывает нищета, ибо природа не выращивала булки на полях и колбасу на деревьях.

Чудовищный тупик. Нет из него одной большой дороги. Лишь миллионы малых тропинок. И мы идем по этим тропам, спотыкаясь, ощупью — каждый в своей сфере, каждый пользуется лишь своим мизерным опытом.

Настает тусклое время. Общее утомление формулируется просто: ничего смелого, это утопии! Потихоньку-полегоньку. Словом 20 лет! От злобы и бессилия можно сойти с ума. Новая эпоха горя от ума и апатии от устремлений.

Вот под какой звездой вступает на историческую арену в роли творца новый класс — серый, ограниченный, сильный лишь кулаками и ненавистью рабочий класс! Но он добр — от тупоумия, он терпим — от своей бесформенности. Эти усло-

вия дают творческий простор интеллигенции. Ах, если б она только могла! Увы, она сейчас не может, она импотентна. На 20 лет удел ее — мечтанья, фантазмагории, кинематографические увлечения и... канцелярия, канцелярия треста, треста пролетарских акционеров и банковских крыс. Некоторые из нас сидят в этой канцелярии и думают: а не мне ли маячит виффлеемская звезда, не я ли сообщу миру рецепт спасения и счастья! И пока мы так мечтаем, великодушием идиота и доверием слепого пользуются гешефтмахеры. Слепой идиот предоставляет в их распоряжение свою многомиллионную спину, свой тупо-однообразный, во множестве глупый лоб и свои тучи крепких кулаков. И гешефтмахеры творят историю, недостаток ума заменяя наглостью и демагогией.

И ясно, как день: интеллигенция тогда устранил демагогов, когда сумеет поразить пролетариев чудом, когда сумеет претворить воду в вино и из песка создать манну.

Руссо назвал врагом, искусителем человечества того, кто первый водрузил межевой столб. Увы! Не тот враг, а тот, кто первый продал сделанное им другому. Разделение труда — вот зло. Пока труд разделен, — не может быть свободы и равенства. Нужны величайшие открытия и изобретения, чтобы каждый, запомнив десяток формул, мог из земли и воздуха создать для себя все.

10 ноября 1921 г. Берлин. Два дня тому назад мокрый песок застыл. На лужах ясный лед, на небе ясная лазурь. И солнце божественное, ласковое. Последние листья на бульваре горят золотом. А трава еще изумрудна. Бродил, вспоминал Иматру. Славный водопад, прекрасное солнце... Как давно это было, когда мы и плакали и смеялись. Маленькая подружка, рыхлый снег, солнце, сосны... Ночью кликали друг друга шепотом. Она прибежала в одной рубашонке, стыдливая и радостная. А я был целомудрен и поэтичен — до самого того утра на горах, над морем, в высоких травах, в блеске солнца. Только тогда она стала моей...

Да, Иматра. Утром падали яркие полосы на белую скатерть. Мы были вдвоем. Она хозяйничала. Я пожирал чудовишно много. И мы смеялись. Потом я курил трубку — новую, финскую. Во рту было горько, а на сердце сладко: ведь я не ошибся — у нее чудесные глаза, и лоб, и щеки, и нос, и плечи, и грудь, и бедра, и ноги, и мысли, и чувства, и слова, и улыбка. Моя сказочка, моя елочка! И я целовал ее сотни раз. И ее простая кофточка, и край ее юбки, и пробор на голове —

все было священо, ароматно, таинственно, дорого и близко. Моя елочка!

На обрыве — снег. А солнце теплое. Играют воды, роко-чут. Иматра! На той стороне — по горе — безлистный лес в ожидании весны. Сквозь голые ветки синее небо. Валуны в рост человека с белой снежной шапкой. Идем вглубь, к старой изгороди. Вспугнули бурундучка. Дятел осмотрел нас мудрым глазом — тук-тук. И дятел, и сердце. Сколько деревьев — столько поцелуев. Теплое небо, теплое сердце.

Под валуном зажег костер. Пахнет дымом, снегом и весною...

Вечером снова бродили над водопадом. Я смеялся и плакал, прижимаясь к ней в старой беседке. Истерика любви...

Иматра, милое солнце, светлые воспоминания...

Итак, решено: я пишу большую книгу. Надо раздуть мой горн, раздуть! Пусть над ее страницами поплачут, кто еще может плакать. Пусть над ее страницами зажигаются молодые сердца гневом и радостью. Пусть... В моем мозгу болтаются еще кое-какие листья, горят золотом на солнце. Да, я напишу хорошую книгу!

17 ноября 1921 г. Берлин. Жалкая толпа разворовывала лавченки, повинуюсь совету воришек и громил. Всем партиям и полицейским кричали: «предатели!» Так делается история. Промышленники предложили правительству кредит на оплату «репараций», если правительство отдаст им, промышленникам, железные дороги. Так делается история. Французские банкиры ответили на ноту Чичерина: что заплатите? Как будете платить? Ответь подробнее, тогда будем с тобой — с разбойником, убийцей, грабителем, тираном (помните?) разговаривать! Так делается история. В Вашингтоне государственные мужи, повинуюсь чудовищным дефицитам, решают сократить морские вооружения. А попутно делят «сферы влияния». Так делается история.

И такая тоска — разбираться во всех хитросплетениях исторических событий. Да и события ли это? Мелкая рябь на поверхности человеческого моря. Люди жаждут золота, а некий химик б. м. уже близок к развенчанию дьявольского металла. Люди толкуют о дредноутах, а некий механик м. б. уже близок к открытию средств, уничтожающих всякую нужду в дредноутах. Достаточно открыть некое взрывчатое вещество сильнее существующих, чтобы искоренить все формы современной войны. Достаточно изобрести некоторые агрономические приемы, чтобы в корне изменить современные хозяйственные отноше-

ния. И т. д. В слепом хаосе скрыты судьбы народов. Мысль одна, повинуюсь пусть неизменным мотивам, творит формы общежития и фундаменты культур.

Министры и газетчики, ораторы и статистики жужжат кругом, спекулируя глупостью масс. Нужно неуважать себя или сломиться под ярмом нужды, чтобы присоединиться к этому презренному паразитическому и самовлюбленному сонму честолюбцев и эгоистов.

Надо идти туда, где разрешаются законы хаоса — в лаборатории химии, физики, механики.

20 ноября 1921 г. Берлин. Умнейшая газета Германии «Франкфуртер Цейтунг». Умнейшая, потому что она ограничивается только констатированием явлений в их связи. Умнейшая, потому что не стремится заглядывать вперед, не говорит: будет так, а не иначе! Только дурак может быть пророком, да тот, кто держит в своей руке определяющие силы. Умный, зная, что всякое явление обуславливается бесконечной цепью других явлений, и слабый, зная, что мир повинует не разуму, а силе, — не скажут никогда: будет так-то.

Читаю «Франкфуртер». Обозреваю горизонты — целое море фактов. Уже сколько лет я занимаюсь тем, что обозреваю. Кому нужны все эти «горизонты» и все наши обозревания?

С горечью вспоминаю: в 1904 году — еще мальчишкой, начитавшись Писарева и Тимирязева, я хотел изучать природу, хотел быть натуралистом или инженером. Живут ведь не те, которые обозревают, а те, которые осязают само явление — видят, слышат, обоняют, осязают, пробуют на вкус. Тогда я был полон жизненной мудрости, ибо пришел из деревни — от полей, лесов, гор, животных. 17 лет я обозревал и составлял какие-то суждения о человеческом обществе, о его переустройстве. Какие глупости! Прочитаны десятки, сотни тысяч страниц, поглощено около десятка тысяч газетных номеров, десятки тысяч часов потрачены на болтовню о «социальных язвах», на речи перед идиотами, на писание никому ненужных книжонок. Испорчены глаза, подорвано здоровье. Какая глупость, мой Бог!

И все это безвозвратно потерянное надо отнести всецело на счет общественных воспитателей. Они любят ловить альтруистически настроенных юношей, совать их в социальные гнойники и твердить: иди — спасай! И молодежь идет, спасает. Никого она еще не спасла ни от голода, ни от униже-

ний, ни от гибели. Но сама бросала свою бодрую, крепкую молодость собаке под хвост.

О, сукины сыны, демагоги, низкие обманщики! Какой чудовищный кретинизм, какая слепая, фанатическая жестокость. Конечно, тут речь идет не только о левых, но и о правых пророках. Левые посылают на виселицу и на баррикады, в каторгу и в больницу; правые посылают в окопы! Не всё ли едино. И те, и эти искренне спасают отечества, нации, народы, мир; и те, и эти, победив, усаживаются удобно на народной шее, ссылаясь на то, что народ не созрел, что народ нуждается в воспитателях и вождях. Людендорф и Ленин, Ллойд Джордж и де-Валера, Николай Романов и Либкнехт — все одинаковы.

Но что же делать, что делать? Тиски нужды жмут. Приходится «обозревать», служить, вращаться среди интриганов, лгунов, ничтожеств! А как вырваться из цепей и хоть остаток дней жить так, как подсказывает инстинкт жизни — создавать ценности, дышать воздухом и видеть солнце! Идти в батраки к мужику? Идти бродяжить, красть, убить, поступить по-раскольниковски? Ерунда, конечно! Нужно ждать случая. Случай единственный закон, поскольку нет времени и знаний применить другие законы.

Что может быть грустнее этого российского человека! Он лжет без нужды, ломается без причины — что бы казаться лучше, чем он есть; он сплетничает безудержно, доносит неукошнительно; не умеет работать и думать, не знает элементов науки, а толкует о крайних обобщениях; не знает жизни и берется ее в неделю переделать. Вот — отвратительное чудовище! И какие наивные люди возвели русского интеллигента на пьедестал, наименовали его и святым, и богоборцем, и героем, и духовным кристаллом и черт знает еще чем. Свинья он, этот российский интеллигент, ибо вся русская жизнь была сплошь свиным хлебом — раньше царским, потом ленинским, раньше жандармско-церковным, теперь — чекакоммунистическим.

Европейская порядочность, корректность кажутся русскому интеллигенту прямо глупостью — до того он оскотинился. Европейское умение работать и жить кажется нашему интеллигенту мещанским болотом — до того он привык к беспорядку, пустословию, презрению к себе и другим, до того он освоился с грязью, вшами и клопами!

Простой русский солдат, никем не возводимый на пьедестал, никогда не отрывавшийся от подлинных запросов жиз-

ни, относится с сочувствием и уважением к европейскому быту и культуре. Русский интеллигент презирает Европу, ибо он исковеркан, ибо он подлинная скотина.

26 ноября 1921 г. Берлин. Сидит этакий сморчок в номере шикарного отеля — советский дипломат первого ранга. Он имеет суждение о мировых конъюнктурах. Он устраивает шахер-махеры там и тут. А помню: этот сморчок играл плохо на зурне, писал плохенькие корреспонденции в провинциальные газеты, никакой такой звезды во лбу не носил. И вот — он имеет теперь, видите-ли, свои суждения. Ах ты, с. с.! Само собою разумеется, — поучи его немножко, — он будет не хуже любого буржуазного дипломата. Но не ужас ли, что вот такие сморчки устраивают наши человеческие судьбы. Ни Бертело, ни Рамсэй, ни Нэрнет, ни Франс, ни Горький — а вот такие сукины сыны!

Сидит сморчок и рассказывает, как его помощники из «сознательных рабочих» ломились по ночам в пьяном виде к его машинисткам...

В «пандан» сегодня один вьюноша повествовал два часа о двух советских петухах: один пролез в начальство над другими, а тот, другой, не хочет признавать его начальством. При каждой встрече ругательски ругаются. Вот — дрянь, прости Господи!

И гудит, гудит Берлин, наполненный всякой подобной дрянью — немецкой, русской, английской, французской и какой-то там еще!

А вот по ночам там и тут в далеких дешевых улицах светят одинокие окна в мансардах — одно на тысячу. Если эти огни не зажжены переругавшимися или совокупившимися парами, если они не освещают склоненную над ребенком полураздетую женщину — значит они горят для мечтателей — старых, от бессонницы погрузившихся в далекие воспоминания, или молодых, устремленных вперед, вперед... Ах эти одинокие окна мечтателей! Кто умеет обобщать и оценивать, — тому много расскажут эти зияющие в темную ночь четырехугольники! — Нужда и грезы, грезы и нужда! Какие гении начинают тут свой путь, под храп миллионной гнусной толпы, какие мысли зарождаются у этих скромных освещенных в поздний час столов, какие слова падают на бумагу — надежда и отчаяние, восторг и бессильные жалобы.

И я вот так сижу у моего ночного стола — среди планов и надежд, смешных мечтаний и тяжелого презрения к людям. Я могу сделать много, но мне не верят — от скудоумия, от

непроницательности, от неверия, навешанного толпами всяких проходимцев. И мне, вместо работы, приходится доказывать всякие святые ребячьи истины, обивать пороги. И всюду сморчки, воображающие себя гениями и совершенствами. Нужна какая-то дипломатия во всех делах. Сумей сделаться необходимым. Это чаще всего: сумей играть роль тихого, незлобивого, не имеющего своих суждений лакея! Шатаюсь там и тут, я посеял уже три четверти былой гордости и прямоты. Надо, очевидно, посеять всю. Было бы ради чего, однако... Надо поймать случай. Буду ждать, ловить, а пока хорохориться вместе со всей этой шпаной, с которой связала меня судьба. А как это скучно! Господи, как это скучно — писать какую-то гору бумаг, делать выводы, что всё под лунной закономерностью, что вот тот мерзавец лучше этого прохвоста, а та гадина заслуживает большего признания, чем вот это насекомое! А ведь почтенная наука социология именно к сему и сводится! Дурак, кто этого не чувствует.

27 ноября 1921 г. Берлин. Мережковский печатает в Дейтше Альгемейне Цейтунг свои фельетоны — «14 декабря». Пишет он — ни капельки «нутра». На всех языках его сочинения звучат, как газетная передовица — удивительный тип хроникера и современного летописца с ремингтоном. Однако, у него тут есть одно сравнение: приведенного к виселице не то Муравьева, не то Рылеева охватывает тягостное чувство: на душе какие-то камни, они тем тяжелее, чем чаще их отбрасываешь.

Это чувство мне теперь знакомо: как будто петлей затягивает — неизбежно, неустранимо. Это — простого происхождения: по открытым мне широким дорогам, от которых у многих закружилась бы голова, мне не хочется идти, а той крошечной щели, куда мне хочется юркнуть, я не вижу. И вот охватывает тоска, раньше совершенно неведомая. Бессилие — это ужасное состояние, бессилие добыть ничтожные средства, чтобы плюнуть на всё и сесть в лабораторию. Раньше жизнь казалась бесконечно длинной и силы неисчерпаемыми. Теперь это исчезло: силы кажутся крошечными — их хватит на несколько крупных открытий (скромно?). И петля стягивается. Разум говорит, что стоит сильно захотеть, чтобы уже и достичь. В сутках всегда найдется — при бережливости несколько часов на научную работу. У мозга, если заставить тело жить правильно, всегда найдется избыток энергии, чтобы развиваться и давать результат. При известном напряжении воли — на несколько месяцев всегда можно выработать

привычку жить экономно и гигиенично. Пока эти заветы разума не выполнены, — отчаяние мой гость, бессилие обычно, камни лежат на сердце.

А что если попытаться следовать разуму? Попытаюсь, чорт возьми — авось это и есть та щель, которую я ишу!

3 декабря 1921 г. Берлин. Я весь во власти сказок. Вот почему я всегда весел и юн. Сказка или действительность — не всё ли равно? Действительность даже хуже — она приедается, делается — в лучших своих формах — тягостной. А сказка — никогда не надоест. И она вечно юна, ибо недостижима. Как я люблю сказочников и мечтателей. Они делают меня сильным и следовательно добрым. Мечтать — остальное неважно. Всё сгниет при всяких условиях раньше или позже... Когда жена говорит, что все мои планы пустые мечтания, — она меня не огорчает. Пусть так! В том-то и задача — не потерять способности увлекаться сказкой. Уметь жить — это уметь любить свои сказки. Весь другой опыт — чепуха. Всё значительное, новое, гениальное рождается от мечты. И родившись, входит в опыт, делается интересным и, в конце концов, ненужным. А мечта всегда интересна и сладостна.

8 декабря 1921 г. Берлин. На заседании сановник Крестинский¹ был очень весел. Отстаивал экономию, совершенно не отдавая себе отчета в основах экономии. Стомоньяков² похож на какого-то гемороидального чиновника казенной палаты. Совершенно дегенеративная физиономия. Самомнение действительного столоначальника. Говорит поучающе, ходит гоголем. Видимо — полное ничтожество. Выглядит как воришка и как тупой фанатик — одновременно. Совершенно бессердечный. Тип в своем роде — советский тип. Говорит почему-то с постоянным употреблением самых обычных немецких оборотов. Любуется своей речью, своим голосом, своими сапогами. Очень доволен.

Крестинский, в противоположность, увлекается. Как ребенок острит, сам смеется над своими остроумиями. Довольно симпатичный тип — интеллигентщина — адвокат-неудачник, от умственной ограниченности издавна примкнувший к большевикам. Очень гордится своей памятью. Вникает во всё. Сам на-

¹ Н. Н. Крестинский — тогдашний советский полпред в Берлине. В 1938 году — подсудимый на процессе «правых троцкистов», расстрелян 15 марта 1938 года. *Прим. ред.*

² Б. С. Стомоньяков — тогдашний советский торгпред в Берлине. *Прим. ред.*

значает последнюю судомойку. Вникает во все мелочи. Администратор советского пошиба. Посол в Германии — не владеет ни одним европейским языком. Не умеет работать, всюду вносит дезорганизацию. Зато напорист. На всех наваливает столько работы, что через месяц никто ничего не будет делать. В роли посла поставлен Лениным с единственной целью — последовать в скорости по стопам сановника Шлихтера. Ленин хитер, он умеет ловко устранять неудобных людей.

Само собою разумеется, Крестинский повторяет здесь на все лады «новую политику», в которой он ни шиша не смыслит (если в ней вообще кто-нибудь что-нибудь смыслит!) На его физиономии с апреля с. г. застыло тупое недоумение. Оно так и не сходит, за исключением тех моментов, когда г. посол делает понятное для него дело сортировки сторожей и привезенных из Москвы преданных женщин, физиономии и костюмы коих строго коммунистические, добродетель коих безгранична, как и тупость.

Дела мне до всех этих людей нет: они совершенно не интересны, как всякая деталь сухого прозаического механизма. Мне часто бывает их жаль, ибо они жестоко страдают все (за исключением таких персон, как Стомоньяков). Но и только. Серый материал для героев проходимцев.

4 часа ночи. За окном ливень. Почему-то хорошее настроение. Может быть потому, что сановники отвели мне келью на чердаке и определили: читать отныне имя реку немецкие газеты и компилировать содержание их. Значит сиди себе — читай и пересказывай. Никому не надо твоих мыслей и слов. Ведь всегда бывает приятно, если люди оставляют тебя наконец в покое. А мне сейчас совершенно безразлично, кому «служить» — Гардингу, Ленину, или самому черту, лишь бы оставили меня в покое.

Может быть потому мне сейчас хорошо, что нашел на столе обычную записку: «Разогрей котлеты, скипяти чай. Масло в масленке на столе». Поднялся по темной лестнице. Открыл сонную квартиру. Повернул выключатель — и вот этот клочек бумажки. Кто-то нежный и любящий заботится обо мне! Какое странное ощущение этой постоянной ласки...

А ведь всё-таки это нехорошее состояние, когда бывают нужны только такие исключительно интимные чувства — к жене, к детям, к другу, если б он был. Помню, когда я был в «кооперации», когда сидел в окопных банях, — мне были нужны все люди, со мной вместе работающие. В редакциях

— тоже. С подчиненными я был добр, они любили меня — служащие и солдаты. Потому что я считал всех их нужными, я прощал слабости каждого. Каждый казался мне интересным и значительным.

А вот теперь, встав в сторону от жизни и творчества, я вижу только слабости, и ничто мне не нужно, кроме самых близких существ. Только для них да для некой фантастической идеи и хочется работать. Остальное безразлично. Это несомненно болезненное состояние.

Однако, констатируя причину, я не хочу лечиться, не хочу ее устранить. Пусть не обращают на меня внимания: ведь у меня есть эти близкие и фантастическая идея... Больше пока ничего не надо. Время нужно беречь, время, не рассеиваться на искусственное возбуждение малыми делами, бить в одну точку.

14 декабря 1921 г. Ночи и дни, дни и ночи одуряющая работа, однообразная, бессмысленная, такая, какую способны создавать только советские идиоты. Такое впечатление, как будто замурован в темную холодную пустую келью — сырость и голые стены и сумрак. Между тем меня не оставляет чувство свободы, словно моя келья не на железных запорах: только дверь — и выйдешь в вольный мир, под солнце, под зелень рощ. В свободную минуту хожу от шкафа к печке и пытаюсь заглянуть внутрь — там мое солнце и ширь и мурава! Я, как добрый еврей, верую в пришествие мессии. В некое утро раздастся громкий и ласковый голос: встань, возьми одр свой и иди! И я пойду на галилейские холмы, навстречу солнцу, вольный как птица, мудрый, как Мафусаил...

Вот какое радостное чувство обурекает меня в моей темнице. Мой милый час — ребячьих фантазий, прогулок от шкафа до печки. Как хорошо, что я еще не вырос большим, еще не потерял сознания своего мальчишества и свободы!..

15 декабря 1921 г. Техническая фантазия: почему бы не строить дома с известным уровнем оседания, причем силу оседания (давления) дома перевести на зубчатые колеса и на двигатели? Дом, который сам себя отапливает и освещает. Занятно. Почему бы уличное движение не поймать на турникеты и незаметные пружинные тротуарные плиты? Почему бы комнатное движение людей и силу тяжестей предметов не поймать на простейшие часовые механизмы. Гуляя, сидя, отдыхая — незаметно себя освещать и отапливать, производить любую работу, смотря по приводу. Комнатная гимнастика, переведенная на аппарат, перестает быть скучной и тяго-

стной: 15 минут для здоровья и для освещения своего стола, для приготовления обеда. И сколько еще других фантазий, по существу вполне реальных!

Секрет в создании простейших, дешевых приводов, доступных малоимущим людям. Дюжина таких приводов — для освещения, отопления, тканья, пилки, строганья,ковки, шитья, кухонных работ и т. п. была бы истинной революцией, гарантирующей свободу человека солиднее десятка политических революций.

Дома — все необходимые для жизни химические процессы, дома — источник энергии — сила человека и сила его тяжести, дома все жизненно необходимые станки и приводы. Зачем тогда идти к людям? Только для увеселения, для любви, для образования.

На примере крестьянина видно, что человеку дано энергии — физической силы — гораздо больше, чем нужно для содержания себя и малых детей. Ведь крестьянин первобытными орудиями, примитивным опытом извлекает из почвы столько благ, что их достаточно для него и для содержания тунеядцев — писателей, политиков, солдат, адвокатов, лакеев, писак, купцов и приказчиков, рабочих военной и увеселительной промышленности, проституток, рантье, арестантов и т. п.

Если человеческую энергию перевести на математически наиболее экономные, эффективные приводы и станки, — количество благ бесконечно увеличится.

Говорят, что крупная индустрия это именно и делает: она страшно экономит человеческую силу, обеспечивает прогресс. Какая чепуха! Индустрия экономит силы — бесспорно. Но что производит индустрия? Вот я оглядываюсь вокруг себя. Всюду, в каждом углу вижу индустриальные продукты. Но, Бог мой, какая же это всё дрянь! Можно без преувеличения сказать, что без всего этого индустриального дерьма я не умру: одежду из шерсти и льна я приготовлю, пользуясь унаследованными от предков методами, стол, стул и кровать я сделаю, посуду я слеплю из глины и сумею обжечь в простом очаге, сапоги я сошью из обработанной по-деревенски же шкуры... Остается газ и его горелка, часы, перо, бумага, чернила, карандаш, спички, зажигалка, ложка... остаются машины, пути сообщения, телефон, телеграф, электричество, каменный уголь, печная дверка, стекло, фотография, краски...

Но ведь всё это — и есть чепуха, которую я вижу в моем обиходе и которую я могу за малосущественными исключе-

ниями приготовить, пользуясь современным мужицким опытом; и важное, чем я часто пользоваться не могу и что в моей жизни отнюдь не играет существенной роли — пути и средства сообщений напр. разные сложные машины — всё это отнюдь не такого порядка явления, без которых я умер бы.

Предметы, без которых мне грозит смерть — хлеб, мясо, лён, шерсть, шкуры, масло, молоко, дрова и т. п. производятся не индустрией, а, как общее правило, единоличным, убогим, невежественным работником, орудия труда коего примитивны, механическая подсобная энергия коего только в земле и воздухе.

Между тем всем ясно, что индустрии мы обязаны преждевременной старостью и смертью, угнетением и повседневными огорчениями. Крупное предприятие — смерть человеческой свободе и человеческому организму. Социалисты думают, что зло не в заводе, а в частной собственности на завод. Какие глупости! Жадный буржуа ни капельки не отвратительнее глупой толпы. Владеет ли машинами буржуа или миллион дураков, выбирающий руководителями пройдох и жуликов — мне, как личности, безразлично. Я хочу быть свободным от усмотрения хозяина настолько же, как и от усмотрения чиновников. Толпа слишком глупа, чтобы творить и поддерживать законы, гарантирующие счастье умных. Требования передовых людей толпа выполняет спустя сотню лет, когда передовые сгнили в земле и явились новые «несчастные от ума», которых толпа угнетает в другом отношении...

Не в индустрии выход, не в распределении товаров и концентрации производства, а в распылении самого производства. Каждая семья должна быть в миниатюре совокупной промышленностью. Уже современные физико-химико-технические и агрономические достижения достаточны, чтобы дать каждому возможность производить всё у себя дома, с минимальной затратой труда и без всякого риска от непогоды, засух, от эпизоотий, и болезней трав. Единственный закон, который должны требовать все свободные люди, — это закон свободного расселения по земному шару с ограничением земельной нормы на каждого члена семьи или иной ячейки. Единственное моральное требование ко всем технически образованным людям — перестать конструировать машины массового эффекта и заняться изысканием простейших станков и простейших источников энергии для отдельного работника.

Химия, разлагающая элементы, когда-нибудь, б. м. очень скоро, перевернет весь наш мир в указанном направлении —

освобождения от завода и фабрики. Все политики и партии, все кабинеты и парламенты полетят тогда к черту. Туда им и дорога! Но ведь и современная наука уже в силах сделать многое для освобождения личности от политики и ее гнусных глашатаев...

17 декабря 1921 г. Берлин. Было еще темно, когда она вышла из дома. Тоненькая, красивая, открыла дверь ко мне из коридора, поцеловала. Волновалась немножко. Через полтора часа ее уже видели после операции, в тяжелом наркозе, почти мертвую... Родная моя! Это всё для меня она делает, милая моя девчурка, мечтательная умница, моя женка! Вижу ясно весь ее скорбный путь: голодный Питер весны 18 года. Она бежит через какие-то огороды за молоком для ребенка. Кругом стрельба и борьба за кусок хлеба. Ездит на другой конец города, цепляясь на переполненных площадках трамвая. Чтобы привести домой кусок сыра. На улицах падает в обморок. Толпа ее подбирает, участливо наблюдает, как на ступеньках магазина она приходит в себя. Потом она едет с ребенком в товарном вагоне в Москву. Месяц в комнатухе с чужими людьми, потом целая зима в сыром мезаничке за Семеновской Заставой — с крохотной печуркой, с ежедневными путешествиями пешком на Красную площадь, чтобы, проработав 6 часов, тащить обратно гнилую картошку, кусок конины. Потом Киев — с военными тревогами, с постоянной боязнью за меня. Снова Москва в приюте для старух. Затем Самара. Жизнь в вагоне, в грязной гостинице, в какой-то сырой квартире рядом с пьяными матросами. Торговля на самарском рынке всякой нашей рухлядью: продаст мои брюки, принесет молоко. Потом Ростов. Снова жизнь в вагоне, снова жизнь в темной проходной столовой, снова продажа на рынках. Маленькая писательница, любимая ученица Овсяннико-Куликовского, сотрудница одного из лучших русских журналов — на базаре среди солдат, мужиков: почему барышня брюки продаешь?! Позднее Ессентуки и Пятигорск. Кругом банды, убийства, налеты. На ее глазах — Ессентукский поселок, собираются на площади больные солдаты для последнего боя с казаками: пощады никому не будет — ей, маленькой девчурке тоже. Потом опять торговля на базаре последними ситцевыми кофточками, последними моими брюками. В Пятигорске среди горцев и казаков, она сидит на платформе, не зная, что со мною, где я, не повешен ли уже Врангелем... Потом, по первому снегу, наше историческое путешествие в холодном товарном вагоне *via* Ессентуки-Грозный-Ростов-Москва. 40 дней зимою в холодном вагоне! Потом 4-5 месяцев канце-

лярни, изредка продажа вещей на Сухаревке и наконец — Рига-Берлин. Но здесь опять постоянная нужда, вечная боязнь за мое здоровье, вести о смерти брата и сестры, заботы об оставленной в Москве больной сестренке, наконец начинающийся туберкулез и вот эта операция! Вот биография маленькой русской женщины, которую социальные реформаторы всех мастей захотели сделать счастливой.

Родная моя, родная моя! Я должен быть счастливым уже ради одних твоих необычайных подвигов. Я должен отплатить тебе мой колоссальный долг.

19 декабря 1921 г. Берлин. Люди, которые живут лишь для увеличения человеческих курьезов, режим, который, казалось бы, создан лишь для доказательства тупоумия русских революционеров, вот этих, которые существуют для насмешки и сожаления. Вот она советская Россия. Вижу тебя во всей отвратительной нагоде! Промышленность и железные дороги, средние и высшие школы, медицина, искусство и пресса, большие города и политика — всё это для тебя непостижимая роскошь. Тебе надо сидеть по глухим деревням и ковырять землю, откупившись от иностранных претензий за великодержавные грехи уступкой территории и выдачей торговли и промышленности на поток зарубежным дельцам. Что тебе надо, право? Соху и колесо починит тебе вернувшийся с Путиловского завода мастеровой, сапоги тебе сошьет местный пьяница. Остальное купишь за хлеб, лен и лес у иностранного торговца. Во имя чего эти невероятные страдания? Для чего? Для того, чтобы кремлевские голодранцы могли писать ноты и иметь к своим услугам миллионы чиновников и палачей, для того, чтобы эти чиновники могли продолжать свою презренную профессию? Эх, если б ты умна была, моя случайная родина, ты давно пошла бы за Махно и Антоновым, свернула бы к черту пустые кремлевские головки, разогнала бы палачей и жандармов, чиновников развезла бы по деревням — ребят учить, кооперацией править. А на Москве поставила бы крепкое, навозное, кулацкое правительство — кряжистых мужиков Трифона, Фому да Ерему. Они управляли бы тобою по-мужицки, упористо и экономно, кооперативно и свободно. Они повесили бы много невинных и полезных людей — по первоначальной глупости повесили бы. А потом ум пришел бы, по мере того, как Фома да Ерема выталкивали бы в шею услужливых советников... И была бы ты хорошей мужицкой страной — спокойной, сытой, достаточно просвещенной и достаточно прогрессивной, без волжских голодовок, без ленинских застенков и без великодержавной политики.

22 декабря 1921 г. Идет Рождество. Погода — как у нас в августе или апреле — дождь и теплый ветер. Дует он себе откуда-то с атлантических просторов, где небо да волны, волны да небо. Если бы я был Робинзоном, а не «культурным» человеком, принялся бы я сейчас на досуге сколачивать себе большую этакую барку. Через три месяца была бы эта барка готова. Спустил бы я ее на воду, запаса бы провизией на полгода, поставил бы мною изобретенный перегонный куб и выехал бы я сам-друг с мохнатым псом — в океан-море на валах покачаться, к незнакомой стране пристать, с ветром поспорить. Цель ясна, достижение для всякого Робинзона возможно. Но «культурным» людям это — смешно, хотя у Мопассана была своя барка, еще у кого-то была, всех тянет за моря великие к странам далеким. Но, Боже мой, дома так много нужных дел: по службе, по хозяйству! Куда поедешь, когда за квартиру не плочено, жена беременна, абонемент в театр куплен, на газеты подписался, лотерейный билет купил. В одиннадцать — спать, в семь вставать, в 3 обедать, в 7 с скучающим другом о ближних посплетничать, лениво консерваторов ругнуть, зевая — вигов упрекнуть...

И вот идет Рождество — без уюта, ласки, традиций, без веры и тепла в сердце. Надо зажечь елку. Рождество — для детей. А мы, с нашей пошлой общественностью, какие же дети? Рождество для язычников, для пантеистов, для верующих в черта и ведьму. Ведь Маркс сказал — ну и баста. Личность — пыль, нуль! Какое же при таком печальном прогнозе Рождество. К тому же, у нас у всех теперь нет ни родных, ни знакомых, ни друзей, ни единомышленников. Есть товарищи по партии и сослуживцы по бюро или коллеги по станку. Ни общих верований, ни эмоциональных представлений, ни общих песен и сказок. Музыка... Да музыка иной раз еще протянет нить от сердца к сердцу. Но на минуту. Ибо, скажите на милость, какой же экономический базис под звуками Шопена или Чайковского? Ибо, докажите, какая хозяйственная нам прибыль от этих нитей? Вредная, умерщвляющая классовую солидарность иллюзия!

А дождь хлещет — теплый, весенний. И из полуоткрытого окна долетает ветер, примчавшийся с Атлантики. И есть Робинзоны, которые сколачивают свою барку, есть такие бородатые дикие люди, которые смотрят в трубы на небо, которые в микроскоп следят за движением чумных и холерных пылинок, которые у колб наблюдают ход реакций, у заводских плавильных печей куют реальность... Они живут —

все те люди, живут, ибо что-то строят, выступают во вне как личности, сильные знанием дела или знанием цели, бодрые своими реализуемыми желаниями... Чем мы сильны, чем мы веселы? В какое действительно болото я попал — вместе с миллионами других оболтусов? Не трагедия ли это, в самом деле: человеку присуще стремление господствовать над себе подобными, утверждать власть над природой. А я и мне подобные потеряли власть даже над самими собою. Я арестант, закованный в социальные цепи. Я не волен двинуть рукой и ногой, я не волен быть сытым или немного поголодать — по усмотрению. Какая это чудовищная штука — признавать какие-то действия для удовлетворения чужих потребностей, чтобы самому быть сытым и одетым! Притом — не для удовлетворения потребностей Ивана или Петра, а общества, т. е. чего-то безликого, чужого, безразличного. Если я шью сапоги для Марьи, — я вижу эту Марью, я ее люблю или ненавижу. В эту работу над сапогами я вкладываю мои живые ощущения. Эти сапоги я буду видеть потом, до конца их дней я буду удовлетворяться созерцанием своего труда. Но работа на магазин, на экспорт, а еще горше — работа по учету магазина и экспорта, а еще сугубо злейшая работа по изучению учетов и постановке выводов — да ведь этот же ужас! Это значит — человек-машина, раб безличной стихии, ничто! И это социалисты считают последним криком моды, в доведении этого абсурда до идеальных форм они видят усовершенствование человеческого общества и самого человека! Вот — поистине чудовищное извращение всех перспектив. При капитализме нам оставлена мечта — «выбиться на дорогу», «завести свое дело», «выйти в люди», т. е. осуществить хоть в мизерной доле этот нормальный инстинкт самотяготения. Социализм отнимает и эту мечту: «всё общее». Два часа работай, а 22 отдыхай! Сомнительное утешение для каторжника — носить цепь только два часа. А стены-то, стены и решетки остаются ведь на все 24 часа. Ведь выхода-то нет. Ведь и мечты уж нет!

23 декабря 1921 г. Берлин. 4 часа ночи. Побрился. Умылся. Работа окончена, запакована. В углу стоит елка, самая настоящая. Этот добрый парень Н. ездил к *Schlesischen Bahnhof*, чтоб притащить неказистое деревцо. И вот стоит это деревцо и воняет себе на всю нашу квартиру смолой, лесом, простором, солнцем, ветром. И в сердце забирается какое-то настроение, унаследованное от моих мужиков, уральских хлеборобов и охотников...

25 декабря 1921 г. Берлин. Рождество — праздник воспоминаний. Так как я еще не научился находить прелесть в отображении прошлого, — я мечтаю о будущем. Надо переделать жизнь, и мою и общественную, переделать вот так и вот так. Когда начну переделывать, — не знаю. Пресловутого случая всё еще нет. Зато шире поле для фантазии. Я знаю, что когда придет случай, — он бросит меня еще дальше от моих планов, засадит еще глубже в болото. Но это ничему не мешает: так уж я состряпан — всю жизнь буду фантазировать да ездить с места на место и ничего путного ни для себя, ни для близких не создам. А в сущности — не всё ли равно, создавать *in concreto* или фантазировать? Удовольствие, пожалуй, одинаковое?

Впрочем, всё это ерунда, конечно. Не настолько я квиетист, чтобы всерьез говорить подобные вещи. Наоборот, я совсем не квиетист. У меня много желаний и много воли. Несчастье мое в том, что я хочу слишком много или, если угодно, слишком мало: я хочу получить доступ к науке, к лаборатории; я хочу, чтобы мне было доступно пять-шесть часов в день сидеть за книгами и аппаратами, а остальное время я готов шить сапоги, пахать, поливать улицы, ухаживать за скотом, сидеть в канцелярии — на крайний случай, или стоять за прилавком. Несчастье мое в том, что теперь нельзя заниматься наукой в России, где я мог бы, зная людей и условия, очень быстро получить доступ к лаборатории и к верстаку или скотному двору. Наука вне России, значит и заработки надо искать вне России, вне русских учреждений и вне русских людей. Знать я не хочу русских людей, надоели они мне смертно, грязное, грубое, глупое стадо.

И вот этот случай, о котором идет речь, должен быть вдвойне счастливым, это почти выигрыш в лотерею! Единственно, фантазия разыгрывается тем больше, чем меньше реальных величин в моих формулах. И может так случиться, что через несколько лет я буду смеяться над этими планами, как ребячески.

1 января 1922 г. Берлин. В течение получаса лопались плохие ракеты, звонили колокола кирх и костелов — Новый год. Усталая толпа бродит по улицам. С балконов летят цветные ручные ракетки. Во всех кабаках музыка и полупьяный говор — Новый год. Ну и я закупил четыре бутылки вина, пригласил К. Немножко выпили, немножко охмелели — я, жена и К. Все трое говорили о всякой ерунде, пять раз решали судьбу России и ни разу — свою собственную. Обыч-

ная история для людей, не знающих, что с собою делать. Ругали всех, никого не хвалили и ничего хорошего ни от кого не ждали. Обычная история для людей, чувствующих свое бессилие, вернее — сознающих бессодержательность своих повседневных дел и отсутствие целей, освещающих годы...

Вот сейчас всюду играют, поют, малость флиртуют, выпивают — в темную, звездную, ветреную, теплую новогоднюю ночь. Миллионы людей точно знают, что они будут делать завтра и даже через неделю, даже через месяц...

6 января 1922 г. Берлин. Самое фантастическое нередко находит в жизни неожиданное осуществление. Больше того, часто жизнь дает гораздо больше фантастических элементов, чем сама человеческая фантазия. И это понятно: фантазия оперирует сравнительно скудными представлениями индивидуального опыта, в действительности же осуществляются стремления миллионов людей и безгранично разнообразные законы природы. Возьмем всё же фантастический роман.

Он начинается так. —

Это было в России во времена правления большевиков. Москва была мертвым городом. (Следует потрясающее описание). Лишь от 12 до 2 дня улицы оживлялись спешащими из одной канцелярии в другую голодными чиновниками — «совместителями». Да около 11 вечера кое-какие национализированные театры выбрасывали из дверей скучную, унылую толпу. Плохо одетые, вечно мечтающие о куске хлеба люди, получив со сцен слабую порцию духовной пищи — эстетика умершего общества разведенная в океане коммунистических проповедей, — разбредались парами и одиночками по сонным мертвым улицам, придерживаясь света еще кое-где сохранившихся фонарей. Мечтатели смотрели на далекие звезды, предвещавшие весну, тепло и сытость, влюбленные, спотыкаясь в тротуарных выбоинах, нашептывали друг другу уютные надежды на будущую новую, довольную творческую жизнь.

Через полчаса главные артерии и площади пустыли. Изредка лишь гудел трамвай, идущий от вокзала к складам с мерзлой картошкой для обывателей или с плохо размолотой мукой и кониной для красноармейцев.

Город спал. На Советской площади брежил свет — затянулось заседание у Каменева. Третий этаж Метрополя — справа горел огнями — Чичерин в два ночи принимал посетителей. Да под Спасской башней Кремля прохаживались под электрическим голубым фонарем два часовых — латыша. Да там, за пять верст от центра — в глухой улочке — шагал

рабочий, пробираясь к железнодорожному деревянному складу — украсть два-три полена, чтоб согреть ребятишек.

В одну из таких ночей в Москве случилось некое событие, живо заинтересовавшее некую мизерную личность, остановившуюся около половины двенадцатого на Красной Площади. Цель этой остановки была неясна. Правда, сначала можно было подумать, что неотложные естественные надобности помешали этому солдатскому полушубку, этим высоким сапогам, этим провинциальным, доходящим чуть не до колен грандиозным галошам продолжать скромный путь. Но нет. Постояв, сколько полагается, под памятником Минина и Пожарского, личность оправила свой несложный туалет и затем, плотнее прижавшись в тень бронзовых фигур, стала смотреть в освещенное окно дежурной комнаты Наркомпрода. Эта комната, рядом с кабинетом знаменитого Цурюпы, ничего из себя не представляла. Грязная, длинная, непроветренная, как все советские канцелярии. Сейчас, в половине двенадцатого, в ней сидели две барышни и юноша. Изредка кто-нибудь из них прохаживался из угла в угол. Тогда остановившаяся на площади личность видела, как скользил в незавешенном венецианском окне силуэт. Силуэт по временам приближался к стеклу и, видимо, в смертной скуке вынужденного бдения заглядывал на площадь...

И то — хлеб! — думала мизерная личность. И — то хлеб... Видна пташка по полету... Аллах ведает, впрочем, к кому это относилось, что хотел этим выразить вольный или невольный соглядатай... На всякий случай, однако, личность осмотрела возвышающиеся над ее головой фигуры памятника и усмехнулась в мизерную всклокоченную бороденку. Наставили всяких чучел и думали этим капиталец сколотить. А вышла одна дребедень: Ленин, это тебе не полячишки короля Сигизмунда — хитрая лиса-патрикеевна. Всех по шёрстке гладит... Ну, ладно, жди, брат, и тебя поглядят. Сегодня вот я, по советскому паспорту — верный человек — Лука Степанович Травников; а завтра может я первый тебя на это вот место выволоку да вот на эту вытянутую руку Минина и повешу... Эх, придет времячко... Ты вот там за стеной чаек попиваешь, а я вот тут на морозе твой царский покой вроде как сторожу... Роли разные...

В наркомпродовской канцелярии опять кто-то подошел к окну и видимо заглядывал на площадь. Проехал какой-то комиссар на доброй лошадке. Из-под Иверских ворот вышли двое в солдатской форме и с котомками. Быстро прошли ми-

мо памятника, не обратив внимания на ночного философа. До уха донеслись слова...

...ладно, говорит, а только на деньги, ничего из товару нету... ну, значит, выволоч бумажник, известное дело...

Известное дело — мешечники, подумал он, прошелся два шага назад, два шага вперед. На Спасской башне заиграли часы: тра-там-там-там, и еще раз тра-там-там-там! Половина двенадцатого. В двенадцать будем бренчать интернационал: Ленин и часы заставил петь под свою дудочку. Мастак, парень, мастак!

В это время с Никольской вывернулась какая-то парочка — из чистых. Чинно двинулись к Минину и Пожарскому. Потом остановились, пошептались о чем-то.

Целуются, с голодухи я чай! — подумала мизерная личность и завернула за пьедестал. Откуда-то явилась собака. Учувя человека обежала памятник дугой. Потом остановилась, наострившись. Тявкнула. Личность стукнула каблуком об мерзлые плиты и произнесла какой-то грозный шипящий звук. Собака отпрыгнула и серьезно, склонив голову на бок, побежала к Москва-реке. Некоторое время было слышно поскрипывание врезающихся в снег когтей.

Вот еще три минуты прошло. Почему же эта сволочь не является? Замерзать я тут должен?! Гляди-ка а ведь парочка-то всё тут. Им нехолодно... Почему это раньше строили такие красивые башни, а теперь не умеют? Солдатам у Спасских тоже не жарко. А впрочем, их там в Кремле кормят как на убой. Здоровы. А вот, кажись, это он... Только почему с Ильинки? Нет не он. Может вот тот? А вот с Никольской кто-то. Остановился. Нет. Опять пошел.. Нагнулся. Опять идет. Сапог, должно, давит... Еще пара с Никольской. Вот из-под Иверских... Надо отсюда уйти — из театров народ пошел...

Личность очень ловко вывернулась из тени памятника и, похлопывая руку об руку, в подражание ночным сторожам, медленно вышла на тротуар. Народ действительно повалил густо — и не только из-под Иверской и с Никольской — от театров, но и с Ильинки и из обоих проходов вокруг Василия Блаженного и из-за городской думы со стороны угловой башни Кремля.

Наш знакомец остановился в недоумении: народ валил отовсюду прямо стеной. В минуту огромная площадь была заполнена людьми, а сам философ притиснут к главному входу наркомпрода. Все шли одиночкой или парами — с меш-

ками, саночками, сумками или просто из театра. Кто шел деловито, кто скоро, спеша, кто просто прогуливаясь. Многие останавливались, спрашивали друг-друга: откуда сегодня столько народа?

А Москва-то мала, что-ли! — весело бросил на ходу какой-то солдатик...

Ну и народу, — не протолкаться. Это всегда — так? — любопытствовала на ходу какая-то востроносая баба с котомкой... И дальше философ слышал ее высокий голос:

...да вот с Курского иду, только-что приехавши... там пусто, а тут густо...

Около нее бунчали какие-то густые голоса.

Через минуту встречные потоки людей стали настолько мощными и густыми, что по всей площади образовались водовороты и невероятная теснота. Часовые у Спасской башни были оттиснуты совсем под нишу. Сотня людей зашла под наркомпродовскую арку и расположилась на ведущих во второй этаж крылообразных лестницах.

17 января 1922 г. Итак, Ллойд Джордж — умный британский мужчина — проводит так свою политику — мирного свержения большевиков. Советская власть признана де-факто припертой к стенке голодом, эпидемиями, развалом своей собственной жандармско-молчалинской партии, Ленин готов брать у Антанты деньги. За солидные проценты, которые уплатит русский мужик, и за гарантии, которые отдадут Россию — по справедливости! — надолго в выучку и эксплуатацию Запада. Радек, захлебываясь от радости (пригласили на конференцию!), лепечет что-то такое о разногласии в рядах Антанты и констатирует, что от Ленина требуют не политических, а экономических гарантий — порты и железные дороги! Не так много, чорт возьми!

Антанта умна и хитра. Ею правят люди большого жизненного опыта. За ее спиной стоит класс капиталистов — единственный пока, способный править, способный — пусть изредка — практически подыматься на высоту общечеловеческих интересов. Советская Россия глупа, ибо ею правит ничтожная кучка честных и бесчестных авантюристов из жевневских кабачков, ибо за спиной этой кучки темное, ненавидящее ее мужичье и вороватый, ничтожный, некультурный, униженный, в глубине своей души загаженный рабочий. Сила жевневских авантюристов, как и царя, — темнота народная, вечно подогреваемые зверские и собственнические инстинкты. Красная армия и чекистская охрана. Вот и всё. Темнота.

Злоба. Вот и всё. Европейские мыслящие рабочие и интеллигенты презирают Ленина. Русские мыслящие рабочие и интеллигенты ненавидят Ленина. Жестокий, сумасбродный временщик, тушинский вор, демагог и палач. Не по словам, а по делам надо судить цезаря. Московский цезарь — плоть от плоти московского царства.

Чтобы не потонуть в голоде и тифе, чтоб не повиснуть на последнем фонарном столбе на загаженных улицах Москвы, Ленин дает лозунг: пусть торгуют и мастерят, а заводы за казною!

Ленин читал в книжках, что крупная индустрия побивает ремесло и царит над торговлей. И вот он надеется: мужик больше запашет, а ремесленник починит ему — мужику — соху. Это пока. Тем временем советский завод на коллективном снабжении — пойдет в ход. Возникнет обмен, на котором завод сильно наживется, обновит машины и расширится. А там придет и электрофикация, которая скрутит мужика в бараний рог.

Увы, Негг Ленин упускает из виду много обстоятельств, которые твердо держит в поле зрения умный британский мужчина. Во-первых, голод и эпидемии. Остаток золота надо затратить на семена и хлеб. Во-вторых, советские заводы не зарабатывают так скоро, пока что они висят на государственном дефиците. Между тем без товара мужик хлеба не дает, а без сырья ремесленник работать не может. Естественно, и мужик, и ремесленник тянутся к загранице. Какие монополии внешней торговли ни устанавливай, контрабанда заливаает страну. Она опустошает Россию от всего, что в ней есть еще ценного. А затем идет и Антанта. Дадим, друг Ленин, семян, дадим плуг и ситец, медикаменты и обувь, инструмент для ремесленника и чернила для канцелярий. Но и точка. Машин для твоих гниющих заводов не дадим и основного сырья не дадим. Только готовый продукт, ибо у нас на Западе безработица, ибо немецкий экспорт (для оплаты контрибуции) надо направить на восток.

Разумеется все товары Антанта и адоптированная ею Германия дают в кредит и без всяких политических гарантий. Но экономические гарантии — да. Порты. Железные дороги. Десяток хороших концессий (Урал, Донбасс, Грозный, Баку, Кузнецкий басс. Архангельско-Вологодские леса...).

Не дашь этих или подобных гарантий, — экономический бойкот — факт. Золота уже нет. Сырья нет. Есть чека и чиновники. Это не экспортный товар. Будет продолжаться торго-

вля и контрабанда, голод и тиф. Будет расти крепкий союз мужика — ремесленника — торговца, который осилит чеку и канцелярии, приспособит к своим запросам и затем выбросит.

Дашь эти или подобные гарантии — тоже не сладко: обрабатывающая промышленность ничего не получит и сведется на ничтожное ремесленничество. Рабочие уйдут в деревню и на концессию, как и служащие. Мужик получит всё необходимое от заграницы и охотно будет сеять для заграницы. Добывающая промышленность и транспорт будет в руках концессионеров, опирающихся на симпатии русских крестьян и рабочих (ведь жрать дадут, лечить будут, обуют и оденут за десятичасовой труд!). С чем останется Ленин? С чекой и красными командирами, да с 300.000 жандармско-молчалинских коммунистов. Вот перспективы и дилеммы!

Если Ленин умен, ему следует сейчас сколачивать какую ни на есть коалицию. Захудалые меньшевички и эс-эры, участвуя в совнаркоме, сильно подымут сумму кредита, обещанного Антантой, и сильно сбавят «экономические гарантии». *A la longue* дело Ленина этим не улучшается, но зато сглаживается путь отступления из кремлевского дворца в женевский кабачок и в Лету. Очищенная от всех порядочных элементов РКП одобрит коалицию, как и всё, что ей дают свыше.

28 января 1922 г. Капитализм выживает. Все признаки налицо. Оказывается его слабые стороны не в прибавочной стоимости и периодических депрессиях, а в национальной форме объединения. Конкуренция национальных объединений ведет за собой войны и революции. Отсюда следует программа здоровой творческой демократии (не охлократии) — способствовать выявлению интернационального характера капиталистического общества. Надо бороться за устранение политических и экономических границ, за установление интернациональных правовых норм и охраняющих их органов. Интернациональный парламент и исполнительное бюро, интернациональная инспекция труда, транспорта, сношений, торгово-промышленного и финансового законодательства, интернациональная валюта и мировой эмиссионный банк. Вместе с тем, интернациональные профессионально-производительные союзы рабочих, служащих и предпринимателей, культурных работников и ученых.

Эта тенденция, существовавшая и до войны, теперь находит более яркое выражение в консорциуме по восстановлению Европы, в регулировании тихоокеанских и русских дел и т. д. Необходимо, чтобы демократические партии — рабочие прежде всего — стимулировали процесс и сотрудничали с капиталом.

Россия, которая отряхивает последние пылинки дикого «военного коммунизма», дурацкого ленинства, крестьянско-кооперативная Россия будет в ближайшие годы величайшим фактором мирового объединения. Москва будет интернациональным городом. В этом меньше всего ленинских заслуг. Сей муж и его шайка будут завтра тормозом хозяйственного прогресса в большей степени, чем был царизм, ибо свою власть эти господа будут защищать всем ассортиментом царских приемов — мощная армия, охранка, полиция, стеснение гражданской свободы, ужасающие налоги и повинности, агрессивная политика в отношении слабых соседей, угнетение окраин и местной инициативы — муниципальной, кооперативной и пр., моральное разращение интеллигенции и молодежи (в канцеляриях, в армии, всюду), стеснение народного образования и т. п. Интересы мирового хозяйства и демократические идеалы требуют, чтобы эта власть была уничтожена. И она будет уничтожена соединенными усилиями иностранных влияний (капитала и рабочих) и русских мужиков.

29 января 1922. Самая скверная привычка — это схематическая оценка фактов: или-или. Действительность всегда или почти всегда протекает по промежуточным путям. Она не терпит математически числовых, т. е. предельных выражений. Всякая формула — лишь приблизительное отражение действительности, поскольку формула ставит точки и грани, отрезает концы и начала. Ведь нет ни концов, ни начал, ни правой, ни левой, ни высоты, ни глубины, ни передних, ни задних. Всё в хаотическом движении. Закон — это наше желание, наша воля. А так как наша энергия в сумме мировых сил — бесконечно малая величина, то и наш закон, увы! — худшая из фантазий. Обязывая, как закон, как максима, он неправильно очерчивает условия своего осуществления и вводит в ошибки. И замечательно, что всякое творчество — в науке-ли, в жизни-ли — всё равно — начинается там, где сплетается факт внешний и внутренняя человеческая воля, желание, т. е., обыкновенно, всегда за гранью закона, вопреки, в отрицание закона. Наше желание, подкрепленное максимальным волевым напряжением, вот закон. В самом деле, природа, как хаос, наш собственный организм, как хаос, дают неограниченную возможность выбора сил для реализации воли, для осуществления наших желаний, чем напряженнее воля, — тем скорее и полнее будет найден нужный, желаемый «закон», т. е. формула полезного эффекта. Полно глубокого философского и научно-методологического смысла евангельское выражение «толцые и

отверзится вам!» В этих четырех словах — закон и пророки. Еслиб это не было так, — вся наша жизнь остановилась бы. Успех — научный, политический, всякий иной предполагает лишь две вещи: бытие и волю.

4 февраля 1922 г. Что за чушь! Меня обуяли андreeвские настроения. А ведь с людьми я весел и добр, как это ни странно. Значит — в одиночестве и однообразии вся штука, в отсутствии солнца, воздуха, движения, красок и мелодий. Мы, глубокомысленные истребители чернил и бумаги, всегда забывали, что уклон к философии связан с «уклонами» в брюхе, мускулах, нервах...

Счастье — в бессознательности восприятий и дум, в безотчетной целесообразности движений и поступков, определенных подсознанием. Радость — участвовать в общем потоке людей, природы, света, звуков. Надо быть, конечно, хорошо пригнанным к условиям. Но не помышляй приспособить себя философскими выкладками. Чепуха. Слушайся своих инстинктов. Ведь природа хорошо позаботилась пригнать всё твое существо к ее требованиям: слава Аллаху, никакая цивилизация еще не отучила нас улыбаться солнцу и цветам и не приучила радоваться темным переулкам и осклизлым сырým лестницам. Слава Аллаху, никакая канцелярия, библиотека, фабрика и тюрьма не убила в нас способности восторгаться силой и четкостью движений гимнаста, любить застенчивость женских взглядов, смеяться детской болтовне, следить с холодком у сердца за бегом курьерского поезда, расправлять легкие в степных просторах и на снежной высоте... Но, дорогой, дела, дела твои влей в этот поток природы и жизни, не делайся регистратором и классификатором жизненных явлений...

6 февраля 1922 г. Моя газовая лампа колеблется — тухнет и вспыхивает вновь — совсем, как современная политика. Стачка муниципальных рабочих и машинистов. В какое варварское состояние приходит общество! Воевать 4 года, чтоб наложить на немцев контрибуцию, чтоб влезть в непомерные долги. Наложить контрибуцию, чтобы потом не знать, как отделаться от вывозимых Германией фабрикатов. Борьба с демпингом и требовать уплаты займов, репараций, т. е. толкать государства-должников к введению налогов, удорожающих цены, к печатанию кредиток, подрывающих внутреннюю систему хозяйства... И т. д. Всё запуталось в безвыходных противоречиях. Остается два выхода — социализм или интегрирование капитала. Мировое хозяйство переросло государ-

ственные границы. Мировой фазе хозяйства должна соответствовать мировая организация власти. Если национально-капиталистические группы окажутся неспособными поступиться частными, групповыми, национально-монопольными интересами во имя безболезненного развития мировой хозяйственной системы, — нас ждут величайшие потрясения — национальные коммунистические перевороты. Национально организованный коммунизм установит мировую власть, в которой персонифицируется в конце концов компромисс работника и организатора. Но коммунизм — это река крови. Лучше политика Ллойд-Джорджа. Сейчас эта политика наталкивается на два мощных сопротивления: банковский капитал, живущий спекуляцией на валюте, займах, войнах и большевики-москвиты. Первое препятствие сильнее, чем второе. Держащиеся на штыках наши москвиты, в сущности, лопнули, как особая политическая категория. Политика Ленина сейчас — внутри и во вне — ничем не отличается от политики реакционных прусских королей, кроме фразеологии. Россия потеряла в глазах рабочего прелесть революционной новизны. Московские отъявленные реакционеры являются препятствием для Ллойд-Джорджа не как непримиримая сила мирового бунта, а именно как реакционеры-националисты, выражающие интересы отсталой промышленности и отсталого темного пролетария. Нужно ждать комбинированного воздействия иностранного капитала, кооперации и внутренних предпринимательских сил, чтобы Россия поднялась на уровень понимания мировых хозяйственных проблем. Или нужен дворцовый переворот в Москве, чтобы на место реакционеров посадить либералов меньшевистско-кадетского толка. И это не исключено, поскольку сколоченную Троцким и теперь «обновленную» на аракеевский манер армию нечем кормить и не во что одевать. Всё возможно при курьезных неустойчивых московских сочетаниях.

7 февраля 1922. Берлин. Белый снег и не черный вечер. Не по-блоковски. В снежной дымке мерещится луна. Я везу ее на санках — вприпрыжку и шагом — как придется. Аллея пустынна. Оснеженные кусты топорщатся тут и там в беспорядке. Словно лес настоящий. И снег настоящий, и луна настоящая. Нет Берлина. Пропал Берлин. Снег. Кусты. Мы — дети. Да где-то мерещится огонек. Там, думается, наш тихий камелек и задушевные друзья. А выходит, — всё это совсем ненастоящее. И камелька у нас нет. И друзей нет. Снег да пустота. И мы бродим без приюта — сегодня Грозный, завтра

Москва, а там — Берлин. И мы ломаем головы над задачами мира. А миру до нас нет дела. И так всё. Так всё. Смешно, право. И жутко. Говорят — в мире прочные связи. Товарообмен. Почта. Пресса. Литература. Идеи. Призрачны все эти связи. Ничего в них нет прочного, ибо не нужны они человеку в такой форме и в такой мере, в каких навязаны. Куда прочнее мои связи с лесом, снегом, луной и всякой живностью. Без этих связей я не могу. Я тоскую. А людской мир? Лишь в детстве он дарил мне дружеское сочувствие и дружеские слова. А теперь — это лишь товарообмен для меня. И для всех так. Надо сделаться нам всем свободными друг от друга, чтоб любить друг друга и от души помогать друг другу. А свобода — это мысль, желание, воля, олицетворенные в своем собственном, индивидуальном творчестве и достижении.

Капитализм — очень скверный строй, судя по рассказам. (Сам я никогда не был ни рабочим у хозяина, ни хозяином, всегда служил у общественных организаций, чорт бы их побрал!) Но капитализм обеспечивает хоть видимость самоопределения человека. Старайся, развивай свои способности, и тебя оценят. Пусть это ценой голода и чахотки, но признание будет.

А вот социализм — *Kanzleiwirtschaft* — это, видимо, нечто чудовищное. Личности тут нет. Коллектив. Воли тут нет. План и статистика. Риска тут нет и неизвестности. — Организованное болото, *Manteltarif* и *Betriebsrat*. Жизнь по *Бедкеру*, мысль — по определению тридцатипятиэтажного бюро. Брр!

Дурак и личный враг мой — всякий приверженец социального переворота. Где переворот — там начинается ленинская фантазия с учетом, карточной повинностью и голодом. Никогда не охватить нормальные потребности многомиллионного коллектива в схеме и плане. Будет чепуха. Исправление капитализма опытом жизни — вот нормальный путь, здоровый путь.

16 февраля 1922. Берлин. Известнейший театр-варьете. Громадный зал. Чудовищно высокие цены. Тьма народа (в будний день). Скверный оркестр. А вот программа: две обезьянки ездят на велосипедах.

24 февраля 1922 г. Генуэзская конференция идет. Войны не будет. Голодовки скоро изживутся. Самое время мне проводить свою большую программу. Между тем дело движется слабо. Нервы не в порядке. Жить и работать не умею. Днем все эти прохвосты забивают голову, вечером плохо работается. Планы приспособляешь... к деяниям прохвостов. А это уж

куда как плохо. Надо поставить себя твердо, тогда дело лучше пойдет: днем лавировать среди этих государственных людей и друзей отыскивать (хорошие люди и в мусоре есть), а вечером бить в свою точку. Бить, бить, упорно, используя каждую минуту. И так раз — два — три — два часа здоровью, час жене, семь — лавированью; остается еще шесть часов хорошего здорового труда. Разве это мало: тридцать шесть часов в неделю, 1900 часов в год. Да ведь умный американец горы свернул бы за это время!..

6 марта 1922 г. А что, если я изобличу этих прохвостов! Не в угоду другим прохвостам, а в угоду миру и прогрессу. Впрочем, и на это наплевать. Я изобличу их за все их подлости, надувательства, подхалимство, за гибель нашего поколения, за надругательство над всем, во что мы верили. Стоит ли? Поверят ли мне? Не забросают ли меня грязью? Пожалуй, и на это наплевать. Ведь они замучили всех моих близких и дальних, они разорили великую страну... Мне кажется, я написал бы о них умную, гневную, бичующую книгу, такую, которая уничтожила бы их морально, окончательно разбила бы ряды всех этих чекистов и идиотов из III Интернационала. Ведь я знаю их душу — мелкую, холопскую. Вот они занялись теперь арестом левых коммунистов. Эти — идиоты, но не подлецы. Идиот страшнее подлеца, но он не противен в такой степени. Ленин очищает место будущему правительству. Он искореняет тех, кто вчера верил каждому его слову, кто молился на него, кто сегодня захотел продолжать его вчерашние заветы...

10 марта 1922 г. Телеграф принес известие, что Ленин высказался за приостановление уступок на внутреннем экономическом фронте. Если это правда, — это можно объяснить двояко: или старый жулик пугает антанту и ее капиталистов, предпринявших в России широкие спекуляции без политического признания большевиков; или Ленина запугали его собственные радикально-настроенные лакеи и чекисты, которые почувствовали в новой политике (и не без оснований) свой скорый конец. «Партийный съезд, говорит якобы Ленин, выскажется вероятно за приостановление уступок капиталу». Это весьма может быть. Лакеи трепещут, подлая свора Зиновьева мечется в поисках выхода. Не исключена даже новая авантюра против Польши, благо в этой почтенной стране стоят у власти подобные же авантюристы, для которых хорошая войничка весьма наруку для подрумянивания подмоченной репу-

тации. Недаром (на всякий случай) зашевелились все наши эмигрантские митрофанушки.

27 марта 1922 г. Берлин. Ленин, видимо, едет в Геную. Ему страшно хочется этого. Ведь — апофеоз, можно сказать: отвергнутый миром — в центре мирового внимания. Ленин хочет позондировать Ллойд Джорджа. Двое политических пройдох чувствуют друг друга и хотят обнюхать друг друга. Это может быть в интересах прогресса. Во всяком случае, пока что Ленин арестовал в России всех видных эс-эров: заложники на случай покушения при поездке. Если какой-нибудь дурак пальнет в героя Генуи, эти заложники будут отправлены на тот свет. Местные эс-эры и прочая публика этого не понимает и принимает за чистую монету «процесс в связи с разоблачениями» Семенова и Коноплянниковой или как ее?.. Всё это для заложников.

29 августа 1922 г. Берлин. Всё идет отлично. 22-го Крестинский написал в Москву, что для моего настроения московский воздух будет лучше... Дело сильно подвинулось к разрыву с этими людьми. Ах, тем лучше. Кончается кровавая полоса — Россия, начинается трудовая полоса — Европа. Я знаю конечно, что будет тяжело добывать хлеб в этой переполненной Европе, я знаю, что всякой скверны здесь не меньше, чем на родине, но бессмысленного хамства меньше, пустого круговращения для отдельной личности меньше. И нет этой крови, крови, крови, ужасов, насилий и идиотизма. Старушка Европа, ты воспитала нас, русских чернильных людей, на своих идеях. Естественно к тебе мы и бежали в трудные минуты жизни. И ты принимала ласково всякого, кто умел и хотел работать. Неужели меня, сибирского мужика, ты выкинешь, не оценишь?! Я не претендую быть пророком в чужом отечестве, хотя в своем я оказался пророком — я хочу лишь рассеять гнилой туман, ползущий с востока, а затем взяться за молот...

11 сентября 1922 г. Берлин. Сегодня один из главных ищеек чека устроил мне смотр, т. е., призвав меня под глупейшим предлогом в свой кабинет, показал мою физиономию трем чекистам. Отсюда вывод: за мной учредили надзор.

Всё это можно было предположить заранее. Но коли в данном субъекте предполагаешь — пусть с уверенностью — гадость, все-таки не так хочется плюнуть в его рожу, как тогда, когда гадость налило. Господин Крестинский делает своя государственное дело! Бог мой, и с этими людьми я прожил четыре года, предполагая, что у них за душой есть тот медный

грош, какого я не видел за душой у других. Какой же я идиот!

У Крестинского — охранка, у Стомоньякова — воровской притон. И над всем царит звезда идиотизма, узколюбия, себялюбия мелких ничтожнейших мешанишек, нашедших в Ленине достойного пророка, а в Бухарине и Зиновьеве — блестящих апологетов.

(На этом дневник обрывается)

N. N.

БЕСЕДЫ С ПАМЯТЬЮ

К нашему большому сожалению это последний отрывок из интересных воспоминаний В. Н. Буниной. 3-го апреля Вера Николаевна скончалась в Париже, о чем редакция «Н. Ж.» глубоко скорбит. РЕД.

И Т А Л И Я *

1

В вагоне, в спальном отдельном купе, Ян пришел в то настроение, которое мне было особенно по душе: он стал веселым, заботливым, говорил о том, о чем в обычной жизни не высказывался.

— Я чувствую себя на редкость хорошо в мотающемся вагоне в темные ночи, заметь как хороши огни станций в щелку, и какое это поэтическое чувство — знать, что ты далеко, далеко ото всех.

Через Волочиск мы приехали в Вену, где шел дождь, и было холодно в наших легких одеждах, и мы пробыли там всего дня два. Заглянули в Собор Святого Стефана, который так крепко вошел в мое сердце что ни один собор не мог его вытеснить, а я много их осматривала. Послушали мы в нем и великолепный орган. Впечатление незабываемое.

Побегали по городу, были в Пратере, но главное занятие было — искать по ресторанам гуляш, которого мы так и не нашли, что Яна очень сердило. Из Вены мы направились в Инсбрук, где уже было совсем холодно, пришлось под костюм надеть очень теплую вязанку, которую мама заставила меня взять. Но живительный воздух совершенно опьянял нас, и холод был приятен. Мы часто вспоминали этот уютный тирольский городок, залитый солнцем, окруженный горами, где так весело раздавались звонкие шаги.

* См. кн. 59, 60, 61, 62, 63 «Н. Ж.».

В Италию мы спустились по Бренен-Пассу, в солнечно-ослепительный день. Ян мечтал пожить в какой-нибудь тирольской деревушке с каменными хижинами, куда по вечерам возвращаются овечьи стада с подвешенными колокольцами. И воскликнул: «Как было бы это хорошо!»

Когда мы переехали границу и очутились в Италии, то сразу почувствовали иной мир: вместо высоких сильных жандармов, появились в касках с перьями маленькие военные, и уже на вокзальной тележке были фиаски и апельсины. И то и другое Ян мгновенно купил. И тут же начал говорить, что ему так надоели любители Италии, которые стали бредить треченто, кватроченто, что «я вот-вот возненавижу Фра-Анжелико, Джотто и даже самое Беатриче вместе с Данте...»

— А ты чувствуешь какой здесь легкий воздух? — перебил он себя.

Вечером мы добрались до Вероны, где оперные итальянцы в своих плащах, красиво закинутых за плечо, дали почувствовать иную эпоху. Вернувшись в отель мы спросили минеральной воды, но нам не дали, сославшись, что поздно, а Ян не позволил выпить сырой воды, и мы легли спать в сильной жажде. К счастью, от усталости скоро заснули, и я видела сон, что пью масло из масляной банки в лаборатории, под вытяжным шкапом, где что-то в реторте нагревается. Это было так отвратительно, что я запомнила на всю жизнь.

**
*

Из Вероны, осмотрев древний амфитеатр, мы поехали в Венецию. Прибыли уже вечером, за дорогу очень устали, но в траурной гондоле с красавцем гондольером почувствовали такое спокойствие, плывя в город-призрак и слушая пение, раздававшееся со всех сторон, что усталость, как рукой сняло, — захотелось пожить здесь. К сожалению, скверная погода не позволила нам долго остаться. Осмотрев бегло Венецию, мы взяли билеты в международном вагоне и отправились в Рим, решив там остановиться. Но и там встретило нас серое низкое небо с дождем и ветром. У нашего вагона стоял русский лакей в ливрее, помогавший старому княгине сходить со ступенек вагона. И мы взяли билеты дальше, на юг, спасаясь от непогоды и от старой княгини с ее ливрейным лакеем. В Неаполе, где было теплее, мостовые блестели от только что пролившегося дождя.

Остановились мы на набережной, в гостинице «Виктория». И пробыли в ней трое суток. Неаполь, несмотря на изумительный вид из наших окон, разочаровал меня: я представляла его меньше, утопающим в зелени, а оказалось, большой шумный город, в котором я от усталости растерялась. Но вот на утро мы поднялись на Вомеру, откуда открывается один из широчайших видов мира (Ян всегда в новом городе прежде всего искал самое высокое место). А на второе утро мы отправились в сторону Позилиппо, шли долго апельсиновыми и лимонными садами, в душе звучало: «*Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?*» А потом рыбный завтрак с холодным вином «позилиппо» в огромном длинном ресторане, еще пустом, — сезон едва начался, — и Неаполь победил меня.

О Капри ничего не было говорено, мы только смотрели на него с нашего балкона, и я, восхищаясь его тонкими очертаниями, спросила: поедем ли мы туда? Ян ответил неопределенно. О Горьком мы тоже не говорили, слишком в те дни было много нового, необычайного. Часто в жизни играет роль пустой случай. На третий день нашего пребывания в этом городе песен и мандолин, мы уже освоились с пристававшими мальчишками, смело отбиваясь от них словами «виа, виа»; примирились с тем, что кофий был отвратительный, как, впрочем, и во всей Италии; слушали в салоне после длинного обеда пение и игру неаполитанцев, старший обходил всех с шапкой, и один раз англичанин положил такую маленькую монету, что старичок, талантливый исполнитель песен, возвратил ему этот грош; Ян уже не удивлялся, когда перед сном выходил один на улицу, что к нему подбегали со всех сторон подозрительные личности и, суя открытки, предлагали: «табло виван».

В тот день утром мы съездили в Сорренто и чуть не сняли комнаты. Вернувшись, пошли завтракать в «Шато д'Ово» (Яичный замок), ели фрукты ди маре, лангусту, запивая все холодным белым вином.

За завтраком я спросила о Горьком, увидимся ли мы с ним, Ян опять ответил неопределенно. Он, посмеиваясь, рассказав, что в последний раз виделся с ним и Марьей Федоровной во время «вооруженного восстания», когда они жили на Воздвиженке, квартира была забарикадирована, в передней сидели в черных папахах, вооруженные кинжалами, револьверами и двустволками кавказцы, охранявшие его, хотя никто не напа-

дал. А я рассказала, что как раз перед «вооруженным восстанием» в нашем доме на квартиру Шарапова было произведено нападение. Шарапов человек правого политического направления, писавший по аграрному вопросу, снимал у нас большую квартиру в нижнем этаже по Скатертному переулку. Однажды поздно вечером было сделано несколько выстрелов в окна, посыпались стекла, нападавшие убежали, а к нам перенесли на ночь маленьких детей Шараповых; через несколько дней они съехали с квартиры.

После обильного итальянского завтрака мы вернулись в отель, легли отдохнуть и проспали почти до обеда.

Войдя в столовую, мы увидели, что за столиком, где мы эти дни обедали, сидели англичане. Ян рассердился и заявил, что обедать не будет и завтра же покидает отель. Метр д'отель очень извинялся, предлагал другой стол, начал называть его «принчипэ», но Ян остался неумолим.

Мы отправились к Воронцам, друзьям Буниных по харьковской жизни, которые поселились на Вомеро. И мы опять полюбовались широким видом, но уже при вечернем освещении.

Воронцы были эмигранты после 1905 года, осели в Неаполе из-за климата, вели тихую скромную жизнь. Они обрадовались Яну, ласково приняли и меня. Весь вечер прошел в оживленных воспоминаниях о прошлой, почти нищенской жизни, когда приходилось, по словам хозяйки, делить «каждую фасоль пополам», но всё же тогда было необыкновенно весело, безмятежно. С Горьким они не были знакомы, но говорили, что его дом поставлен на широкую ногу.

2

На следующее утро, в 9 часов мы отправились на Капри. Пароходик был крохотный. Погода тихая, и мы шли, как по озеру, наслаждаясь всем, что дает Неаполитанский залив людям, попавшим туда в первый раз. И, действительно, не знали куда глядеть: на Везувий ли, грозно царивший над беззаботными неаполитанцами, на поднимающийся ли амфитеатром город с его апельсиновыми и лимонными садами на окраине, на высокие мающиеся абруцкие горы, или на выступающий из воды остров Искья, с его очаровательными очертаниями, где некогда жил, страдал от любви, опростившийся Ламартин; но вот и Капри, где живет изгнанник, наш русский писатель, который с гимназических лет занимал мое воображение своими романтическими боссяками.

Остановки, крики, итальянские лица со сверкающими глазами и зубами. Вот и Сорренто, показавшееся нам тесным: отвесный берег с виллами, отелями, садами. А минут через двадцать и Капри. Пароходик остановился, и нам пришлось до берега плыть в лодке. Увидев неприступность острова, мы поняли, почему Тиверий избрал его для своих уединенных дней.

Капри и для нас оказался островом, и островом сказочным, — он не соединен ни с прошлыми, ни тем более с последующими событиями нашей жизни. Очутились мы на нем в одну из самых счастливых весен, во всяком случае моих. Ян, как я уже писала, не любил предварительных планов; он намечал страну, останавливался там, где его что-либо привлекало, пропуская иной раз то, что все осматривают, и обращая внимание на то, что большинство не видит.

Высадившись, мы пошли в ближайший отель, расположенный на берегу, оставили там наши чемоданы, позавтракали, поразившись дешевизной и свежестью рыбы и отдохнувши с час в отведенной нам комнате, отправились пешком в город. Дороги вились среди апельсиновых садов, открывая при каждом повороте всё более и более широкий вид.

— Знаешь, зайдем к Горьким, — неожиданно предложил Ян, — они посоветуют, где нам устроиться, и мы можем некоторое время отдохнуть, мне здесь нравится.

Я с радостью согласилась.

Когда очутились на площади, необыкновенно уютной, и постояв на ней, и вдоволь налюбовавшись видом на Неаполь, мы спросили кого-то, как пройти к Горькому, этот кто-то нам с готовностью указал дорогу. Мы нырнули в узенькую улочку и пошли по ней.

— Кажется, это Катя, дочь Марьи Федоровны! — воскликнул Ян, увидя идущих навстречу нам двух молоденьких барышень, одну полную, высокую, а другую миниатюрную.

Так и оказалось: высокая барышня была пятнадцатилетняя Катя Желябужская, она была похожа на отца, которого я знала, и я сразу уловила ее сходство с ним, оно было в полных губах и нижней части лица. Спутница Кати оказалась женой эмигранта, она была приставлена к ней, но у них были дружеские отношения, и Катя коноводила своей компаньонкой.

От них мы узнали, что Горькие через полчаса отправляются в Неаполь.

— Но вы всё же их застанете, — сказали они и еще раз объяснили, как найти виллу Спинолла.



Виллой, где жили Горькие, замыкалась улочка. Ян позвонил. Высокую дверь нам открыл красавец и что-то стал говорить по-итальянски. Не слушая, мы прошли мимо него и стали подыматься по узкой лестнице, Ян опередил меня. Вдруг я услышала грудной знакомый голос:

— Иван Алексеевич, какими судьбами?

На стеклянной веранде, выходившей в римский сад, в сером костюме и маленькой синей шляпке стояла мало изменившаяся Марья Федоровна, как всегда элегантная. Мы с ней познакомились. В этот момент из боковой двери вышел в черной широкополой шляпе Горький. Он радостно поздоровался с Яном и приветливо познакомился со мной.

Нас сразу они забросали вопросами, на которые мы не успевали отвечать. Ужаснулись, что наши вещи остались на Гранда Марина. Марья Федоровна посоветовала отель «Пагано». Затем нас стали уговаривать пожить на Капри подольше.

— Катя всё устроит. Хозяева «Пагано» — наши друзья. Мы всего на три дня в Неаполь. Вернемся и тогда уговорим вас остаться здесь.

Мы быстро пошли по узенькой улочке, где встречные радостно здоровались с Горьким, а Марья Федоровна каждому что-то говорила по-итальянски.

— А какие тут звездные ночи, чорт возьми! Право хорошо, что вы приехали, поедем рыбу ловить! — говорил Алексей Максимович, тряся руку Яна, а потом мою около финикулера.

Я была рада, что так случилось, что мы одни несколько дней проживем на Капри, оглядимся, и я привыкну к мысли, что буду проводить время с Горьким и артисткой Андреевой, которая, несмотря на свою любезность, вызывала во мне стеснение.

Катя оказалась милым и общительным подростком. Быстро нас устроила в отеле, где все стены были расписаны неизвестными художниками, которые иной раз оплачивали этим свое пребывание там. Много, с большой любовью, Катя говорила об «Алеше», как звала она Горького. Еще больше она рассказывала о «Зине», своем «названном брате», которым она восхищалась, и сообщила, что он живет в качестве секретаря у Амфитеатрова в северной Италии и часто наезжает к ним. Понемногу она ввела нас в быт горьковской семьи. Все три дня, пока Горькие были в отсутствии, она со своей милой компаньонкой заходила к нам. Сообщила, что патрон острова

— Святой Констанце, что от Гранда Марина до Анакапри 777 ступенек, высеченных Тиверием — дорог в те времена не было. Рассказывала, что на полугоре жили хищники, пожиравшие христиан, что до сих пор существуют старухи в Анакапри, которые никогда не спускались в Капри, и что здесь население говорит на разных диалектах. Обитатели Капри очень честны. Когда владельцам магазинов нужно куда-нибудь пойти, они никогда не запирают дверей, и никто ничего не крадет, а если что-либо нужно человеку купить, то он просто возьмет это в магазине, оставив там деньги.

Все три дня я была в опьянении и с этих дней началось то сказочное, что мне довелось пережить той весной.

**
*

Вернулись Горькие, но не одни, с ними прибыли Луначарские. Кроме того у них гостила дочь проф. Боткина, которую они звали «Малей» и жил больной туберкулезом товарищ Михаил, черномазый рабочий, с некрасивым лицом и веселыми глазами.

Как раз подошли домашние праздники: 14 марта старого стиля день рождения Алексея Максимовича, а 17 марта его именины. И мы поспраждновали. Впрочем, всё наше пребывание, особенно первые недели, было сплошным праздником. Хотя мы платили в «Пагано» за полный пансион, но редко там питались. Почти каждое утро получали записочку, что нас просят к завтраку, а затем цридумывалась всё новая и новая прогулка. На возвратном пути нас опять не отпускали, так как нужно было закончить спор, дослушать рассказ или обсудить «животрепещущий вопрос».

Много говорили мы и о Мессинском землетрясении. Марья Сергеевна Боткина, сестра милосердия, побывала на месте бедствия. Восхищались самоотверженностью русских моряков.

На вилле Спинолла в ту весну царила на редкость приятная атмосфера бодрости и легкости, какой потом не было.

Сама вилла была прелестная: одна стена в кабинете была скалой. Дом старинный с высокими просторными комнатами, их было семь или восемь, со старинной мебелью. Широкое низкое окно кабинета, за которым стояли цветы: «И качались, качались цветы за стеклом...» С балкона открывался вид на Неаполь. Думать, работать в таком кабинете было приятно. В этот приезд мы редко в нем сидели. Раз как-то вечером я расспрашивала Алексея Максимовича о Луначарских, он ска-

зал, что брат жены Луначарского, экономист Богданов, по его мнению, гениален.

Больше времени мы проводили в салоне с гербами под самым потолком или в огромной столовой, где асти в те дни лилось рекой — то под пение с аккомпаниментом мандолин и гитары местных любителей; то под изумительную тарантеллу знаменитой на весь мир красавицы Кармеллы, которая особенно талантливо танцевала для Массимо Горки со своим партнером, местным учителем в очках... то под бесконечные беседы, споры. Впрочем, при Луначарском, тогда очень худым, всё превращалось в его монолог, он умел заставлять молчать Горького. Обычно он ходил по диагонали, говорил то на политические темы, то на литературные. Он хорошо знал итальянских поэтов, владел в совершенстве итальянским языком. Вставить словечко можно было только тогда, когда он неожиданно опускался на ручку кресла, в котором сидела его жена, и начинал ее обнимать и долго целовать. Нацеловавшись, поднимался и опять — хождение по диагонали и монолог.

Уже 14 марта, в день рождения Алексея Максимовича, я почувствовала, что на вилле Спинолла все играют, словом «театр для себя»: на всех лицах можно было прочесть, что слушающие переживают. Были также и новые для нас эмигранты-каприйцы, пришедшие поздравить новорожденного.

Алексей Максимович просил Яна почитать стихи. Ян долго отказывался, он не любил читать среди малознакомых людей, но Алексей Максимович настаивал:

— Прочтите «Ту звезду, что качалась в темной воде...», я так люблю эти стихи.

Ян обычно переставал читать то, что вошло в книгу, он даже мне не позволял перечитывать в его присутствии своих произведений. Но Горький так просил, что Ян прочел это восьмистишие, написанное в 1891 году.

Ту звезду, что качалась в темной воде
Под кривою ракитой в заглушем саду, —
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде, —
Я теперь в небесах никогда не найду.

В то селенье, где шли молодые года,
В старый дом, где я первые песни слагал,
Где я счастье и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда.

Алексей Максимович плакал, а за ним и другие утирали глаза.

Но больше, как ни просили, Ян не стал читать.

**
*

Именины 17 марта мы провели вместе с обитателями виллы Спинолла. Горький редко выходил один, а всегда с чадами и домочадцами.

После завтрака, который был особенно вкусен, — красавец Катальдо постарался, — мы отправились в Анакапри, лежащее выше Капри. Поднимались по прекрасной дороге в экипажах: в одном писатели, а в другом женщины — Марья Федоровна, Луначарская, Боткина и я. В третьем — все остальные. Анна Александровна Луначарская сразу заговорила о любви и расспрашивала, как кто познакомился со своим избранником. Она была пышной блондинкой, красотой не блистала, но была проста и мила, казалось, вся жила своим Анатолием Васильевичем. К сожалению, я забыла, что она рассказывала о их романе, помню лишь впечатление о любви с большой буквы.

Осмотрев бегло Анакапри, мы вошли в пивную, которую держал австриец. К стенам были прибиты рога. Кроме нас было несколько немцев и тирольцев в своих шляпах с перьями, они очень много пили, лица их стали донельзя красными, глаза оловянными.

Ян сказал:

— Бойтесь пьяного немца, это самые страшные люди в опьянении...

Наша компания отдала честь австрийскому белому вину в высоких узких бутылках, как и необыкновенно вкусной колбасе, выписанной из Австрии. После пивной еще погуляли, Горький указал на находящуюся на берегу, на самой южной точке виллу, принадлежавшую шведке, в которой жил доктор Аксель Мунте, описавший впоследствии Капри. Затем вернулись домой. Мы забежали в отель «Пагано», немного отдохнули, вечером опять пошли к Горьким.

Этот праздник был еще более пышен и многолюден, чем три дня тому назад. Пели, плясали тарантеллу еще талантливее, чем в прошлый раз. Асти, действительно, лилось рекой. Поражало, что все слуги были красивы и держали себя просто. Красавец подросток Лоренцо сидел под столом в непринужденной позе, — он был мальчиком на побегушках; красавица

горничная Кармелла с двумя маленькими девочками, необыкновенно прелестными, с которыми возился с любовью и лаской Алексей Максимович, тоже чувствовала себя не как прислуга. И я часто думала: «Вот как будет, когда настанет на земле социализм!...»

Речь частенько заходила о школе пропагандистов на Капри, которую организовали Горький, Луначарский и другие. Строили планы, намечались лекторы.

**
*

На возвратном пути домой мы почти всегда соблазнялись лангустой, выставленной в окне и заходили в маленький кабачок. А затем шли по пустынному острову в новые места и гулко раздавались наши шаги по спящему Капри, когда подымались куда-то вверх. Эти ночные прогулки были самым интересным временем на Капри. Ян становился блестящ. Критиковал то, что слышал от Луначарского, Горького, представлял их в лицах. Сомневался в затеваемой школе: «пустая затея!» Он видел, что мне нравится Горький, и несколько раз кратко заметил: «Не бросайся на грудь!»

Неожиданно заявил, что мы должны покинуть Капри для Сицилии; надо оставить чемоданы у Горьких, а самим поехать налегке.

На другой день мы покинули Капри. На прощанье Горький говорил:

— Возвращайтесь из Сицилии, скоро Пасха, какие будут процессии на Страстной, не пожалеете, что попали сюда.

3

Прибыв в Неаполь, мы быстро погрузились на парохód в Палермо. Качало. Я рано легла спать, а Ян ходил, обедал, часто заглядывал ко мне. Наутро Палермо. Погода и там была плохая, и портье, дородный высокий мужчина, спокойно говорил, что «старожилы не запомнят такой весны», объясняя это последствием землетрясения. Несколько дней мы осматривали столицу Сицилии, смотрящую на север, в бухте которой никогда не отражаются ни солнце, ни месяц.

Мы восхищались замечательными византийскими мозаиками, испытывали жуткое чувство при виде мумий, лишь едва истлевших в подземелье какого-то монастыря. Особенно жут-

кое впечатление произвела невеста в белом подвенечном платье.

Из Палермо мы отправились в Сиракузы, где впервые поселились на шестом этаже отеля с бесконечным видом на восточное море. Там мы в первый раз увидели папирус. Оттуда поехали в Мессину, где испытали настоящий ужас от того, что сделало землетрясение. Особенно поразила меня уцелевшая стена с портретами, — какой-то домашний уют среди щебня.

**

Вернувшись на Капри, мы опять остановились в «Паганно» и опять чуть ни каждый день завтракали или обедали у Горьких. Луначарских уже не было. Они вернулись в Неаполь. Зато встретили на вилле Спинолла бывшего товарища министра путей сообщения, приятеля первого мужа Марьи Федоровны Желябужского. Это случилось на другой день нашего возвращения. Утром записочка — приглашение к завтраку, с настойчивой просьбой не отказываться: должен завтракать этот самый сановник. Были разосланы гонцы, где могло остановиться такое важное лицо, так как никто не запомнил название отеля. Марья Федоровна волновалась, как-бы товарищ Михаил не задал каверзного вопроса гостю, а Михаил всё приставал к Яну, чтобы тот спросил его что-то о царе.

Иван Алексеевич решил сесть рядом с Михаилом, чтобы удерживать его, охлаждать пыл. Алексей Максимович, как всегда, до завтрака писал, его никогда не было видно по утрам.

Наконец один из гонцов, вручил сановнику записку и передал Марье Федоровне, что согласие получено. Через четверть часа вот и он сам. Маленький, толстый, подтянутый петербуржец с большим твердым лицом, а Горький в кожаной куртке и товарищ Михаил в красной рубашке... Марья Федоровна сразу превратилась в светскую даму, с улыбкой приняла от гостя аршинную коробку самых дорогих конфет и старалась вести беседу, лавируя, когда кто-нибудь вдруг касался острой темы. Товарищ Михаил, сидевший рядом с Яном, не унимался: шептал на ухо, чтобы Иван Алексеевич спросил гостя о царе. Ян, глядя его по плечу, шептал: «Лоретта, Лоретта...» Лоретта — имя попугая, Алексей Максимович любил птиц. У него в тот год было три попугая. Лоретта обладала строптивым характером, часто топорщила перья, и тогда Горький, глядя ее, ласково повторял: «Лоретта, Лоретта», и попугай успокаивался. Хозяин был молчалив, предоставляя Марье Федоровне вести беседу с гостем.

**
*

Без Луначарского можно было и другим поговорить. Я в это пребывание слушала Горького, и он мне нравился. Горький один из редких писателей, который любил литературу больше себя. Литературой он жил, хотя интересовался всеми искусствами и науками, и, конечно, иметь собеседником Ивана Алексеевича (которого он всегда и неизменно до самой смерти ценил, несмотря на полный разрыв их отношений) доставляло ему большое удовольствие, и Горький делал всё, чтобы удержать нас на Капри.

Мы просиживали у них иногда до позднего часа. Возбужденные, как и до Сицилии, заходили в кабачок, лакомились лангустой с капри-бианко и шли по спящему, пустынному острову, куда глаза глядят. Мне иной раз казалось, что мы не в реальной жизни, а в сказочной, особенно, когда мы проходили под какими-то навесами, поднимаясь всё выше и выше, выходя из темноты в лунное сияние. В эти часы велись значительные разговоры. Ян всегда был в ударе. Нужно сказать, что Горький возбуждал его сильно, на многое они смотрели по-разному, но всё же г л а в н о е они любили по-настоящему.

Страстную мы провели на Капри и вместе с Горькими видели процессии с фигурами Христа, Марии-Девы, слушали пасхальную мессу.

На второй день Святой мы отправились в Рим, оставив опять чемоданы у Горьких.

4

Рим встретил нас синим небом, светло-лиловыми глициниями на серых камнях. И мы с девяти часов утра до девяти вечера были на ногах. У меня был с собою «Рим» Золя. Я только что прочла его. И мы подобно его герою прежде всего отправились (как всегда делал Ян) на самую высокую точку города, чтобы иметь представление об общей картине. Остановились мы на Монте Пинчио, в католическом пансионе, где было интересно наблюдать за аббатами, которых мы видели вблизи впервые. Они с какой-то непередаваемой изысканной улыбкой разговаривали с почтенными дамами, вероятно, их духовными дочерьми.

Всю неделю стояла чудная погода. Неделя — слишком малый срок для Рима, и мы, побывав лишь в Сикстинской капелле, решили оставить музеи для следующих приездов. Яна волновала Аппиева дорога, — он больше всех апостолов лю-

бил и чтит Петра, который шел по ней в Рим. Зато город мы изъездили вдоль и поперек; заходили во многие храмы; в одном на всю жизнь поразил Моисей Микель Анжело, — лучшей скульптуры я не знаю. Съездили мы и в Фраскати.

Марья Сергеевна Боткина дала нам письмо к ее семье в Риме. Мы зашли к ним и получили приглашение на обед. В назначенный день мы немного раньше прекратили осмотр города и отправились к ним. Семья состояла из матери, очень почтенной и, видимо, сердечной женщины, и чуть ли ни шести дочерей, которые возвращались домой одна за другой, все в синих костюмах, с длинными жакетами и в больших соломенных шляпах. Все, кроме одной были высокие. Они так походили одна на другую, что я с трудом их различала. Квартира была прекрасная, за обедом подавал лакей-итальянец. Они были очень культурные люди, дали нам много хороших советов, сообщили, что в такой-то день будет в Соборе св. Петра торжественное богослужение — канонизация Жанны д'Арк, и к кому нужно отправиться за билетами. Но у нас не было ни смокинга, ни черного бархатного платья, ни кружевной испанской косынки для головы.

В этот день на площади Св. Петра была густая толпа. Мы всё же проникли в собор. И нам посчастливилось: один французский аббат заговорил со мной и предложил два билета. Я отказывалась, указывая на свой серый костюм и бежевую каприйскую пару Ивана Алексеевича, но он настоял, и мы попали на самые почетные места.

Пройдя с билетами на торжественное богослужение, мы всё же дальше входа не продвинулись, слишком кругом было парадно. На возвышении стояли дамы в бархатных туалетах с прелестными кружевными косынками на головах и мужчины в визитках.

Сбоку, как раз против нас, в несколько рядов восседали в креслах с высокими спинками кардиналы в парадных одеяниях. И каждое лицо повествовало, — до того оно было значительно и не похоже на других. Орган и папская капелла в два хора с высокими голосами были выше похвал. Мы стояли зачарованные.

После окончания богослужения мы очутились посредине храма. Наш знакомый аббат опять предложил мне билеты, чтобы на следующий день присутствовать на аудиенции и получить папское благословение. Мне хотелось увидеть Папу и всю эту церемонию, но Ян воспротивился: мы должны завтра подняться в купол Св. Петра и оттуда обозреть Рим и прилегаю-

щие к нему окрестности, а послезавтра мы уже покидаем этот город. И мы отказались.

На следующее утро мы побывали в замке Ангела. Позавтракав на площади Св. Петра, мы медленно стали подниматься по широкой каменной лестнице, — лифта в тот год еще в соборе не было. На каждой площадке мы останавливались, отдыхали, смотрели на открывавшуюся перед нами всё шире и шире страну и всё глубже и глубже удаляющийся от нас Рим. Высота купола 138 метров. Ян поднялся во внутрь его.

Погода всю неделю стояла безупречная. И никогда не забыть мне синего римского неба, бледно-лиловых глициний на серых камнях развалин, красивых женских лиц с огненными глазами и певучую римскую речь. Не из одного города так не хотелось мне уезжать, как тогда из Рима, — уж очень он нас гостеприимно принял. Ян утешал:

— Еще не раз приедем сюда. И увидим пропущенное.

Так оно и случилось.

5

Вернувшись на Капри, мы узнали, что у Марьи Федоровны была небольшая операция, которую она перенесла мужественно, но с большой печалью, — рухнула надежда иметь ребенка от Алексея Максимовича, который, по рассказам, сильно волновался. Операция происходила на дому.

Последнее наше пребывание на Капри было тихое, мы продолжали почти ежедневно бывать у Горьких. Иногда втроем — писатели и я — гуляли. Они часто говорили о Толстом, иногда не соглашались, хотя оба считали его великим, но такой глубокой и беззаветной любви, какая была у Ивана Алексеевича, я у Горького не чувствовала. Алексей Максимович рассказывал о пребывании Льва Николаевича в Крыму, в имении графини Паниной, в дни, когда боялись, что Толстой не перенесет болезни, и о том, как один раз взволнованная Саша Толстая верхом прискакала к нему о чем-то посоветоваться. Вспоминал он, как однажды видел Льва Николаевича издали, когда тот сидел в одиночестве на берегу:

— Настоящий хозяин! — повторял он, — настоящий хозяин!

Потом, улыбнувшись, сказал: «Если бы я был Богом, то сделал бы себе кольцо, в которое вставил бы Капри!»

Мне нравилась его речь. Как-то он зашел к нам в Пагано. Я была не совсем здорова и лежала за ширмами на кровати.

Алексей Максимович с Яном вели беседу, вернее, почти всё время говорил Горький. Я слушала его речь, мне хотелось определить на что она похожа, казалось, на журчание воды. Она то повышалась, то понижалась, была выразительна, несмотря на однообразие тона. Так он и читал: как будто однообразно, а между тем очень выразительно, выделяя главное, особенно это поражало при его чтении пьес.

Атмосфера, как я уже упомянула, в те дни в их доме была легкая. Марью Федоровну он называл «Хозяйкой» или «Марья». Дела «Знания» шли еще удовлетворительно, несмотря на «Шиповник», на измену Андреева, о котором он говорил без злобы. Сообщил, что в его «Иуде» он отметил ему чуть не сорок ошибок.

Когда вспоминал сына, всегда плакал, но плакал он и глядя на тарантеллу, или слушая стихи Яна.

Пил он всегда из очень высокого стакана, не отрываясь, до дна. Сколько бы ни выпил, никогда не пьянел. Кроме асти на праздниках, он пил за столом только французское вино, хотя местные вина можно было доставать замечательные. В еде был умерен, жадности к чему-либо я у него не замечала. Одевался просто, но с неким щегольством, всё на нем было перво-сортное. В пиджачной паре я видела его позднее, когда он бывал с нами в Неаполе, а на Капри он носил всегда темные брюки, белую фланелевую рубашку, шведскую кожаную светло-коричневую куртку, а на ногах темные шерстяные или шелковые носки, мягкие туфли. Любил он свою широкополую черную шляпу.

За столом Марья Федоровна, сидевшая рядом с ним, не позволяла ему буквально ничего делать, даже чистила для него грушу, что мне не нравилось, и я дала себе слово, что у нас в доме ничего подобного не будет, тем более, что она делала это не просто, а показывая, что ему, великому писателю, нужно с л у ж и т ь. Раз она спросила меня:

— Сколько лет вы служите Ивану Алексеевичу?

Меня это так удивило и даже рассердило, что я ничего не ответила.

**
*:

Мы решили возвращаться морем на итальянском пароходе, который до Одессы шел две недели и был дешевле других. И это плаванье на «итальянце» было необыкновенно удачным и приятным. Провожали нас до Гранда Марина все обитатели виллы Спинолла, кроме Марьи Федоровны, — она была еще

слаба. Когда мы отчалили, то увидели, как Горький легко перескакивает с камня на камень. Ян заметил:

— А какая у него осторожная походка! Но он изящен!

**
*

Мы в это утро побывали в Помпее. Осмотрели, что полагается. Поразили нас очень глубокие колеи при входе в этот мертвый город. В 1916 году 28 августа Бунин написал сонет «Помпея».

Помпея, сколько раз я проходил
По этим переулкам! Но Помпея
Казалась мне скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.

Я ль виноват, что всё позабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!

Я помню только древние следы,
Протертые колесами в воротах.
Туман долин. Везувий и сады.

Была весна. Как мед в незримых сотах
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.

После беглого осмотра Помпеи, мы завтракали в ближайшем ресторане, и Ян стал говорить, что он хотел бы написать рассказ об актере, очень знаменитом, всем пресыщенном, съевшем за жизнь большое количество майонеза и под конец своих дней попавшем в Помпею, и как ему уже всё безразлично, надоело. Рассказа он этого не написал, но в тот полдень он передал его мне живо, с тонкими подробностями.

Из Помпеи мы, захватив на набережной чемоданы, отправились на пароход.

В. Н. Муромцева-Бунина

М. А. АЛДАНОВ

В молодости он был внешне элегантен, от него веяло каким-то подлинным благородством и аристократизмом. В Париже, в начале тридцатых годов, М. А. Алданов был такой: выше среднего роста, правильные, приятные черты лица, черные волосы с пробором набок, «европейские», коротко подстриженные щеточкой усы. Внимательные, немного грустные глаза прямо, как то даже упорно глядели на собеседника... С годами внешнее изящество стало исчезать. Волосы побелели и как-то спутались, появилась полнота, одышка, мелкие недомогания. Но внутренний, духовный аристократизм Алданова оставался, ум работал строго, с беспощадной логикой, и при всей мягкости и деликатности его характера — бескомпромиссно. Алданов больше всего на свете боялся кого-нибудь обидеть или задеть, но когда речь шла о принципах — всегда занимал твердую и совершенно определенную позицию.

Чем ближе человек, чем лучше его знаешь, тем труднее о нем писать. Именно это затруднение испытал я, решив написать об Алданове. Знакомство наше и дружба охватывают длительный, тридцатилетний период. Были годы, когда мы встречались в редакции ежедневно, работали в одной и той же комнате, за двумя соседними столами. Последние 10-12 лет, которые Марк Александрович провел во Франции, между нами шла регулярная переписка. И, в конце концов, когда наступило время спросить себя, — какой же это был человек? — оказалось, что труднее всего писать об Алданове, — многое в его характере представляется загадочным и непонятым.

У него была своя высокая мораль и своя собственная религия, — слово это как то не подходит к абсолютному агностику, каким был Алданов. Очень трудно объяснить, во что именно он верил. Был он далек от всякой мистики, религию в общепринятом смысле отрицал. Не верил, фактически, ни во что: ни в человеческий разум, ни в прогресс, и меньше всего скло-

*) Глава из готовящейся к печати книги «Далекие, близкие».

нен был верить в мудрость государственных людей, о которых, за редкими исключениями, был невысокого мнения. Химик по образованию и автор нескольких научных трудов, он и к науке подходил с большой осторожностью, — слишком хорошо знал историю цивилизации.

В основе человеческой и писательской морали Алданова лежали некоторые непреложные истины. Он очень хорошо отличал белое от черного, добро от зла; из всех своих законов уважал, вероятно, только Десять Заповедей.

В характере Алданова более всего чувствовался пессимизм, который с годами усиливался и придавал его жизни какой-то особенно безнадежный и грустный характер. Работая, например, над романом, он всегда был убежден, что издателя не найдет, а если книга, все-таки, будет выпущена — никто ее не станет покупать. И когда издатель, конечно, находился, писал друзьям:

«Осенью у Скрибнера выйдут «Истоки» — в материальном отношении это, разумеется, будет провал: кого в Америке могут интересовать народовольцы, Александр II и даже западно-европейские знаменитости семидесятых годов! Боюсь, что после того, как Скрибнер впервые доложит на мне деньги, нельзя будет и предлагать ему другие мои книги».

Или о своем романе «Живи как хочешь»:

«Мысли романа пополняются и разъясняются пьесами (и легендой), и все это вместе, боюсь, скучновато. Уж наверно будет встречено враждебно критикой, а может быть и насмешливо. Бунин мне не раз говорил, как для него «нестерпимо каждые два года держать экзамен у критиков». Я не так этого боюсь, но заранее предвкушаю эту сотню рецензий, которые мне придет бюро вырезок и из которых две трети будут пренебрежительны».

Замечательно, что пессимисты удавались Алданову лучше всего.

Чем-то Марк Александрович напоминал мне чеховского героя, который, что бы не случилось, тяжело вздыхал и говорил: — Ох, не к добру это, не к добру!

Чуть ли не с молодых лет Алданов уже любил говорить о старости, о воображаемых болезнях, о неизбежной нищете и неизменно заканчивал вздохом:

— Помните, что для каждого из нас уже заготовлена койка в Армии Спасения!

По правде говоря, жил Алданов в такую эпоху, когда для пессимизма имелось сколько угодно оснований... «В вашей ста-

тье, писал он мне в ноябре 56 года, Вы по моему преувеличили мой пессимизм. В молодости, до революции, я был даже слишком жизнерадостным человеком. Ну, а в последние десятилетия жизнь, особенно политические события, не часто давали нам основания для радости. Кто прав — пессимисты или оптимисты — покажет будущее и даже не столь близкое. Но уж во всяком случае я о себе сказал чистую правду: «Политика внушает мне все большее отвращение».

Несмотря на это «отвращение» политикой интересовался он необычайно, всегда читал несколько газет в день, но, действительно, от какой бы то ни было активной политической работы упорно уклонялся. Формально числился он в партии народных социалистов, ничего общего с социализмом не имея; вероятно избрал эту партию потому, что из всех левых группировок она была наименее заметной и менее активной. Это постоянно давало повод к шуткам. Помню, как однажды Марк Александрович поспорил в редакции с М. В. Вишняком, который в пылу полемики довольно язвительно отозвался о народных социалистах. Алданов спокойно, но не менее ядовито ответил:

— Мы — что! Мы партия маленькая... А вот вас, эсеров, в Париже — двенадцать человек!

Может быть, отталкивание Алданова от политики происходило потому, что он подходил к ней с точки зрения историка, хорошо зная неприглядную сторону многих исторических событий; «Философию случая» в истории Алданов очень обстоятельно продумал и, в частности, был глубоко убежден, что исторический переворот Девятого Термидора произвели четыре мерзавца, спасавшие свою жизнь и свои выгоды и не имевшие вообще никакой идеи.

В моих бумагах сохранилась запись, сделанная в 28-м или в 30-м году. Мы сидели в кафэ «Режанс» на площади Палэ Рояль и я рассказывал Марку Александровичу, как незадолго до этого был у историка французской революции Олара. «Девятое Термидора» Алданова к тому времени уже вышло по-французски, Олар прочел роман и сердито сказал, что это памфлет на Великую Революцию, и что понять ее может только тот, кто ее любит... Отзвывая Алданова задел, — Олара за его великую ученость и труды он почитал.

— Разумеется, сказал мне Марк Александрович, памфлетные цели были от меня далеки. Олар говорит, что понять Французскую Революцию может только тот, кто ее любит. Если это верно, в чем я сильно сомневаюсь, то я действительно не

могу претендовать на понимание Французской Революции, так как большой любви к ней не чувствую: я имею, конечно, в виду жизненную правду революции, ее быт, а не идеи Декларации Прав Человека и Гражданина. Быт же Французской Революции не так сильно отличается от быта революции русской, которую я в 17-18 гг. видел в Петербурге вблизи; в этом наше преимущество перед проф. Оларом... Не так высок был и средний уровень, умственный и моральный, людей 1793 года. Русские исторические деятели, не только самые крупные, как Суворов, Пален или Безбородко, но и многие другие, стояли, по-моему, в этом отношении выше...»

**
*

В Алданове многое поражало. Он был, например, очень застенчивым и, я бы сказал, целомудренным человеком, — любовные эпизоды в его романах редки; автор прибегал к ним только в крайней необходимости и они всегда носили «схематический» характер. Бунин с наслаждением писал «Темные Аллеи». Алданов наготу свою тщательно прикрывал и это не только в писаниях, но и в личной жизни: очень недолюбливал скабрезные разговоры и избегал принимать в них участие.

Было в нем и другое, вызывавшее во мне удивление. На любой странице Алданова можно найти умные, замечательные мысли, — у него была особая способность подобрать нужную и интересную цитату, афоризм, исторический анекдот, и громадной своей эрудицией он пользовался непрестанно. Но все эти необыкновенные запасы из «кладовой писателя» он ревниво берег для своих книг. В разговоре же и в переписке с друзьями Марк Александрович эрудиции избегал, — писал просто, о вещах самых обыкновенных и житейских, любил узнавать новости, сам о них охотно сообщал, расспрашивал о здоровьи, — был он очень мнительным и вечно боялся обнаружить у себя какую-нибудь «страшную болезнь». Из-за этого не любил обращаться к врачам, но охотно беседовал с больными, расспрашивал и, видимо, искал у себя «симптомы». Так, совершенно серьезно, в 47 году он писал А. А. Полякову:

«Теперь благополучно вернулся в Ниццу. Впрочем, лишь относительно благополучно: в последние дни парижского житья у меня воспалился и распух левый глаз. Ехал забинтованный, — надеюсь, что соседи в купэ принимали меня за героя «Резистанса», которого немцы подвергли пыткам, — но что,

если они думали: «трахома или сифилис?» Теперь немного лучше».

Франклин Д. Рузвельт в свое время призывал дать человечеству «четыре свободы», — в частности освободить людей от страха войны и страха нужды. Алданов от этих страхов никогда не был свободен. Призрак надвигающейся новой войны пугал его давно, он пережил две войны и каждая из них была для него, помимо общечеловеческой, и личной трагедией. В начале 50 года Алданов писал мне:

«В С. Штатах все, кажется, считают войну неизбежной. Я недавно считал «фифти-фифти», но с каждым днем опасность войны становится все более реальной. Одно дело считать войну почти неизбежной, и совершенно другое дело желать ее. Теперь положение может стать (может, конечно, и не стать) катастрофическим в любой день. Думаю, что тогда делать? Даже с визой в С. Штаты уехать тогда будет невозможно: все пароходы и аэропланы будут реквизированы для американских граждан, а мы с Т. М. апатриды. Тогда надо было бы уехать в Нью Йорк окружным путем, через Испанию, Египет, Палестину или Алжир. Но забавно и печально, что и туда мне транзитной визы не дадут; в Испанию, так как я либерал и анти-франкист, в Египет, так как я европеец и еврей (они всех европейцев теперь люто ненавидят), в Алжир, так как я апатрид, а в Палестину, так как я никогда не был ни сионистом, ни общественным деятелем. В Палестину все же дали бы, — я «сгущаю краски». Впрочем, все же надеюсь, что в 50-51 году войны не будет».

К этому вопросу возвращался он в своих письмах непрерывно. Другая тема, его очень волновавшая, была материальная необеспеченность. Алданов вечно, буквально в каждом письме хлопотавший перед Литературным Фондом о помощи для своих нуждающихся друзей-писателей, сам за свою жизнь ни у кого не получил ни одного доллара, не заработанного им литературным трудом. Правда, книги его перевели на 20 с лишним языков, отрывок из романа или очерк за подписью Алданова был украшением для любого журнала, но платили издатель плохо и заработков с трудом хватало на очень скромную жизнь. Поэтому-то, главным образом, и прожил он последние десять лет в Ницце. Там было тихо, меньше друзей и знакомых и, следовательно, больше времени для работы, но, что было особенно существенно, можно было прожить на скромные заработки... Переводили его на иностранные языки много и охотно, но иногда случались недоразумения. Как-то Алданов явил-

ся на наше свидание очень озабоченный: от одного шведского издателя пришло предложение выпустить его роман «Чортов Ключ».

— Как вы думаете, растерянно спрашивал М. А., что он имел в виду: «Чортов Мост» или Ключ?»

«В мои годы, писал он в 47 году из Ниццы, нельзя быть совершенно здоровым во всех отношениях. Во всяком случае, работоспособность не понижается. Так как знакомых здесь чрезвычайно мало, то я работаю, как в Нью-Йорке или в Париже работать не мог. Это одна из многих причин, почему я еще не вернулся. Все же по Нью-Йорку и нью-йоркцам о ч е н ь скучаю. По парижанам, кроме родных и еще десятка человек, скучаю меньше.

В Париже особенно неприятных встреч у меня не было. Была одна случайная встреча с Б. и еще две или три с другими, точно таких же: случайных и продолжавшихся весьма недолго. Дон Аминадо, чтобы никого не встретить, вообще никуда не ходит, а когда Надежда Михайловна ему говорит: «А сегодня я встретила...», он мрачно ее обрывает: «Т ы н и к о г о не встретила». Мы с ним за все время встречались два раза. Правда, беседовали оба раза часа по полтора и отводили душу».

«Да, я к январю надеюсь быть в Нью-Йорке, хотя мне там делать нечего... В сущности, мне нужно только два поговорить с издателем, выпить с ним по бокалу виски — и выхлопотать себе либо работу в С. Штатах (на что я надежды не имею), либо новую визу в Европу: здесь жизнь много дешевле, по крайней мере в Ницце, а работаю я тут много, так как никто не мешает. С другой стороны, если бы у меня было 4-5 тысяч долларов заработка, то я без колебания вернулся бы в Нью-Йорк совсем: причины объяснить не надо. К сожалению, за год пребывания в Европе заработал от продажи моих книг полторы тысячи долларов. На это в Америке не проживешь. Не проживешь даже в Ницце. Лучше всего во всех отношениях было бы «фэр ла наветт» между Америкой и Францией. В глубине души я на это именно и надеюсь, так как без Франции и Европы мне все-таки трудно жить, а Америка, которую я люблю, это якорь спасения, да и кроме того почти единственный источник заработков».

За год до этого он писал:

«Прежде всего скажу, что по моему вы прекрасно сделали, найдя для себя дополнительный «джоб». Надеюсь, писать он Вам не помешает, а в самом деле надо иметь более обеспечен-

ный кусок хлеба, чем тот, который дает эмигрантская литература. А вот то, что вы решились вдобавок держать экзамен и выдержали его, это прямо — подвиг, — говорю совершенно серьезно. У меня на это энергии не хватило бы.

Я не возвращаюсь в С. Штаты в ближайшее время именно потому, что не имею никакого дополнительного «джоба», который бы обеспечивал хотя бы часть моего бюджета. Если бы мне предложили такой, то я вернулся бы тотчас без всякого колебания, ибо по тысяче причин в Нью Йорке лучше и бытовая обстановка, и особенно моральная. Но что же мне делать? Я и до последнего вздорожания жизни, при скудном укладе, проживал пятьсот долларов в месяц. Теперь и Вы, и другие нью йоркцы, и особенно газеты сообщают, что цены в Америке бешено поднялись, что начинается кризис и т.д. А я и раньше не знал, как зарабатывать то, что проживал. «Бук оф зи Монс» бывает у писателя раз в жизни. Вместе с тем в Париже, помимо моральных условий, мне жить невозможно прежде всего потому, что квартиру достать нельзя, или надо заплатить 300-400 тысяч франков отступного за две-три плохих комнаты! Право, не знаю, что мне делать. Я никогда в жизни в таком странном и неопределенном положении не был».

«...Очень забавно, что вы пишете о Ди-Пи и об юбилеях. Я получил приглашение участвовать в чествовании Х... Не думал, что это чествование дало ему 2.000 долларов (много больше, чем в свое время Бунину). Вот когда я впаду в детство, Вы, по своей доброте, устройте юбилей Алданова, благо он единственный из писателей-романистов и политических людей, отроду не устраивавших себе юбилеев. Но это только п о с л е кондрашки. До того как-нибудь проживу».

**
*

Юбилей Алданова все же состоялся до того, как он «впал в детство», но в отличие от многих других чествований ничего кроме славы юбиляру не принес, — ни о каких сборах, конечно, не могло быть и речи. 7 ноября 1956 года М. А. Алданову исполнилось 70 лет. Повидимому кое-какие слухи о предстоящем чествовании до него дошли, потому что он в панике написал письма друзьям в Париж и Нью-Йорк, умоляя отказаться от «публичного чествования» и от устройства вечеров. Но то, что газеты посвятили ему множество статей было, повидимому, Алданову приятно. Вдруг наглядно обнаружилось всеобщее признание его писательского таланта и его человеческих качеств.

Нечего греха таить, — к двум или трем представителям «пишущей братии» М. А. Алданов относился сдержанно и был убежден, что они его «не признают». И вдруг оказалось, что и эти люди Алданова полностью признали, статьи их носили в высшей степени хвалебный характер и Марк Александрович долго не мог прийти в себя от приятного удивления. С обычной своей вежливостью и добросовестностью он потом добрый месяц сидел и выстукивал на машинке благодарственные письма, благодарил каждого в отдельности, а статей и поздравительных писем получил он тогда великое множество.

Жизнь Алданова была заполнена непрерывным и тщательным трудом, — я не знаю другого русского писателя в эмиграции, который так трудился бы над своими книгами, столько прочел и так был осведомлен в самых разнообразных областях, как Алданов. Оставил он после себя два десятка томов, в которых писатель сочетает в себе качества философа, историка и художника. Романы Алданова, по существу, это громадная галерея исторических портретов: Робеспьер и Наполеон, Сперанский и Суворов, Микельанджело и Бетховен, Достоевский и Желябов, Ленин и Троцкий, — множество досконально изученных исторических персонажей. И рядом — люди повседневные, мрачно философствующие, умные старики, пошловатые Кременецкие, журналисты типа Дон Педро, женщины фатальные и прелестные в своей холодноватой пустоте. Какой громадный, удивительный писательский диапазон!

Алданов был прежде всего мастером исторического портрета, — русская литература не знала до него подобного историка-эссеиста. Некоторыми историческими персонажами Алданов явно восхищался; можно не сомневаться, с какими чувствами писал он о Сталине, Урицком или Ленине.*) Кое-кого из знаменитых современников встречал или видел, — у него была жилка настоящего журналиста-репортера, но особенной бли-

*) Во время печатания его романа «Самоубийство» в «Новом Русском Слове» я, между прочим, писал Алданову, что некоторые Ди-Пи находят его изображение Ленина слишком человеческим. Алданов поторопился ответить: «Неужели Ди-Пи серьезно усмотрели симпатию к Ленину в моем романе?! Мне незачем Вам говорить, что я его ненавижу, как ненавидел всю жизнь, — нисколько не меньше. Того же, что он был выдающийся человек, никогда не отрицал. И, разумеется, не я один, — говорю только о крайних антибольшевиках, таких же, как мы с Вами. И из всех персонажей «Самоубийства» он изображен наиболее отрицательно» (Письмо от 14 января 57 г.).

зости с ними не искал, в особенности если принадлежали они к категории «злодеев». Мог писать о них и на основании одних документов и свидетельских показаний, как это делал близкий ему по духу французский писатель и историк Ленотр. Личный контакт для этого с Лениным или Троцким ему был не нужен.

В связи с этой особенностью характера Алданова мне вспоминается один эпизод из его жизни, происшедший в тридцатых годах, в Париже.

Хоронили старого революционера О. С. Минора. Катафалк с гробом свернул на широкую аллею кладбища и провожавшие растянулись, шли вразбивку, кто по мостовой, кто по тротуару. И, как всегда бывает в таких случаях, говорили больше о вещах посторонних. Мы с Марком Александровичем прибавили ходу и обогнали какого-то низкорослого человека. Он шел один, немного в стороне, сутулясь. Находу промелькнуло скуластое лицо со вздернутым носом и большой, широкий шрам на правой щеке. Лицо показалось мне знакомым. Собственно, узнал я этого человека по шраму.

Это был «батько» Махно. Познакомил меня с ним О. С. Минор, — чистейший человек, считавший, что «батько» был идейным анархистом. Минор, не терпевший несправедливости в какой бы то ни было форме, пытался одно время Махно реабилитировать.

Мое знакомство с Махно, собственно говоря, и состоялось в целях реабилитации. Батько оказался человеком приветливым и разговорчивым. Своих пышных усов времен Гуляй-Поля он уже не носил, лицо было бритое, простоватое, — скажем, лицо сельского учителя с Украины, которому очень пошла бы вышитая рубашка. Только глаза поразили меня своим умом и необычайной живостью. Он был уже в это время болен туберкулезом, говорил глуховатым, сиплым голосом, и часто покашливал.

Мы встретились два или три раза. Он хотел писать свои мемуары и просил меня о помощи, — Махно страдал от мысли, что войдет в историю гражданской войны с репутацией бандита. Он начал мне объяснять, как вел среди своей вольницы борьбу с погромами, что в штабе его были настоящие идейные анархисты. Вся беда заключалась в том, что бандиты упорно называли себя махновцами... Помню, особенно поразил меня рассказ о том, как однажды, на митинге, в присутствии тысячной толпы, он своими руками застрелил одного из соратников, который признался, что бросал евреев в топку локомотива, — способ этот, очевидно, существовал и до Гитлера... Почему-то

я решил, что широкий шрам на щеке — след удара шашкой, но Махно сказал, что нет, это была немецкая пуля, разорвавшая рикошетом лицо в «империалистическую» войну. Он любил такие слова, считал себя идейным пролетарием и я получил от него несколько писем, неизменно начинавшихся со странного в эмигрантском Париже обращения:

— Гражданин Седых!

Письма эти, к сожалению, пропали с частью моего архива при бегстве из Парижа в 1940 году.

Из сотрудничества по линии мемуаров ничего не вышло, так как Махно, видимо, почувствовал, что до конца в его идейность я не верю. И вот теперь, после долгого перерыва, я встретил его на похоронах О. С. Минора. Решив поразить Алданова, я спросил его, словно речь шла о самом обыкновенном человеке:

— Это «батько» Махно. Хотите, я вас познакомлю?

Марк Александрович как-то растерялся. Для писателя, да еще для автора «Портретов», знакомство было соблазнительным. Но что-то смущало Алданова:

— Видите ли, — не без колебания сказал он, — при знакомстве надо подать руку. А мне, все-таки, этого не хотелось бы делать.

Я рассказал Алданову, как однажды П. Н. Милюков при мне, в редакции «Последних Новостей», подал руку матерому чекисту Агабекову. Когда я потом спросил Милюкова, как он мог это сделать, Павел Николаевич, вообще не очень склонный к юмору, ответил:

— Если бы вы знали, каким только мерзавцам мне приходилось в жизни подавать руку!

Ссылка на Милюкова вполне убедила Алданова, — прецедент был явно установлен. Я подвел его к «батьке» и представил. В последний момент Марк Александрович сделал какой-то неопределенный жест, поднес руку к шее, словно прося прощения за то, что простужен и пожать руку не может. Мы пошли вместе до конца аллеи. Алданов мысленно «фотографировал» и знакомством остался очень доволен... Больше Махно я уже никогда не встречал. Знаю, что он малярствовал и вскоре умер от туберкулеза под Парижем, в большой нужде.

**
*

Есть такое советское выражение: «лаборатория писателя».

Так вот, много лет проработав с Алдановым в одной редакции, я никогда в «лабораторию» его не проник. Та работа,

которую в течение нескольких лет он выполнял в «Последних Новостях», была работой чисто журналистической и, собственно, к писательству никакого отношения не имела. Беллетристики или очерков своих он на людях никогда, конечно, не писал, а приносил в редакцию уже готовую рукопись, написанную на машинке, на листах большого формата. Судя по многочисленным поправкам, сделанным мелким, бисерным почерком, процесс писания был кропотливым и рукопись подвергалась тщательной обработке. Марк Александрович и не скрывал этого, — он всегда с удивлением наблюдал, как некоторые сотрудники газеты писали свои статьи в редакции, прямо набело и тут же отдавали их в набор. Алдановские рукописи переписывались и подвергались новым исправлениям, иногда уже в набранном виде. Да это и не могло быть иначе, — самый придирчивый критик никогда не находил в романах Алданова сколько-нибудь серьезных погрешностей против фактов или языка. Алданов не писал наспех и каждую фразу тщательно отделявал, — твердо помнил совет Чехова о том, что искусство писания заключается в искусстве вычеркивания.

В те годы, когда он жил в Ницце, а отрывки из своих романов или очерков печатал в «Новом Русском Слове», он постоянно, вдогонку за рукописью, писал М. Е. Вейнбауму или А. А. Полякову просьбы о дополнительных поправках, иногда казавшихся со стороны незначительными, — для Алданова незначительных поправок не было. Только И. А. Бунин еще ревнивее относился к своим рукописям, требуя строжайшей корректуры и точного соблюдения авторского синтаксиса.

Вот характерная для Алданова выписка из его общего письма к А. А. Полякову и ко мне от 12 сентября 1956 года:

«Очевидно, корректуры получить нельзя? Разумеется, если бы вы мне послали набор (рукописи не нужно было бы), я вернул бы его через день воздушной почтой. Ну, что ж делать? Нельзя — так нельзя. Прошу Вас умолить корректора читать корректуру внимательно. Я сам бы написал ему, но не знаю, кто теперь корректор? Очень, очень прошу. Из всех неприятных ошибок самые неприятные, это если делается абзац там, где не нужно, или не делается там, где нужно. На всякий случай (Вы верно улыбнетесь) напоминаю, что значок **Z** у меня означает: с новой строки. Но я его поставил только там, где у наборщиков могут быть сомнения. В громадном же большинстве случаев это совершенно ясно из вида рукописи, — так же ясно, как ясны абзацы в этом письме.

Не всегда это помогало: опечатки все же случались. И Алданов в отчаянии писал А. А. Полякову:

«Корректурa очень хорошая, но есть несколько ошибок, из них две или три неприятные. Вопреки своему обыкновению, хочу просить Вас напечатать нижеследующее исправление: на эти ошибки могут обратить внимание письменно Ваши читатели, а может ухватиться и какая-нибудь другая газета: г. Алданов, мол, не знает, что епископ называется «Ваше Преосвященство», а никак не «Ваше Превосходительство» или г. Алданов не знает, что Стендаль уже умер в 1847 году. Может быть, даже уже кто-либо Вам написал или сказал? А у меня, не скрою, нервы в очень плохом состоянии. Казалось бы, при нынешних событиях можно было хоть на пустяки махнуть рукой, — не могу и этого. В С Е расстраивает. Вместе с физическим здоровьем расстраивается видно у людей и душевное...»

**
*

Кто это сказал: «Книга готова. Остается только ее написать»? Как ни парадоксально звучит эта фраза, ее очень легко применить к Алданову, хотя самый процесс писания давался ему не легко. Перед тем, как начать исторический роман, Алданов обычно проделывал громадную и очень добросовестную работу по подбору нужных материалов и документов. Я помню его в период работы над «Девятым Термидором» и «Чортовым Мостом». Ежедневно Марка Александровича можно было видеть в парижской Национальной Библиотеке, где он проводил послеполуденные часы за чтением старинных и редких книг. Время от времени мелким бисерным почерком он делал заметки на плотных листах белой бумаги. Затем снова принимался за чтение. После «Ульмской Ночи», в ответ на очень лестный отзыв о книге, он написал:

«Признаю за собой тут только заслугу большой работы, — я работал над этой книгой, над изучением литературы, несколько лет. Да и теперь не думаю, чтобы книга могла иметь успех, — разве когда-нибудь уже после моей смерти».

Алданов все прочел и все запомнил. Не знаю, впрочем, так ли уж феноменально была развита у него память, но основательная записная книжка такому писателю нужна. Толстой клал на ночь под подушку тетрадь и карандаш, — вдруг проснется среди ночи, придет мысль в голову, которую нужно сразу записать, а потом, к утру, забудется... Как же поступал Алданов? В одной только (десятой) главе романа «Живи как

хочешь» Дюмлер в разговоре с Яценко цитирует Сократа, Вальтер Скотта, учеников Сократа, Экклезиаста, Бергсона, Наполеона, Луизу Мишель, генерала Скобелева, Линкольна, Мамонтова, Вирджинию Вульф, герцогиню д'Юзес и Данте. Без записной книжки тут не обойтись и самое замечательное это то, что книжки этой никто не видел: в лабораторию писателя посторонние лица не допускались.

В жизни Марк Александрович был человеком необыкновенно простым, любознательным, приветливым и отзывчивым. Все смешное и уродливое в людях подмечал мгновенно, но никогда этого не показывал. Говорил он тихо, без цитат и заранее подготовленных эффектных фраз. Спорить не любил, всегда готов был замолчать и дать высказаться другому. Для русских писателей, обычно любящих говорить и не умеющих слушать, это качество огромное, а мне всегда казалось, что слушал он других охотнее, чем говорил. И в этом, между прочим, сказывался «европеизм» Алданова.

Был вежлив, в меру радовался и в меру огорчался за своих друзей, — но тоже не слишком; некоторых любил по-настоящему, но до конца ни с кем не сближался, — я не знаю человека, с которым Марк Александрович был на «ты».. По-настоящему из писательской среды любил только Бунина, который сыграл большую роль даже в литературных вкусах и взглядах Алданова. Оба превыше всех ставили Толстого и Чехова; оба не любили Достоевского, не признавали символистов. Бунин ставил Кольцова неизмеримо выше Есенина и Блока, которых вообще попросту ненавидел; Алданов поэзию не любил, — о Блоке и его «Двенадцати» отзывался он даже без своей обычной сдержанности. Л. Сабанеев, сблизившийся с Алдановым в последний, ниццкий период его жизни, очень правильно определил Марка Александровича, как «литературного старообрядца».

Европеизм Алданова сказывался решительно во всем: держал слово, не опаздывал на свидания, любил порядок, аккуратно отвечал на все письма, неизменно благодарил за поздравления и за любезные отзывы о книгах. Больше всего он опасался «экзотики» и в писательстве, и в своей личной жизни. С именем Алданова нельзя связать никаких бурных переживаний. Он никогда не умирал с голоду, не пил запоем, не проигрывал в карты, не закладывал в ломбарде юбок жены Татьяны Марковны, верной своей сотрудницы и превосходной переводчицы... По правде говоря, с точки зрения писательской биографии есть в этом некое упущение:

Страшен жребий русского поэта
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

Ничего этого, к счастью, в жизни Алданова не произошло. Достаточно было и «нормальных» катастроф, выпавших на долю нашего поколения. Все же мне временами казалось, что в молодые годы он пытался придать своей, уже прочно установившейся джентльменской репутации, некую богемистую окраску, без особенного, впрочем, успеха. Был, например, период, когда Алданов любил сидеть в кафэ перед рюмкой аперитива и, вероятно, в душе жалел, что во Франции к этому времени запретили абсент. Абсент был бы, конечно, более богемистым напитком, чем порто со льдом. Одно лето, это было в 33 или 34 году, прожили мы вместе на курорте Виши, где болезни печени лечат строгим режимом и питьем минеральной воды в микроскопических дозах. Алданов выпивал со страдальческим видом два положенных ему глотка тепловатой и довольно противной на вкус воды и говорил:

— Ну, а теперь нужно пойти поскорее запить это аперитивом!

Потом и это прошло, с годами в нашей компании литераторов многие начали переходить на режим, и тут было уже не до аперитивов: все, или почти все положенное было уже, выражаясь языком кавалеристов, давно выпито. Осталась только привычка ходить в кафэ, — Марк Александрович всерьез уверял меня, что в кафэ он ходит не меньше трех раз в день и всегда «пьет». Не знаю, мне казалось, что заказывал он больше кофе, но, случалось выпивал рюмку или две вина и довольно быстро хмелел, но тоже как-то особенно «вежливо», без преувеличений, — пил он только для хорошего настроения и тогда становился более оживленным и более разговорчивым.

К концу вишийского сезона я познакомил Алданова с труппой русских лилипутов, игравших в местном театре, — они рассказывали разные случаи из своей бродячей жизни и почему-то особенно запомнился рассказ одного из них о том, как в него влюбилась великанша. Это Алданова интересовало. Позже он встретил у меня в доме, уже в Нью-Йорке, жонглера Труцци, отпрыска династии великих цирковых артистов и стал бывать у него за кулисами в Мэдисон Сквер Гарден, даже поехал на несколько дней во Флориду, где цирк зимовал. Из Флориды вернулся он в Нью Йорк довольный, почти счастливый, и вдруг

прочел в газете, что сотня артистов цирка, которые ели в том же ресторане, куда ходил и он, отравились пищей. Страшно встревожился и спрашивал:

— А что, если бы это случилось со мной?

В это время он собирал материалы для «Истоков». Из знакомства с цирковыми людьми родилась Кателина Диабелли, Карло и клоун Альфредо, он же Алексей Иванович Рыжиков.

Но вернемся к лилипутам... Днем мы обычно отправлялись ловить рыбу на реке Аллье, а потом на берегу устраивали привал, раскладывали костер, варили уху или жарили шашлык. Алданов как-то попросил взять его с собой. Мы зашли в магазин, приобрели для него удочку и все рыболовное снаряжение. Марк Александрович заплатил за удочку сотню франков и тихонько вздохнул — для писательского его кармана это были деньги не малые.

Сели в лодку, выгребли на середину реки. На лодке катались мы часто, — Марк Александрович любил грести, — кажется это был единственный вид спорта, который он признавал; даже простую прогулку считал занятием довольно бессмысленным и ходить не любил... Так вот, выгребли мы на середину реки, бросили якорь и начали готовить удочки. Тут выяснилось, что Алданов не хочет нанизывать руками червяка на крючок: очень противно. Червяк был нанизан одним из его поклонников и Марк Александрович неловким жестом перебросил леску через борт. И тут произошло чудо: в ту же секунду поплавок его исчез под водой и леска заходила в разные стороны. Рыба взяла крючок буквально на ходу.

— Тащите! — закричали мы хором.

Марк Александрович с торжеством вытащил свою добычу. По правде говоря, была это крошечная рыбешка, но лиха беда начало. Начало оказалось и концом. Сколько в этот день он ни забрасывал удочку, ни одна рыба больше не клюнула.

На этом закончилась рыболовная карьера Алданова. Возвращаясь домой и печально глядя на единственную пойманную им сардинку, он сказал, что это — самая дорогая рыба, которую он когда-либо видел в своей жизни.

**
*

Алданов по существу был подлинным писателем-подвижником. Он тридцать лет работал над серией исторических романов, которые связывали эпоху Французской Революции с нашими днями, довел свой гигантский труд до конца, и делал это

без меценатов, без прочной материальной базы, — страх за будущее, за завтрашний день никогда его не оставлял.

Из приведенных выше писем Алданова видно, как иногда он мечтал найти побочную работу, которая отнимала бы у него только часть дня с тем, чтобы остальное время он мог посвящать писанию. Но когда такую работу ему предлагали, всегда отказывался: очень боялся каких-либо служебных обязательств и установленных часов. Так отказался он и от поста директора Чеховского Издательства. Служба эта могла обеспечить ему безбедное существование на несколько лет, но Алданов представил себе, как нужно будет возвращать людям рукописи, отказывать, и предложение отклонил. К тому же, он заторопился, понял, что осталось мало времени, а очень хотел закончить все, что наметил.

Из письма от 9 мая 1950 года:

«...Теперь пишу повесть о смерти. Добавлю, что она историческая: действие происходит сто лет тому назад. Таким образом, если я ее закончу, то моя серия будет охватывать эпоху от воцарения Екатерины II («Пуншевая водка») до 1947 года (мой последний, еще ни на одном языке не вышедший современный роман); до сих пор в этой серии романов и философских повестей у меня был пробел: сороковые годы прошлого века. Разумеется, это сообщение не для печати, а только для Вас, на случай моей безвременной кончины. Тогда вспомните в некрологе».

В 55 году он писал мне:

«Если Чеховское Издательство кончится, я впервые останусь без русского издателя. В отличие от Вашего Гази-Гирея, денег у меня меньше, чем в море кефали, — даже много меньше. Терять деньги на своих книгах я никак не могу... Эмиграция дает погибнуть своему, теперь единственному настоящему издательству. И мы стоим перед «культурной катастрофой», которая, конечно, по масштабу несколько поменьше других нынешних, настоящих катастроф, но все-таки чувствительна — особенно для пишущих людей, как мы с Вами. И я особенно интересуюсь тем, кто какой выход для себя находит».

Предчувствие не обмануло Алданова. Чеховское Издательство прекратило существование, так и не успев выпустить его последний роман «Самоубийство». И книгу эту, как памятник большому русскому писателю, уже после его смерти издал нью-йоркский Литературный Фонд.

В последние годы он как-то одряхлел, ходил с палочкой, сильно располнел и страдал одышкой. Однажды прислал из

Ниццы свою фотографию и я ужаснулся: с карточки глядел на меня седой как лунь, необычайно постаревший Алданов. О смерти говорил часто, шутливо, но и не без некоторой нотки внутреннего беспокойства, — все спрашивал, что я напишу о нем в некрологе? В январе 57 года умер наш общий друг, старый народоволец, писатель и журналист Я. Л. Делевский. Когда-то мы постоянно встречались в читальном зале Национальной Библиотеки и всегда смеялись: зимой и летом, даже в тропическую жару, Делевский приходил в библиотеку в калошах, с зонтиком... Марк Александрович мне написал:

«Кончина Я. Л. Делевского нас чрезвычайно огорчила. Я всегда его почитал и любил: редкий был человек. Да, нас из «Последних Новостей» остается все меньше и меньше. Кто следующий? Последним должны быть Вы. Вероятно, Вы и самый молодой из оставшихся?»

Кто следующий?

Следующий был Алданов. После этого я получил от него только одно письмо, посланное за месяц до смерти, 23 января 57 года. Кончалось оно необычными для Марка Александровича словами:

— Не забываюте.

Алданова не забудут.

Андрей Седых

«МОСКОВСКИЕ ЧУДАКИ»

МОСКОВСКАЯ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
(1880-1917)

Последние тридцать лет перед революцией Россия жила в сумерках безвременья. Но в эту печальную пору «начала конца» старой России русская научная мысль, как и в прошлые тяжелые времена пленения и утеснения, опять нашла в себе силы для выражения идей, неподвластных ни цензуре, ни вкоренению добронравия. Я имею в виду идеи, вышедшие из Петербургской Школы математиков П. Л. Чебышева (1821-1894), А. А. Маркова (1856-1922) и А. А. Чупрова-сына (1874-1926) и из Московской Философско-Математической Школы (А. Д. Брашман, А. Ю. Давыдов, Ф. А. Бредихин, Ф. А. Слудский, В. Я. Цингер, Н. В. Бугаев, А. Бачинский, М. Ф. Хандриков, С. С. Урусов, П. А. Некрасов, Е. Ф. Сабанин, С. А. Юрьев, Н. А. Умов, В. И. Вернадский).

Плодотворное применение общих идей и методов исследования случайных явлений Петербургскою Школою Чебышева и Маркова, теперь распространенное на более обширные области, чем это было сделано великими мастерами аналитического метода Лапласом и Гауссом, в наше время в конце концов охватило не только всё естествознание, но технику, технологию и индустрию.

С другой стороны чисто философские построения общего, универсального характера Московской Школы дали новые обоснования учению о свободе воли в значительной мере способствовали развенчанию учений детерминизма, создали новое воззрение на проблему причинности и закономерности явлений природы; особенно много было сделано исследования более общей идеи изменчивости, так называемой стохастической связанности явлений взамен стареющей и нередко уже бессильной идеи функциональной зависимости.

На пути последних 40 лет старой России (1880-1917 гг.) в пору «реакции» и правительственных подозрений и пресечений Московская Философско-Математическая Школа жила

и творила. Такое умонастроение и такое «умное делание» возможны, конечно, только при полной свободе мысли... Московская Философско-Математическая Школа была совершенно своеобразным явлением русской мысли. В конце восьмидесятых годов прошлого столетия значительная группа математиков, физиков и астрономов Московского Университета начала выступать перед русским обществом с статьями, лекциями, речами, касающимися вопросов взаимоотношения науки, философии и общественной жизни. В широких пределах это была попытка возрождения организованного, «конкретного идеализма». Попытка обоснования нового рационализма, облагороженного, упорядоченного позитивизма в его органической связанности с категориями морали и эстетики. Это была одушевленная, обоснованная и мощная оппозиция людей авторитетных и свободных, направленная против примитивного, механического материализма, популярного тогда и в науке, и в общественно-политических воззрениях. Цели этого движения были чисто научного, общественного, воспитательного характера. В русском обществе эта группа самых известных блестящих русских ученых получила название «московских чудаков»... В математике эти «чудаки» строили причудливую, новую теорию прерывных функций, новую аритмологию, исследование зависимостей такого характера, которые были еще непривычны и для самих математиков. В философии же «чудаки» занялись возрождением и оправданием рационализма, новой концепцией причинности, новых оснований и этики, и эстетики. Эти нео-платоники конца 19-го века были убеждены, что «Природа не мертва, что Добро, Зло, Свобода, Красота — не иллюзии, и что человек не есть жертва Рока, бессильная и брошенная в круговорот титанических конфликтов Невозможного, Должного, Неизбежного, и Вероятного, что в самих этих конфликтах бьется тот жизненный пульс, которым проникнуто всё, что мыслит, страдает и любит»... В то время такое исповедание (Н. В. Бугаева) было малопонятно, как были непонятны и другие мысли Н. В. Бугаева, напр. об аритмологической красоте раскрываемой в теории чисел, о математической необходимости свободы или о геометрии мерно-неопределенных количеств.

И русская и западная мысль того времени одинаково еще не созрели для восприятия этого подлинного ново-пифагорейского мирозерцания будущего двадцатого века. Московские чудаки строили фундамент нового мирозерцания, они оперировали новыми, причудливыми образами математики, раз-

рабатывали эволюционную монадологию. Как далеки, как безнадежно оторваны были такие занятия от тогдашней жизни и действительности! Как были незаметны и как легко были забыты эти необыкновенные люди!..

А ведь основные идеи, прославившие имена современных европейских и русских ученых (уже 20-го века) создавших и создающих новую физику, это изумительное произведение человеческого гения, — все эти основы оказываются той «математикой», которую создали Бугаев, Цингер, Алексеев для других целей. Новая аритмология прерывных функций, обобщения и замена функциональных зависимостей причудливыми связями, которым Бугаев находил применение только в его новой монадологии — всё это нашло среду их воспринявшую в научной литературе Западной Европы в то время, как русская научная литература в течение ряда лет была в разорении, застое и бездействии. Эти идеи расцвели, принесли плоды и превратились в вечное достояние мировой Науки.

Творческая мысль Московской Философско-Математической Школы тогда в 80-х и 90-х годах 19-го столетия была воистину «касанием мирам иным». Это было и касание и тяготение к тому, что и в обществе и в науке не имело тогда отклика.

Бугаев, Щукарев, Давыдов, Цингер, Некрасов, Умов, Вернадский, их ученики и сотрудники, их последователи в самых разнообразных областях знания — в химии, в педагогике, в теории познания, в социологии, в геохимии, в биологии, в математике и физике производили работу пионеров, новаторов, создававших новое аритмологическое мирозозерцание на смену отжившему свои два века мирозозерцанию аналитическому. Фундамент нового мирозозерцания строился на новом синтезе стохастических зависимостей, аритмологии прерывных функций, эволюционной монадологии...

50-60 лет тому назад, это было формулировано как «Насущные проблемы идеализма» Московской Философско-Математической Школы. В 1898 г. Н. В. Бугаев в своей знаменитой лекции — «Математика как основа научно-философского мирозозерцания» утверждал, что «недоразумения и противоречия между аналитическим мирозозерцанием и естественными, законными стремлениями человека должны быть устранены в новом мирозозерцании — аритмологическом». Тогда в 1898 г. такое задание могло казаться малопонятным и сама его необходимость малоубедительной. Но уже в первые годы наступившего 20-го века «недоразумения и противоречия» и

в методологии и в самом содержании научного знания стали многочисленны, очевидны и даже тревожны, особенно для тех, для кого все эти осложнения были неожиданны.

В научной мысли Западной Европы причинность появилась в новом союзе с «законами случая»; неизбежность веления Рока и физического закона превратилась в возможность указания (только указания!) наивероятнейшего состояния вещества и энергии, а потом и одной энергии. В наше время первой половины 20-го века основные идеи, зарожденные в Московской Философско-Математической Школе, уже прочно срослись с руководящими течениями западно-европейской науки. Новый математический (аритмологический) аппарат, оперирующий с прерывными функциями и «матрицами», и составляющий гордость и славу французских и особенно германских физико-математиков, основы органического миропонимания, концепция единого органического целого, определяющего собою все свои элементы в учениях Уайтхеда, Смутса и Моргана — всё это уже началось в трудах Н. В. Бугаева, в его аритмологии, в его эволюционной монадологии (1892-1898 гг.).

Отрицание неизменности, неизбежности и самого существования так называемых «законов природы», обобщение концепции причинности, введение вероятности и случая в области когда-то всецело подчиненные «железным, неизменным» велениям необходимости — эти идеи как главное содержание работ Гейзенберга, Карнапа, Жордана (1925-1940) связывают воедино основы философии, физики и математики именно так, как это провиделось Бугаевым, Цингером и Алексеевым в 1890-1900 гг.

В 1946 г. один из знаменитейших современных творцов новой физики, Е. Шрёдингер, издал небольшую книгу под заглавием «Что есть жизнь?» — его лекции 1944-45 гг. Нельзя утверждать, что она содержит определенный ответ на вопрос ее заглавия. Но, говоря современным языком, Шрёдингер дает физико-механическую модель жизни и что особенно важно — эта его «модель» оказывается совершенно тождественной с моделью жизни, нарисованной проф. Н. А. Умовым еще в 1901 г. в его замечательной лекции «Физико-механическая модель жизни». Для обоих этих физико-математиков, разделенных 45-ю годами, столь богатыми новыми фактами и новыми теориями, основной особенностью живого процесса является развитие стройности живого организма. Стройность есть физико-механическая модель жизни.

И Шрёдингер, и Умов основываются на установлении существеннейшей механической характеристики всякой живой материи в наличии ее убывающей энтропии и возрастающей свободной энергии в процессе создания и роста стройности в этой материи. Нельзя не отметить, что в то время как Шрёдингер в своем изложении пользуется формулами и уравнениями и математической физики и теории вероятностей, в изложении Умова нет ни символики, ни сложности математического языка. Умов говорит для своих слушателей общепонятным, разговорным языком, нисколько не умаляя ни точности, ни общности своих образов и выводов.

Не подлежит сомнению, что Шрёдингер никогда не слышал о лекции Умова 1901 года, но совершенно несомненно, что оба они хорошо знали, что еще Гельмгольц в своих исследованиях термодинамики химических процессов (в 1871 г.) указывал на возможность обнаружения в тонких структурах живой ткани таких ее областей, где энтропия уменьшается, а свободная энергия увеличивается и где из нестройности процессов создается их стройность. Это именно и было основной темой последующих исследований В. И. Вернадского, уже в 1926-1945 гг., установившего по крайней мере 16 наблюдаемых, измеримых различий между материей живой и материей косной.

Важнейший смысл и ценность этих исследований В. И. Вернадского в том, что теперь мы стоим ближе, чем когда-либо раньше к решению вопроса «Что такое жизнь», хотя бы по одному тому, что теперь мы можем утверждать, что все различия между живым и не-живым выражаются только в числе и мере, в наблюдаемых показаниях наших приборов, в результате наших вычислений.

«Жизненная сила», энтелехия, *élan vital*, *anima inœcia*, *Spiritus rector*, «духовное начало» и многие другие «основы жизни», специально изобретенные и принимавшиеся априорно для построения более 70 известных определений жизни, приводили все эти определения к одной общей форме — «жизнь как явление есть нечто естественное и в то же время и сверх-естественное». Это и был главный аргумент лекции проф. Умова в 1901 г., направленный против виталистических тенденций биологии, требовавших для изучения жизни принятия таких гипотез и начал, которые по их существу «препятствуют дальнейшему мышлению о жизни».

Таковы были наиболее общие, далеко идущие в будущее идеи Московской Философско-Математической Школы, рож-

денные и формулированные в аудиториях и в печати в 1885-1917 годах в России. В те годы эти «революционные» идеи были и малопонятны и непопулярны в среде русских ученых и философов. Они были «опасны в обращении» — тут было категорическое отрицание детерминизма в мире живого, тут была «математическая необходимость свободы», тут было философское упразднение «вечных, железных законов», тут было идеологическое примирение индивидуализма и универсализма и завершённое онтологическое воззрение на мир как на организм, но не как на механизм. И все эти «насущенные проблемы идеализма» Московской Философско-Математической Школы частью впервые определенно поставленные, частью законченно разрешенные и опубликованные в 1892-1902 гг., появляются в научной мысли Западной Европы только в 1920-1930 гг. главным образом в математических изложениях результатов новой (атомной или электронной) физики и в философских интерпретациях этого нового богатейшего физико-математического материала.

Делая это сопоставление научно-философской обработки основных и самых общих идей — истинности, причинности, закономерности, и действительности, произведенной Московской Школой за время 1885-1900 гг. с такой же обработкой, произведенной в Западной Европе за время 1920-1940 гг., мы должны принять во внимание, что философская интерпретация французских и германских физико-математиков явилась непосредственным результатом грандиозных успехов новой физики начала 20-го века, между тем как философо-математики Московской Школы конца 19-го века этого исходного материала еще не имели. И всё-таки московские философо-математики мыслили об истинности, причинности, закономерности и действительности совершенно так же, как и западные физико-математики, отдаленные от них на 30-35 лет в будущем. Так верное решение задачи достигается двумя разными способами. В данном случае «задача» состояла в изыскании уже сделавшегося необходимым перехода от стареющих и даже устаревших рационализма и натурализма 19-го века к новому мирозерцанию.

Очень трудно и теперь в середине 20-го века дать точное определение или название этому «новому мирозерцанию». В текущей западно-европейской литературе 1910-1940 гг., чаще всего в описаниях переходного развития научной мысли 19-го века, встречались выражения: «конец века Галилея и Ньютона», «упадок механистической физики», «примирение

науки и религии», «идеалистические тенденции науки», и даже были такие книги как «Естествознание на пути к религии» (В. Bavink, 1933) или «Основные начала естествознания» (Н. Driesch — 1905), в которых и «духовное начало» науки и специфическое «начало жизни» (энтелехия) были положены в основу естествознания 20-го века...

«Новый» строй мысли 20-го века получал разные, часто менявшиеся имена: логический эмпиризм и неопозитивизм (Франк* — продолжатель учения Маха), биологический позитивизм (прагматизм Морриса в Америке), радикальный позитивизм — Жордана (синтез позитивизма с нацизмом в Германии), неоидеализм физики (Эддингтон, Джинс в Англии).

Потребовались длительные и тщательные усилия со стороны представителей точного знания, чтобы указать и выделить существенное и необходимое в этом огромном, быстро накопившемся материале. Оказалось, что всё, что принималось, как «идеалистическое», «духовное», «метафизическое», как «психический, приводящий элемент наблюдателя» — всё это приносилось и приводило не от опыта и наблюдения физико-химического и механического мира. Сам по себе чисто научный смысл нового физического знания не является материалом для построения этого перехода от одного мировоззрения (19-го в.) к другому (20-го в.). Вот почему русские философо-математики Московской Школы, и не имея в своем распоряжении данных новой физики 20-го века пришли к той же интерпретации и природы и истории, как и физико-математики Западной Европы, имевшие эти данные новой физики. Вот почему, знакомясь со всем тем, что происходило в мире физико-математических «поисков и примирений» западно-европейских ученых (Гейзенберг, Жордан, Кассирер, Борн, Шрёдингер, Бор, Карнап) за время 1910-1940 гг. русский читатель неминуемо вспомнит и даже перечитает еще раз — что было в статьях Н. Бугаева, А. Бачинского, В. Цингера, А. Шукарева, В. Вернадского, помещенных в журнале «Вопросы философии и Психологии» за 1891-1903 гг.

При сопоставлении этих двух групп ученых-мыслителей нельзя не отметить одну подробность — среди западно-европейских сторонников нового анти-механистического, органического воззрения на мир ярким представителем был В. Bavink, для которого и теория относительности и теория квант явля-

* Проф. физики Венского и Пражского университетов до 1935, позднее в Харвардском университете в США.

лись основанием для утверждения свободы воли, преобладания духа над материей, для связи науки с высшими ценностями жизни, души и Бога.

Среди московских философо-математиков одним из сторонников органического миропонимания был знаменитый математик, П. А. Некрасов, который в своих монументальных книгах «Философия и логика науки о массовом проявлении человеческой деятельности» (Основы социальной физики) и «Государство и Академия» видел «попытку обоснования логической системы рационального государства». Эти книги были совершенно неудобочитаемы, непонятны не только в их математической символике, но и по совершенно своеобразному языку автора, с его вполне произвольной, им изобретенной терминологией. По содержанию эти книги должны быть отнесены к тому же типу «органического понимания» жизни государства, которое через 30 лет было представлено в Германии в книге Б. Бавинка. П. А. Некрасов в своих книгах дал теорию ультра-полицейского государства, которая в то время (1902 г.) вызвала в русской печати более юмористическую, чем серьезную оценку; одна фраза неоднократно цитировалась, как пример «непонятного, хотя и не математического текста»: «... В рационально построенном, на началах истинного гуманизма государстве гносеологические функции должны занимать первое место и им должна соответствовать особая власть (дворники, городовые, полиция, профессора, ученые) во всем многообразии прочих властей, принадлежащих государству» (из книги — «Философия и логика науки о массовом проявлении человеческой деятельности»). Гносеологическая функция полиции — это функция личных оценок, аттестаций, как поясняет сам автор эту фразу... Тогда, в 1902 г. еще никто не предвидел такого применения термина «гносеология» и такого практического развития «гносеологических функций» в государственной жизни, как это впоследствии наблюдалось и наблюдается в России, Германии и в некоторых других странах.

Первоначальное идейное оформление подлинного органического миропонимания в русской мысли связано с именами Н. В. Бугаева (1897-98), В. И. Вернадского (1901-1903) и особенно Н. О. Лосского (1905-1915). Кстати, хочу отметить весьма характерный факт: — на протяжении последних 35 лет в советской печати нет упоминаний о бывшей Московской Философско-Математической Школе. Еще более характерным показателем «духа времени» является такая под-

робность — в нескольких опубликованных биографиях профессора Московского Университета, Н. А. Умова (1846-1915), как одного из крупнейших и популярных в русской общественной жизни ученых, нет ни одного слова о его работе в Московской Философско-Математической Школе, а в перечислении его ученых работ, статей и лекций совершенно опущено упоминание о его знаменитом мемуаре «Эволюция живого и задача пролетариата мысли и воли», 1906 г. (впоследствии переведенном на немецкий язык).

Пролетариат мысли и воли — это профессиональные ученые, как представители нового человека, уже не типа *Homo Sapiens*, а типа *Homo Sapiens Explotans* (термин проф. А. Бачинского), начавшего появляться в жизни не ранее 17-го века. — *Homo Sapiens Explotans* начинает творить «вторую природу» вокруг себя не только всеми извечно доступными ему способами (как это делал с незапамятных времен *Homo Sapiens*), но начиная примерно с 17-го века преимущественно способами и средствами, основанными на научном знании.

Начиная с середины 19-го в., мы можем уже говорить об определенной общественной группе профессиональных ученых, которая быстро растет, обособляется, имея в себе все признаки, позволившие проф. Умову в 1905 г. говорить о «пролетариате умственного труда» так же, как в течение предшествовавшего столетия уже говорили об «пролетариате физического труда».

Совершенно понятно, почему теперь в стране завершенной диктатуры «пролетариата» недопустимо даже упоминание о каком-либо другом пролетариате, тем более, что проф. Умов еще в 1905 г. дал яркую картину необходимой смены общественно-политической значимости пролетариата физического труда еще большей значимостью роли пролетариата умственного труда, как неизбежной следующей фазы в процессе эволюции. По тем же причинам мы не найдем в советской литературе выражений существа мировоззрения Московской Философско-Математической Школы: «проблемы идеализма», «новый идеализм», «конкретный идеализм». Но эти идеи живут в научно-философской мысли Западной Европы и Америки.

Всеобщий и единственный организованный строй мысли для населения СССР дан в «Диамате». Происходящее на наших глазах распыление и растворение учения диалектического материализма в массовом народном сознании СССР отнюдь не может рассматриваться как «рост популярности» или «рас-

пространение знания» этого учения хотя бы в силу одного, ничем неизгладимого признака — нескрываемого наличия надзора, принуждения, угроз и наказания, которые ни при каких обстоятельствах не создают популярности и не несут с собой света знания. Диалектический материализм Маркса и Энгельса значительно потерял в его чисто интеллектуальном достоинстве, когда превратился в «диамат Ленина», в котором первоначальная концентрация философской мысли, не бывшей никогда образцом точности и глубины, заметно понизилась сообразно нуждам и особенностям массового потребления.

В мире идей, как одна из философских систем середины 19-го века, диалектический материализм Маркса и Энгельса отнюдь не мог быть и не был отмечен чем-либо исключительным. Он приобрел эту исключительность только как рабочая идеология власти оформленной и победившей не в борьбе идей и аргументов, а в хаосе насилия вооруженной массы над разрозненным, безоружным идейным меньшинством. Диамат — это оружие власти, но не идейное орудие творчества.

Значение диамата росло и растет только с усилением и углублением полицейского надзора и полицейского насилия, то-есть, и с ростом и развитием техники. Главная функция диамата, как органа впервые осуществляемой «логической системы рационального государства» есть «гносеологическая функция» т. е., по теории П. А. Некрасова, — «функция личных оценок и аттестаций при помощи не только дворников, городских и полиции, но и профессоров и ученых».

Просматривая книгу П. А. Некрасова теперь, через 50 лет после ее вполне забытого, никому не интересного появления, нельзя не заметить совершенно поразительное воплощение в русской жизни при коммунистической диктатуре всей программы «логической системы рационального государства», данной в 1902 г. Некрасовым, знаменитейшим математиком своего времени, обладавшим огромными и разносторонними знаниями и за пределами математики, человеком вполне религиозным, как говорили «старозаветным» и проникнутым долгом служения моральным, духовным основам и в личной и в государственной жизни.

Весьма любопытно, что в энциклопедиях, изданных в СССР после 1918 г., совершенно нет упоминания имени П. А. Некрасова. В энциклопедиях «старого режима» П. А. Некрасов описан как проф. Московского Университета, знаменитый

математик, автор многочисленных курсов и книг, попечитель Московского учебного округа, с указанием только года его рождения (1853), т. к. он умер в 1935 г.

П. А. Некрасов при всех его неоспоримых заслугах профессора и ученого был, выражаясь в терминах того времени, реакционер, консерватор, националист; научное изложение его «крайне правого» политического исповедания, сделанное им самим, было одинаково непонятно и его единомышленникам и его противникам, для которых вся эта «фантастика», иллюстрированная причудливейшей математической символикой, была совершенно и недоступна и... неинтересна. И вот «старая» русская действительность, вполне чуждая этой «фантастике», оказалась всецело, в подробностях замененной и заполненной этой «фантастикой», принявшей вполне конкретные формы рационализации, материализации ультра-полицейского строя в новой коммунистической России.

Другой знаменитый русский математик, современник и коллега П. А. Некрасова и по Московскому Университету и по Философско-Математической Школе, Н. В. Бугаев (1837-1903 гг.) также был автором тоже никому непонятной «Эволюционной монадологии» (1892-1897), которая содержала в себе «теорию органического строения и мира, и государства, и человека». Бугаев был типичным представителем «нового идеализма» Московской Школы — этого научно-философского мировоззрения, всецело вмещавшегося и в прогрессивно-либеральные рамки традиций русской интеллигенции и в то же время ищущего новые пути облагороженного, обобщенного позитивизма на замену устаревшему позитивизму 19-го века. В некрологе памяти Бугаева Л. Лопатин говорил: «если бы выводы Н. В. Бугаева сделались общепринятыми истинами, тогда исчезли бы многие миражи, угнетающие современное философское мировоззрение».

Только через 30-35 лет эти истины в их общедоступной понятной форме были даны в трудах Уайтхеда, Смутса и др., но и в англо-саксонском интеллектуальном мире эти идеи до сих пор еще не сделались «общепринятыми», и «угнетающие миражи» продолжают угнетать современные философские мировоззрения.

Для возможной полноты нашей характеристики смысла и ценности такого явления в жизни русской мысли, как Московская Философско-Математическая Школа, следует отметить еще наличие в ней совершенно исключительной терпимости и полного уважения к человеческой мысли, как это

было особенно ярко выражено в ее отношении к двум столь несхожим представителям и Московского Университета и его Философско-Математической Школы. Бугаев и Некрасов были антиподы в их политико-общественных воззрениях и оба были желанными, постоянными сотрудниками журнала «Вопросы Философии и Психологии»; их выступления в роли докладчиков в Психологическом Обществе, членами которого они состояли со дня его возникновения в Москве, всегда бывали отмечены и многолюдной аудиторией и оживленными прениями и последующей полемикой на страницах журнала «Вопросы Философии и Психологии». Такова была школа русской мысли, созданная объединенными силами и ученых и философов Московского Университета.

В 1898 г. проф. Н. В. Бугаев выступил со своим знаменитым докладом «Математика как основа научно-философского мирозерцания», в котором анализ (операции с непрерывными функциями) и аритмология (операции с прерывными функциями) были представлены как два взаимодополняющие орудия общего математического изложения интерпретации и описания как природы внешнего мира, так и жизни человека в мире.

Н. В. Бугаев был первым автором, который категорически утверждал исключительную особенность и необходимость практического применения так называемых «прерывных» функций, которые по мнению Бугаева лежат в основе познания нами нашего мира. Такой взгляд Бугаева далеко не был достоянием всеобщего научного убеждения того времени.

С особенным энтузиазмом Бугаев говорит об «аритмологической красоте», наблюдаемой в числах или в их взаимоотношениях. Бугаев устанавливает чисто математическое обоснование необходимости свободы и отрицает «роковую необходимость» детерминизма. Особенно интересно и убедительно Бугаев излагает его критику наиболее популярного случая применения языка математики и интерпретации так называемого «закона Вебера-Фехнера», якобы установившего функциональное соотношение между раздражением и ощущением на поверхности человеческого тела. Физики, психологи и физиологи того времени после ряда лет экспериментальных исследований пришли к простой числовой зависимости, якобы связывающей измеренные величины ощущения и вызвавшего его раздражения (впечатления): ощущение растет абсолютно, раздражение растет относительно, что кратко выражается положением — «ощущение есть логарифм раз-

дражения», т. е. ощущение есть числовая, аналитическая функция раздражения... Этот совершенно неверный результат был получен потому, что все получаемые «экспериментальные» кривые линии подвергались традиционному «сглаживанию» их неровностей как неизбежных ошибок измерений и окончательные «ровные», «гладкие» кривые приводили к этой простой зависимости, существующей между логарифмом и числом... Между тем точный анализ измерительных приборов, значительно усовершенствованных со времени Вебера и Фехнера, показал, что при непрерывно возрастающем раздражении (впечатлении) получаемое ощущение растет как прерывная функция раздражения, а именно — ощущение возрастает с возрастанием раздражения потом внезапно перестает возрастать, а сохраняет свою последнюю величину постоянной при дальнейшем возрастании раздражения до некоторой его новой величины, при которой ощущение внезапно опять начинает расти вместе с растущим раздражением и в некоторый момент опять прекращает свой рост при продолжающемся росте раздражения и т. д.

Получаемая экспериментальная кривая должна остаться «неровной», «ступенчатой»; эта кривая показывает, что данному раздражению (впечатлению) всегда соответствует одно определенное ощущение, но обратно — для одного данного ощущения иногда может быть указано только одно определенное раздражение, а для другого данного ощущения имеется только целый ряд разных по величине раздражений, лежащих внутри известного интервала изменений этих величин... Такая функциональная зависимость, конечно, невыразима с помощью такого простого аналитического соотношения, какое мы имеем между логарифмом и его числом. На этом примере Бугаев показывает существенное различие между аналитическими и аритмологическими операциями, необходимыми для изучения явлений мира механического и мира живого.

Аритмология включает в себя и Геометрию и Механику и Теорию Случая или теорию стохастических изменений. Истинно философское знание должно одинаково считаться и с достоверностью, как и с вероятностью.

Если устаревший позитивизм имел своей задачей поиски ответа на вопрос — «как совершаются наблюдаемые нами явления?», то усовершенствованное аналитическое научное воззрение отвечало на более общие вопросы — «как и почему совершаются наблюдаемые явления»? И только философско-научное мировоззрение может вести нас к ответам на вопросы

— «как, почему, зачем и где совершаются наблюдаемые явления в мире живой и не-живой материи?».

Такое было начало построения научно-философского мирозерцания в среде ученых и философов Московской Философско-Математической Школы. Это начало, увы, не получило своего продолжения, потому что только 15 лет отделяли это «исключительное начало» от «всеобщего конца» 1917 г.

После 1918 г. не только идеалистическое мировоззрение, но даже употребление слов «идеализм», «идеалистический» в печати и в аудиториях в СССР употреблялось только как поношение.

Московско-Философско-Математическая Школа перестала жить, будучи в полном расцвете ее жизни...Внезапно, мгновенно... как гухнет светильник под налетевшим порывом ветра.

Когда философская мысль в Московском Университете и в ее идеалистических и в не-идеалистических разновидностях была окончательно превращена в одно обще-обязательное исповедание диамата — к этому времени «московских чудаков» уже не было в живых кроме одного из них: — академика В. И. Вернадского, который оставил Московский Университет еще в 1911 г. (как один из профессоров, ушедших в отставку в знак протеста против действий министра Кассо).

Академик Вернадский с того времени отдался своей научной работы в академии, не оставляя ее до своей смерти в 1945 г. Он унес с собой основные идеи Московской Философско-Математической Школы о новом идеализме, об органическом миропонимании, о научно-философском мировоззрении; он, еще будучи профессором Московского Университета, ярко и многократно бывал выразителем и толкователем этих тем и в своих статьях и в лекциях. Вся деятельность В. И. Вернадского с 1912 г. до 1945 г. была посвящена воплощению в действительность того, что у «московских чудаков» было отвлеченно и даже непонятно.

«Эволюционная монадология» Бугаева явилась в ее новой перефразировке и во всей ее, как казалось, непостижимой общности в учении Вернадского о жизни человека на земле как о проявлении одной из стихийных геологических сил земли в ее органическом единении с жизнью человека. Необходимость внесения жизни в атомную модель мира была основной темой Вернадского, всегда рассматривавшего весь

мир как образ некоего организма, но не механизма. Всё то, что В. И. Вернадский и его школа сделали для развития знания о земле и жизни на земле, представляет собою грандиозное обобщение и фактическое воплощение в конкретных формах естественно-научного знания всех тех взглядов Н. В. Бугаева о взаимоотношении монадологии мира и монадологии человека, о которых Л. Лопатин в 1903 г. говорил как о мыслях Бугаева, которые должны были бы сделаться «общепринятыми» для того, чтобы «гнетущие миражи» могли бы быть изъяты из нашего мировоззрения...

Никакие подозрения, никакой надзор, никакие угрозы не были обрушены на работы Вернадского и его школы (только самого Вернадского иногда в печати называли мечтателем!). Успехи эти и их огромное практическое значение в областях геохимии, биохимии, биогеохимии, геологии и биологии были слишком очевидны и важны.

Больше, чем в какой другой деятельности «пролетариат мысли и воли» — эти миллионы людей, посвятивших все их силы знанию земли — растет и множится с возрастающей значимостью его роли. Тут лежит путь в будущее.

Так основные прозрения самого непостижимого, чудного из «московских чудаков» — Н. В. Бугаева, ушли в мир: — одна часть, как бы технические перевоплощения его абстрактнейшей математики — ушла в Западную Европу и обратилась в новую, весьма практическую математику новой физики.

Другая часть — философская абстракция и крайние обобщения старой и сложной спекуляции Лейбница — то, что Бугаев назвал — «эволюционной монадологией», осталась дома, на родине и там больше 40 лет вдохновляла и питала творчество другого русского ученого-мыслителя, Вернадского, взявшего из этой абстракции основу для его умственного углубления, ухода... в землю, для его знания жизни земли, как вполне практического знания дома жизни человека.

Итак, в конечном счете, — отвлеченные и общие идеи Московской Философско-Математической Школы о создании научно-философского мировоззрения теперь спустя многие десятилетия в совершенно иных, встревоженных тяжелых условиях, в условиях особенно неблагоприятных для всяких умственных, отвлеченных построений прожили и пережили все перемены и противодействия и теперь живут и творят.. в электронной физике, в биохимии, в организации познания биосферы. В областях знания, не существовавших во времена

«московских чудаков». «Московские чудаки» умерли, оставив неумирающее, чудесное наследство... Они ушли...но...

... «Не говори с тоской — их нет!
А с благодарностью — были»!

В. Некрасов

С. М. ДУБНОВ, КАК ИСТОРИК

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Семен Маркович Дубнов родился 100 лет тому назад в 1860 году в небольшом уездном городке Белоруссии. Еврейское местечко особенно той далекой эпохи принято изображать в идиллических красках. Местечко ближе к природе, ближе к Богу. Жизнь в нем несложная, нравы патриархальные. В еврейской литературе на идиш местечко занимает особое положение, несмотря на то, что евреи давно стали народом городским, и в потоке эмиграции давно покинули тихую идиллию местечка.

Когда мы мысленно переносимся в Мстиславль Могилевской губ., на родину Дубнова, как она была 100 лет тому назад, то мы с трудом найдем там элементы местечковой идиллии. Не до идиллий было белорусскому еврейскому местечку тех лет. Ведь только в эпоху великих реформ было отменено страшное явление, когда еврейских детей с 8-летнего возраста отправляли в кантонисты, и принудительная военная служба длилась целых 25 лет.

Вспоминая о своих первых впечатлениях бытия, Дубнов рассказывает эпизод, тяжело ранивший его детскую душу. Весной 1871 года в хедере, где обучался мальчик, было прочитано письмо из Одессы с описанием пасхального погрома, устроенного в еврейских кварталах: «Врезалось в память, как погромщики разрывали перины и подушки и пускали по ветру пух и перья, которыми улицы были покрыты как снегом. Это была первая погромная картина, смутившая тихую пору моего детства», — пишет Дубнов. Так в сознание будущего еврейского историка вошел погром.

Но было бы неправильно детские годы Дубнова рисовать только в мрачном свете этих первых впечатлений. Была семья, в которой образ деда-талмудиста возвышался, как напоминание о прошлом, уже теряющем свое обаяние в современности, освобождающейся от обрядовой религиозной дисциплины. Были хедер и затем иешивот, где дух свободомыслия вызывал

и бунт против закосневшего, консервативного быта, и жажду знаний, жажду приближения к вольному миру, простирающемуся за стенами гетто. Были молодые друзья-вольнодумцы, поддерживавшие стремление к новой, свободной, самостоятельной, пусть рискованной жизни. Было краткое увлечение романтизмом древне-еврейской литературы, которое сменилось гораздо более сильным влиянием русской культуры, русской литературы. Дубнов утолял свои юношеские умственные потребности обычным для того времени путем: путем самообразования. Небольшое полицейское недоразумение послужило поводом для того, чтобы покинуть Мстиславль, и в 20 лет очутиться в Петербурге, где открылась первая страница сознательной жизни будущего историка.

Время (1880-ый год), когда Дубнов вступил в полосу своей взрослой жизни, для России и Петербурга было переломным. После убийства Александра II-го вступил на престол новый царь с Победоносцевым, как главным советником и его планом «подморозить» Россию на столетие. Но повидимому, и круг знакомств, и круг интересов Дубнова лежал в стороне от этих событий. Он приехал, чтобы экстерном держать экзамены и поступить в университет. Он усердно работал в Публичной библиотеке. Приходилось подыскивать себе и фиктивное право жительства, — вопрос связанный с практическими мытарствами. Была и материальная нужда.

В апреле 1881-го года пришли вести о погромах на юге России. Стоя вдали от больших политических проблем тогдашней жизни России, Дубнов однако принес с собой из своего горького опыта местечковой жизни особую чуткость к еврейской проблематике: погромы всколыхнули его душу. И повидимому именно эти переживания разбудили в нем дремлющие таланты журналиста. На апрель 1881-го года падает его литературный дебют: в журнале «Русский Еврей» появилась его статья: «Несколько моментов из истории развития еврейской мысли». В первом опыте начинающего писателя уже чувствовался будущий еврейский историк.

От этой статьи и пошла вся дальнейшая литературная карьера Дубнова. Он писал в «Рассвете», а вскоре стал одним из постоянных сотрудников «Восхода». В течение четверти века существования этого популярного и влиятельного органа русско-еврейской печати Дубнов был одним из его главных столпов. Он поместил в «Восходе» ряд своих исторических исследований, литературно-критических и публицистических статей.

К характеристике национальных настроений Дубнова любопытно отметить, что уже тогда в «Рассвете» одной из живо заинтересовавших его тем, — была тема о необходимости издания газеты на идиш, который тогда именовался жаргоном. Дубнов предчувствовал, что широкая народная масса, в поисках путей своего развития, должна будет скоро обратиться к источнику народного творчества, — к языку, на котором она говорит и чувствует, — хотя тогда этот язык еще далеко не нашел себя. С глубоким сочувствием он высказывался в пользу плана издания на идиш еженедельника. Тогда же в качестве литературного обозревателя «Восхода» под псевдонимом «Критикус» Дубнов первый высоко оценил творчество Шолом-Алейхема, исключительный талант которого сразу поднял на большую высоту бедный жаргон и добился для него широкого признания.

В области истории, уже тогда, в эту раннюю пору Дубнова стали привлекать наиболее загадочные и малоисследованные страницы еврейской народной истории: мессианские и мистические движения Саббатай-Цеви и Якова Франка. Этот интерес к духовным движениям в еврействе историк сохранил и углубил впоследствии, когда уже был автором двухтомной «Истории хасидизма».

Хочется отметить здесь некоторое проявление «духа противоречий», характеризующего исторические тяготения Дубнова. Сложившись как ученый, Дубнов в области исторической школы примкнул к позитивизму и рационализму Джона Стюарта Милля, Герберта Спенсера и Огюста Конта. Среди русских историков Дубнову наиболее родствен П. Н. Милюков, тоже до конца дней оставшийся верен школе позитивизма и рационализма. Но в своих занятиях историей Дубнов, — этот рационалист и позитивист, всё время влекся к глубинным движениям в еврейской народной массе, к иррациональной и загадочной стихии религиозно-мистических движений. Его дочь и его биограф С. Дубнова-Эрлих утверждает, что не мистика, но романтика этих движений зажгла воображение Дубнова-историка и растопила «трезвые формулы позитивизма». Но романтика ли, мистика ли, — факт тот, что она внесла новую и неожиданную ноту в работы Дубнова, как историка, и направила его по новому пути.

Эти работы, в частности «Введение в историю хасидизма», опубликованное в «Восходе» в 1888 году, — послужили основой для далеко идущих планов Дубнова о создании «Всемирной истории евреев», очертания которой тогда еще были

туманны. Наметкой этого будущего труда была и работа «Великая французская революция и евреи», появившаяся под псевдонимом С. Мстиславский.

Начало 90-х годов было переломом в процессе самоопределения писателя. В своей «Книге Жизни», рассказывая о своих юношеских раздумьях о выборе жизненного пути, Дубнов сообщает, как после некоторых колебаний он решил посвятить себя истории. Путь журналиста, откликающегося на злобы дня и отдающего всю свою страсть современности, не мог перевесить в его душе жгучий интерес к изучению прошлого еврейского народа. В одной из дневниковых записей от 1 января 1892 года мы читаем: «Моя цель жизни выяснилась: распространение исторических знаний о еврействе и специальная разработка истории русских евреев. Я стал как бы миссионером истории. Ради этой цели я отказался от современной критики и публицистики».

Несколько ранее состоялось выступление Дубнова, которое сейчас воспринимается всей еврейской научной мыслью, как начало современной еврейской историографии. Дубнов выступил с брошюрой «Об изучении еврейской истории», содержащей призыв собирать документы, материалы, рукописи, «пинкосы» общин, уставы обществ и организаций — словом всё то сырьё, все те разрозненные элементы, которые в опытных руках исследователя могут послужить фундаментом для построения истории евреев в Польше, Литве и России. В сущности, это была первая книга Дубнова. Эта небольшая книга вызвала к жизни дремавшую в еврейской провинции страсть к истории у отдельных лиц и у коллективов. В Петербурге и Москве образовались кружки по собиранию материалов по истории восточно-европейского еврейства. Самое старое еврейское общество в Петербурге, Общество распространения просвещения среди евреев, создало Историко-Этнографическую комиссию, которая впоследствии превратилась в Историко-Этнографическое Общество.

В это же время в связи со смертью знаменитого автора немецкой «Истории евреев» Греца, Дубнов стал работать над введением к переводу сокращенного Греца в издании одесского комитета общества просвещения евреев. Дубнов написал свою работу под названием «Что такое еврейская история» и воспользовался случаем изложить в ней некоторые заветные идеи, которые впоследствии составили его символ веры, его научное credo: Дубнов говорил в ней о глубоко заложенном духовном начале в еврейской нации. Стоит здесь

вспомнить, что сокращенный Грец не был пропущен цензурой, и по требованию Победоносцева 5000 экземпляров отпечатанной книги были уничтожены.

С октября 1890 года Дубнов поселился в Одессе, где сложились более благоприятные условия для его дальнейших работ по истории русских евреев. Одесский период его творчества имеет значение потому, что здесь историк получил возможность установить длительное общение и закрепить узы дружбы с выдающимися представителями кружка «одесских мудрецов»: Ахад-Гаама, Менделе-Мойхер-Сфорима, Бялика, Равницкого и других. В это время сложилась и основная историческая концепция Дубнова о еврействе, как «духовной нации», и оформились основы дубновской идеологии, идеологии «дубновизма», автономизма, как она позднее вошла в сокровищницу русско-еврейской мысли и общественности, окрасив собою мир исканий и борьбы 19 и начала 20 века. В период шумных споров, не раз лихорадивших еврейский мирок, Дубнову пришлось сформулировать свою программу, свое мировоззрение, свои положительные национальные идеалы. Ему пришлось скрестить мечи в борьбе с другими идеологиями и занять позицию в отношении ассимиляции и космополитизма, сионизма политического и духовного, национализма духовного и автономизма.

1897-ой год стал годом, открывшим новую эпоху: в 1897 году Теодор Герцль созвал в Базеле первый сионистский конгресс. Несколько раньше, в сентябре 1897 года состоялся нелегальный съезд в Вильне, положивший начало еврейской социал-демократической рабочей партии, — Бунду. В творческой биографии Дубнова 1897-му году принадлежит крупное место: в октябре этого года в «Восходе» появилось первое «письмо» историка из серии «Писем о старом и новом еврействе», в которых наиболее полно изложена идеология «дубновизма». Эти письма сыграли исключительную роль в процессе национального самоопределения русского еврейства.

Спустя десять лет после выхода в свет первого письма, в 1907 году, они вышли отдельной книгой на русском языке. И до сих пор эти письма представляют интерес. За последние годы они вышли в переводе на английский, на иврит и на идиш. Актуальный, животрепещущий характер своих занятий историей Дубнов неоднократно подчеркивал: «Сущность историзма — писал он — в том, чтобы прошлое воспринимать с живостью текущего момента, а современность мыслить исторически». И в другом месте он утверждает историю, — как «род-

С. М. ДУБНОВ, КАК ИСТОРИК

ник кипучей жизни, борьбы, творчества, источник мирозерцания»...

Дубнов входит в историю еврейской мысли, как отец духовного национализма, — противопоставляемого не только ассимиляции и космополитизму, но и всякой разновидности сионизма. Дубнов является идеологом «голуса» (рассеяния), еврейской диаспоры, — ибо все надежды на будущее он связывает с судьбами большинства народа, обреченного остаться в «голусе». Ассимиляторы — говорил он — считают евреев нацией прошлого, сионисты — нацией будущего. «Духовные националисты» считают евреев нацией настоящего и стремятся ориентировать еврейскую жизнь не на историческое вчера или на проблематическое завтра, а на единственно-реальное сегодня, каким бы сложным, трудным и мрачным не оборачивалось к еврейству это сегодня. Эта теория духовного национализма помогла Дубнову после погромов 80-ых годов предсказать возникновение крупнейшего еврейского центра в Соединенных Штатах, а после коммунистической революции в России и после первых признаков гитлеровской угрозы в Европе предвидеть создание нового массового центра еврейской эмиграции в Палестине.

По концепции Дубнова, в истории существуют три типа наций: нация-клан, племя, самая примитивная форма связанности судеб; второй тип — нация территориально-политическая, в форме государственности и третья форма — нация духовная. Еврейство, по Дубнову, в своем прошлом преодолел форму клана и давно утерев форму государственно-территориального существования, — с тех пор как Иудея в 70 году лишилась самостоятельности, — еврейство сейчас является нацией духовной. Основой самосохранения еврейства, как нации духовной, Дубнов считает «волю к существованию», — стремление народа оставаться самим собой и отметить себя в своеобразном творчестве, — при отсутствии государства и территории, только ярко выраженное волюнтаристическое начало может сохранить духовную нацию. Для того, чтобы направить эту волю к существованию и развитию и стимулировать ее, Дубнов и создает свою теорию автономизма, как национальную программу еврейства, дающую ответ на вопрос: что делать во имя самосохранения еврейства, как мировой нации?

Первичной основой автономии, по Дубнову, является секуляризованная община со всей развернутой системой ее учреждений, — культурных, школьных, социальных, филантропиче-

ских. В дальнейшей своей схеме Дубнов предусматривает образование союза общин и организацию еврейского представительства, перерастающего государственную ограниченность и получающего высшее выражение в идее всемирного еврейского конгресса. Эти идеи автономного самоуправления экстерриториальной мировой нации, сформулированные Дубновым в своем четвертом письме (появившемся в декабре 1901 г. в «Восходе»), Дубнов дополняет любопытным примечанием, и как бы отталкиваясь от гегелевской диалектической триады, дает ей эволюционное истолкование: **тезис** — это традиция, **антитезис** — это отрицание традиции — пишет он, но **синтез** это не отрицание отрицания, а творческое развитие идей, заключенных и в традиции, и в ее **отрицании**. Синтез этот нужно проверять, обновлять, совершенствовать в соответствии с законом эволюции.

Рассматривая еврейство, как нацию духовную или, пользуясь его терминологией, как «культурно-историческую нацию среди наций политических», Дубнов именно в системе автономизма, в борьбе не только за гражданские, но и национальные права, видит тот «национальный синтез», который должен обеспечить «внутреннее возрождение еврейства в диаспоре». Дубнов оспаривал утверждение сионистов, будто еврейство стоит перед дилеммой: или ассимиляция, т. е. национальная гибель, — или «Экзод», завершающийся государственным возрождением в Сионе. Его теория это — утверждение «голуса»...

Ровно 60 лет прошло с тех пор, как Дубнов сформулировал свою теорию духовной нации и концепцию автономизма для еврейского национального меньшинства в странах рассеяния. Что осталось от его идейного наследия в свете горького опыта еврейского народа сейчас? Дубнов был человеком 19 века. Он вырос на принципах гуманизма и веры в формулу прогресса. Он сформировался в период становления демократической государственности, и в России он жил под знаком надежд на европеизацию, на эволюцию в сторону западничества. По своим политическим убеждениям Дубнов никогда не примыкал к радикальным или социалистическим группировкам. Он был либерал, и любопытно отметить, что в согласии со своими политическими симпатиями, в борьбе за еврейское равноправие он шел рядом с Винавером, а на выборах, — в частности в февральскую революцию, — голосовал за кадетов.

Человек 19 века, верный гуманистическому мировоззрению, Дубнов и свои исторические прогнозы строил в расчете на длительную эпоху мирного и органического развития. Разумеется, историк еврейского народа, часто по необходимости оказывавшийся историком еврейского мартиролога, не мог игнорировать бесчисленные препятствия, стоявшие на пути еврейства, — видел эксцессы юдофобства, сталкивался с отвратительными его проявлениями, явными преследованиями и скрытыми дискриминациями и в законодательстве и в административной практике. Тем не менее Дубнова не покидал оптимизм. Свои исторические прогнозы он выводил из постулата демократии, считая, что существование и самосохранение национального меньшинства в современном многонациональном государстве может быть обеспечено только на почве правовых гарантий, — а идея автономии, самоуправления в области внутренних дел еврейства сугубо требует атмосферы, пропитанной демократией.

Историк еврейства пришлось зарегистрировать ряд исключительных бедствий, выпавших на долю его народа в мере, превосходившей его силы, — и в первую мировую войну, и в годы коммунистической революции, и в годы гитлеризма. В эту новую страшную эпоху, шаткое здание автономии, созданной усилиями еврейской общественности ранее в России и на Украине, затем в государствах Восточной Европы — Литве, Латвии, Польше, — не выдержало испытания. Еврейская самоуправляющаяся община не могла укрепиться прежде всего из-за неустойчивости и недостаточности демократических правовых гарантий. С гибелью демократии в стране должна была погибнуть и еврейская демократия. Но еврейские автономные органы пали жертвой и неблагоприятного соотношения сил в самом еврействе. Главными строителями еврейской автономии были сторонники светской секуляризованной общины, — меж тем, как в еврействе оказался еще очень живучим религиозный сектор, определивший такое направление общинной жизни и ее культурных учреждений, с которым современная демократическая мысль не могла мириться. В общинных институциях крупную роль играл и сионистский сектор, все помыслы которого были отданы идее создания еврейского государства в Палестине, подготовке кадров для эмиграции туда и пропаганде культуры на древне-еврейском языке. Эти противоречия между радикальной и консервативной общественностью, между идишитами и гебраистами, если не послужили непосредственной причиной крушения и без

того несовершенных форм автономии, — то в значительной мере подорвали ее существование и жизнедеятельность.

Конечно, опыт пережитой эпохи не дает оснований окончательно оценивать практическое значение автономизма, формулированного Дубновым, и не дает права предрешать перспективы будущего для еврейских национальных меньшинств в странах рассеяния. Не место здесь говорить об Америке, — но Дубнов всегда очень высоко оценивал значение крупнейшего еврейского центра в мире, какой существует в Америке. И вполне возможно, что именно в свободной демократической Америке, где на наших глазах наблюдается чрезвычайный рост национального самосознания американского еврейства, происходит внутренний кризис еврейской ассимиляции и рост потребности в национальной консолидации, — и на каждом шагу в разнообразных формах в Америке видна тяга и старшего поколения, и молодежи к еврейству, — складываются искания национального содержания и программы. И не исключено, что Соед. Штаты дадут образец постепенного осуществления планов культурно-национальной автономии. В известной мере преобладающие формы еврейской общественности уже сейчас представляют собой эмбрион этой автономии, и только требуется больше демократии в еврейских делах, больше общественного контроля и меньше «гвирократии» (власти доллара) для того, чтобы в Америке были созданы объединенные органы еврейского национального самоуправления.

На этом пути вряд ли может быть препятствием многоязычие еврейского населения Америки. С точки зрения Дубнова (убежденного плюралиста в вопросе о языках, — он любил иврит, высоко ценил культурные достижения на идиш, а сам был выучеником и поклонником русской культуры и языка, на котором написаны все его произведения) — с точки зрения Дубнова еврейское творчество всегда развивалось по линии двух или больше языков. И Дубнов, горячий националист и принципиальный противник ассимиляции, никогда не видел угрозы самосохранению еврейства ни в прошлом, ни в настоящем в языковом многообразии.

С. М. Дубнов не дождался образования государства Израиль. Зная его симпатии к делу колонизации Палестины и затем к созданию там одного из центров эмиграции, — надо думать, что Дубнов приветствовал бы создание после гитлеровского потопа государства Израиль. Однако это обстоятельство не снимает с порядка дня вопрос о взаимоотноше-

ниях нового еврейского государства с еврейством рассеяния. Эта проблема занимает еврейские умы и здесь, и там. А Дубнову еще в те далекие годы, когда он писал свои «Письма о старом и новом еврействе» пришлось неоднократно возвращаться к этой проблеме.

Именно тогда, когда Дубнов выступил с идеей духовного национализма, его друг по Одессе, еврейский мыслитель Ахад-Гаам выступил со своей концепцией духовного сионизма, противопоставляемого герцлевскому политическому сионизму. Как и Дубнов, так и Ахад-Гаам оба исходили из положения, что если бы удалось даже создать еврейское государство в Палестине, — правда, Ахад-Гаам это допускал, а Дубнов считал весь план утопией, — то даже при наличии такого еврейского государства большинство еврейского народа останется в рассеянии и не будет, и не может быть охвачено этим государством. Сейчас эта сторона вопроса представляется уже очевидной. Даже те, кто мечтали о «Великой Палестине», — никогда не представляли себе, что емкость государства Израиль может перейти за пределы 3-4-х миллионов человек. Следовательно, и Ахад-Гаам и Дубнов остаются и сейчас правы в этом вопросе: если не 85% еврейства, то, вероятно, 75% еврейства останутся вне Израиля, останутся в странах Америки и Европы и на других континентах. А это значит — в применении к концепции и национальной программе Дубнова, что рано, слишком рано, в связи с образованием государства Израиль, списывать со счетов идею автономизма. Ведь евреям в рассеянии приходится еще решать свои дела, искать лучших форм существования для себя, как экстерриториального национального меньшинства. И тут Дубнов дает ключ к необходимым решениям.

В связи с этим стоит и другой вопрос, всплывший еще в дискуссии между Ахад-Гаамом и Дубновым и вызвавший в свое время между ними расхождение. Отец «духовного сионизма» видел в Палестине точку приложения для центральной, одушевлявшей его идеи — создания в Палестине духовного центра, питающего то еврейское большинство, которое остается за пределами Палестины. Между тем Дубнов вскрывал недостаточность этой теории об одном духовном центре и противопоставлял в этом вопросе идею множества центров. Он указывал прежде всего на то, что творчество еврейского народа многообразно и разноязычно. Он подчеркивал, что на древне-еврейском языке создается культура для немногих, между тем как творчество огромного большинства

идет на других языках, и в первую очередь на идиш. Поэтому, по мнению Дубнова, наличие еврейских автономных органов в отдельных странах рассеяния и должно привести к образованию многих духовных центров в еврействе, взаимодействии которых и желательно, и возможно.

Еще в ту пору Дубнов предупреждал против предубеждений в отношении «голуса», против тенденции к «негации, к отрицанию голуса», которая порой дает о себе знать в Израиле. Он говорил, что даже для того, чтобы Израиль стал духовным центром для евреев повсюду, где они живут, должна же существовать та еврейская жизнь, которую Израиль хочет оплодотворять. А если отрицать эту жизнь в диаспоре, в «голусе», и признавать только Израиль и ничего кроме Израиля, то для кого же, собственно, нужен этот духовный центр в Израиле, кого он будет оплодотворять? Только творческая своеобразная деятельность в «голусе» может обеспечить культурно-национальное взаимодействие Израиля и еврейства за пределами Израиля.

В Одессе сложилась философия еврейской истории Дубнова. Через Вильно, где он пережил революцию 1905 года, он скоро вернулся в Петербург, где и прошла его многосторонняя деятельность историка, писателя, ученого, педагога, оборванная коммунистической революцией. Не было такого общественного или научного начинания в еврейских кругах Петербурга, в которых Дубнов не принимал бы активного участия за десятилетие 1906-1917. Он был одним из руководителей Историко-Этнографического общества. Он входил в редакцию коалиционного русско-еврейского журнала «Еврейский мир». Он был редактором замечательного и единственного в своем роде специального исторического журнала «Еврейская Старина». Он был участником «Еврейской Энциклопедии» на русском языке. Он был преподавателем на курсах востоковедения, откуда вышли впоследствии кадры молодых еврейских ученых. Он был основателем и лидером еврейской политической группировки под названием «Фолькспартей» (народной партии), в основу которой была положена программа автономизма. Он был одним из представителей «Фолькспартей» в Политическом Совещании еврейских партий, работавших вместе с евреями-депутатами Государственной Думы. Он писал также на идиш в ежемесячнике «Ди идише Велт» и в разных изданиях на русском языке, — особенно в эпоху страшных гонений на евреев в первую мировую войну неоднократно брал он в руки перо публициста, чтобы откликнуться на волнующие вопросы русско-еврейской действи-

тельности. Пережив голод, гражданскую войну, запустение Петрограда и — прежде всего и острее всего, — распад русского еврейства под большевистской властью, Дубнов в апреле 1922 года вырвался вместе с женой из России.

За пределами России появилась надежда дать воплощение главной задаче Дубнова, как еврейского историка, — выпустить написанные им десять томов «Всемирной истории еврейского народа». Отдельные томы «Новейшей истории» выходили на идиш и на иврит. В Москве в годы нэпа возникшее частное издательство печатало книгу Дубнова «Евреи в России и Западной Европе в эпоху антисемитской реакции». В Берлине русское книгоиздательство выпустило три тома новейшей истории. Наконец удалось наладить издание и объявить подписку в Берлине на 10-томное издание Истории на немецком языке. Этот монументальный труд, вышедший недавно на идиш в 10-ти томах, вместе с «Историей Хасидизма» и «Письмами о старом и новом еврействе» представляет собой самую важную часть научного и литературного наследия С. М. Дубнова.

В противоположность прежним, пользовавшимся большим авторитетом еврейским историкам, как Цунц и Грец, Дубнов в своих исторических исследованиях отвергает теологическую концепцию, воспринимающую еврейство, как религиозную группу. Он видит в истории еврейства не только мартирологию, хронику преследований и страданий и не только создание духовных, преимущественно религиозных ценностей, — как это понимали его предшественники. Применяя к истории еврейства эволюционный социологический критерий, Дубнов видит в еврействе на протяжении веков не религиозную группу, а нацию. И не только в период краткого территориально-государственного существования, но и на всём протяжении векового рассеяния Дубнов прослеживает в истории еврейского изгнания не только стремление к национальному самосохранению, но и к созданию автономных форм национального самоуправления — различных в разных странах, но имеющих некоторые общие черты. Историк видит эти формы самоуправления и в синагах Вавилонии, и в общинах Испании, и в кагалах и ваадах в Польше и Литве. Освобождение из плена религии идеи еврейской нации приводит к секуляризации еврейской истории, предметом которой уже больше не является еврейство, как носитель религии, но еврейство во всех разнообразных аспектах своей культурной, духовной, социально-экономической и политической жизни, — еврей-

ство, всё более становящееся на наших глазах насыщенной энергией, дифференцированной нацией в современном смысле этого слова.

С. М. Дубнову пришлось пережить не только распад русского еврейства, но и лично разделить мученическую гибель всего остального еврейства Восточной Европы. Для его современников, почитателей и учеников навеки жива память о нем, — о его деятельности историка и писателя. Именно в качестве историка и социолога, чуждавшегося крайностей романтики и утопизма в еврейском историческом процессе, за всеми бесчисленными еврейскими катастрофами не терявшего руководящей нити «законченной исторической преемственности», Дубнов писал в 1897 году в предисловии к письмам о старом и новом еврействе: «Пора проверить наш запутанный идейный инвентарь». Пора произвести эту проверку под знаком «исторической перспективы». Неправильно наблюдать «драму еврейской истории только с 5-го акта» и воображать, что «это и есть начало драмы». «Потомки старейшего исторического народа», евреи не должны поступать так, «как если бы это был народ вчерашнего дня, а не нация, умудренная опытом тысячелетий...»

Этот призыв к историческому самосознанию, к опыту тысячелетий, к вере в будущее народа, несмотря на исключительные страдания и катастрофы, которыми усеяна его история, и есть духовное завещание С. М. Дубнова, историка еврейского народа и одного из его мучеников, погибшего в Риге 8 декабря 1941 года.

Григорий Аронсон

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

В русской эмигрантской среде очень распространено убеждение, что все иностранные, в частности американские, эксперты по русским делам ничего в них не понимают. Что многие из них ничего не понимают, это — верно. Но когда частное суждение («многие») поднимается до уровня общего («все»), то, — суждение ложно. В настоящее время многие американские и европейские эксперты прекрасно разбираются в русских делах, каждый в своей области, а в совокупности они разбираются — во всём.

В том, что внешний мир теперь довольно хорошо осведомлен о русских делах, немалую роль сыграла русская эмиграция, которая имеет основания этими своими достижениями гордиться. Среди таких экспертов, способствовавших этому достижению, одно из первых мест принадлежит покойному редактору «Нового Журнала» М. М. Карповичу, который сумел передать свои знания и свое глубокое понимание русского прошлого и настоящего целой плеяде учеников, и среди них профессору Ф. Мозли, теперь играющему видную роль в Совете по Иностранным Делах. В апреле с. г. профессор Мозли поместил в журнале этого Совета («Foreign Affairs») статью, озаглавленную «Мифы о советских делах и действительность», выдающуюся по сжатости и убедительной формулировке сущности перемен, происшедших в СССР после смерти Сталина.

Основной тезис этой статьи таков. Одинаково неправы, как те, кто отрицает какие-либо значительные перемены в СССР (это — миф абсолютной неизменности советского строя), так и те, кто в наблюдаемых переменах видит залог постепенного выветриванья коммунистической диктатуры (это — миф неизбежности эволюции). В своей статье профессор Мозли рассматривает современную советскую действительность со всех сторон, и по поводу каждой приходит к выводу — измененья есть, но они отнюдь не гарантируют близкого конца советского периода русской истории.

Прежде всего он разбирает предположение, что в советской диктатуре заложена необходимость фракционной борьбы, которая рано или поздно приведет к взрыву. Он несколько не смущен жестокой борьбой за первенство, начавшейся после смерти Сталина и кончившейся в 1957 году восхождением на красный трон Хрущева. Победитель сумел взять в свои руки, при посредстве партии, в которой он теперь бесспорный хозяин, все главные политические силы страны, — и армию, и полицию, и весь аппарат управления, и через областные советы народного хозяйства, возглавляемые партийными секретарями, — всё гигантское хозяйство. «Государственный строй остался тем же, чем был при Сталине, но стиль управления сильно изменился». В своем окружении Хрущев допускает довольно значительную свободу обсуждения возникающих проблем, но это вовсе не значит, что он выпустил из своих рук хотя бы частицу власти; он также хорошо умеет разбивать «фракции», как это делали его предшественники.

Одной из главных особенностей в новом стиле управления является несомненное и значительное сокращение повседневного террора. Администраторы больше не дрожат при мысли о всегда возможной «ликвидации». Законы 1958 года значительно улучшили юстицию, хотя и не сделали СССР правовым государством: и тайная полиция, и прокуратура, и суд остаются в полном подчинении партии. Хрущев даже изобрел новое оружие для борьбы с «антисоциальными элементами» — дружины народной охраны и общественные суды.

Уровень хозяйственного быта несомненно повысился и это, думают оптимисты, непременно подорвет диктаторский характер режима. Однако, советское население приветствует это улучшение. Надо сказать, что оно усиливает популярность Хрущева, который поддерживает ее частым «хождением в народ» и готовностью подробно объяснять свою политику. Наконец, усилилось доверие населения к пропаганде: видя, что обещания по вопросам внутреннего быта хотя бы частично выполняются, народ проявляет всё больше склонности судить о внешних делах так, как это подсказывает власть.

Но, говорят оптимисты, не должно ли колоссальное развитие среднего и высшего образования (начатое задолго до Хрущева) непременно привести к развитию критического духа? Это как будто подтверждается настроениями просту-

пающими в студенческой среде. Школьная реформа 1958 года была в сильной мере вызвана информацией об этих настроениях. В интеллигентской среде (в советском ее понимании обнимающем и высшие и средние слои бюрократии) некоторые стороны реформы вызвали большое неудовольствие. Хрущев ловко обошел эти затруднения. На практике новые правила (о производственном стаже и партийной рекомендации) почти не применяются к студентам специализирующимся по физико-математическим наукам, инженерному делу и медицине; а те, которые идут по гуманитарным и общественным наукам, — строго отбираются. Конечно, мысли зарождаются и самопроизвольно, — но по всем данным советская молодежь лишена подготовки, необходимой для развития критического отношения к советской системе.

Профессор Мозли следующим образом обобщает результаты своего обзора современного положения в СССР: 1) в течение 60-х годов Западу придется иметь дело с советским государством, достигшим высокой степени устойчивости и построенным совсем на других основаниях чем США; 2) советская власть не откажется от права над жизнью и смертью в отношении любого советского гражданина, но будет применять его гораздо реже, чем это было при Сталине; 3) повышающийся уровень удовлетворения жизненных потребностей поведет к дальнейшему ослаблению антагонизма между властью и массами населения; 4) широкое развитие народного образования может создать некоторые трения, но не поставит под угрозу советский режим. Было бы приятно, если бы факты приводили к другим выводам. Но, увы, факты говорят за то, что в течение 60-х годов Соединенным Штатам будет противостоять быстро развивающаяся советская система, которая будет испытывать меньше трудностей по части сохранения политической устойчивости. И эта система будет продолжать стремиться к тем же целям, какие были поставлены Лениным и Сталиным.

**
*

Вероятно, многие русские читатели статьи проф. Мозли вознегодают. Он развивает столь пессимистический взгляд, что поневоле опускаются руки у русских борцов за свободу России. Не надо однако забывать, что статья его обращена не к русскому, а к американскому читателю. Ее прочли или еще

прочтут на самом высоком уровне. Если с ним согласятся, то эффект с точки зрения борьбы за освобождение России будет благоприятный. Она укрепит решительность и твердость мероприятий, направленных пока что хотя бы к сдерживанию коммунизма, к остановке его медленного, но за последние годы почти непрерывного распространения. Самым страшным ударом против борцов за свободу России был бы возврат к злосчастной мысли покойного Д. Ф. Доллеса, который долго строил американскую политику на предположении, что коммунистическая агрессия исходит с «позиции слабости» и как бы направлена к ее маскировке.

Из сказанного не следует однако, что русские люди должны безоговорочно принять все утверждения проф. Мозли. По мнению пишущего эти строки, его фактический анализ почти безупречен, но некоторые выводы всё же спорны. По мнению проф. Мозли аппарат советской власти (т. е. верхушка коммунистической партии) построен так, что сейчас легче чем в 1953 году выдержит смену возглавления. Он совершенно прав, когда говорит, что сейчас никаких борющихся с Хрущевым фракций нет. Но он упускает из виду, что вся эта верхушка, оформленная в президиуме ЦК компартии, ничем не выделяется из массы высших советских бюрократов, кроме того, что это именно они угодили Хрущеву. В 1953 году дело обстояло иначе. Тогда на верхушке было несколько лиц, успевших выделиться за 25-летнее единовластие Сталина. Спорили тогда о том, кто придет первым на финише — Берия, Маленков, Молотов — о Хрущеве думали лишь немногие. Но новой политической верхушке, окончательно сложившейся лишь к началу 1958 г. вероятно не будет дано столько времени, чтобы утвердиться и дифференцироваться, как это случилось при Сталине. Хрущев достиг высшей власти гораздо более пожилым человеком, нежели эти последние. Наступит день, и он вероятно не очень далек, — когда Хрущева не станет. Кто же придет ему на смену? Как одной из в сущности ничтожных фигур его окружающих, утвердить свое первенство перед всеми остальными? Конечно, всё может пройти благополучно для коммунистической партии. Но нельзя не считаться и с другой возможностью — глубокого потрясения всей страны на почве затяжной стадии «коллективного руководства», которое опять станет неизбежным. А система власти требует, чтобы во главе ее стоял единственный хозяин.

Спорно также утверждение, что улучшение уровня жизни понижает шансы революций. Так принято думать. Но в работе проделанной пишущим эти строки вместе с проф. П. А. Сорокиным о революциях, ясно проступает эмпирический факт (впрочем неоднократно подмеченный и более ранними исследователями): революции чаще всего происходят в периоды, когда восходящая кривая внезапно прерывается из-за бездействия или объективно неправильных действий правительства. Голодные массы могут устроить только бессмысленный и безрезультатный бунт. Подлинные же революции, приводящие к крупным переменам (всё равно — благоприятным или неблагоприятным) чаще всего вызываются только что упомянутыми перерывами в прогрессивном развитии.

Такой перерыв может возникнуть в связи с проблемами, ставимыми коллективизированным сельским хозяйством. Эта система ненавистна не только колхозникам, но и широким слоям городского населения, т. к. она явно обрекает страну на застой по продовольственной части. Сдвинуть дело с мертвой точки может только замена коллективизации какой-то иной формой землепользования. Но на это власть, идущая по прямой линии от Ленина к Сталину и Хрущеву и к еще новому, неизбранному историей лицу, никогда не пойдёт. Но при споре за преемство Хрущеву может выдвинуться лицо, которое осмелится совершить спасительный, но в корне подрывающий всю систему шаг. За ним по необходимости последуют другие, а совокупность их составит революцию, тем более, что такое развитие вряд ли совершится мирно.

Профессор Мозли прав, когда утверждает, что подъем образовательного уровня сам по себе не ведет к революции против деспотизма; к тому же школьная система в СССР делает всё возможное, чтобы насквозь пропитать подрастающее поколение коммунистическим духом. Но в системе, как она существовала до хрущевской ломки, было слабое место: почти половина юношей и девушек, достигших 17-18 летнего возраста, получала образование дававшее им право претендовать на сравнительно высокие посты в сфере интеллигентного труда; однако лишь меньшинство попадало в ВУЗы или иными путями проникало наверх; значительное большинство было принуждено сползать вниз в сферу физического труда или мелкой и рутинной канцелярской работы. Хрущев повидимому стремится значительно сократить контингент неудачников путем фактического уменьшения числа молодых людей, получающих неприменимое потом образова-

ние. Но зло уже налицо: в СССР имеется уже целая армия лиц, обиженных судьбою, и обиженных очень жестоко — невозможностью пристроиться к делу соответственно их подготовке.

При коммунистическом режиме проблема эта неразрешима. По существу же решение есть: давать образование (на уровне средней школы) возможно большей части подрастающего поколения, но при этом общее (с возможностью некоторого уклона в сторону той или иной отрасли знания, в зависимости от интересов и способностей отдельных учеников), не дающее получающим его естественной претензии на те или иные места. Так поступают все передовые демократии, часто по планам значительно лучшим американских. И вот рождается вопрос: что если при отборе кандидата в верховные правители СССР одолеет такой, который решится на ломку хрущевской ломки? Если это решение совпадет с отменой коллективизации сельского хозяйства, то это может привести к перевороту.

Всё это, если и совершится, то еще нескоро. Но ведь и прогноз проф. Мозли покрывает только текущее десятилетие. Таким образом нет противоречия между его тезисом, что нынешний политический строй обладает большой устойчивостью и русской думой о том, что освободительная революция всё же придет.

**
*

Если это так, то вполне оправдана работа русской мысли по вопросу о том, чем может стать освобожденная от коммунизма Россия. Такая работа в сущности велась с самого возникновения русской эмиграции. За первые два десятилетия она была довольно бесплодна, потому что эмигрантская мысль двигалась преимущественно в плоскости социальных идеалов, перенесенных в зарубежье из русской дореволюционной среды, которая отличалась большой раздробленностью на враждующие фракции. Выбор социального идеала как известно подобен выбору веры — доказать друг другу ничего нельзя, а опровергать друг друга очень легко. Сорокалетний опыт как будто убедил в бесплодности такой идеологической войны каждого против всех. И если теперь эмигранты опять начинают задумываться о том, что будет с Россией после падения коммунизма, то это иногда делается на иных путях. Нужно дать себе точный отчет в том, какие возможности за-

ложены в настоящем, и в том, что происходит в обществах, свободных от коммунизма, и в то же время достигших высокого уровня индустриализации и располагающих широким контингентом образованных людей, то-есть, двумя чертами, которых не было в былой России, но которые теперь налицо. Образцом мысли в таком плане мне представляется недавно вышедший труд проф. А. Д. Билимовича «Экономический строй освобожденной России» (ЦОПЭ, 1961).

Автор исходит из того положения, что хотя и медленно, но неустранимо в мире происходит процесс образования еще не виданного общественного строя, который далек от коммунизма, но также далек и от классического капитализма. Сущностью этого строя является сочетание хозяйственной свободы с государственным и общественным регулированием. Это движение началось еще в последнюю четверть 19 века и понемногу превратило старый капитализм в современный реформированный капитализм. В сущности этот строй даже перестал быть капитализмом. Это то, что в США называют «Welfare State», т. е. государством благосостояния.

И вот, говорит профессор Билимович, русский народ такого строя и жаждет. Он не желает сохранения в какой-либо форме коммунизма или даже социализма. Но, конечно, не допустит и ликвидации таких достижений, как общественная медицина, широко развитое народное образование, широкое по размаху (но недостаточное по размерам помощи) социальное обеспечение и т. д. И выход тут — именно в переходе к «третьему строю», о котором говорит проф. Билимович, строю смешанного хозяйства, включающему в себя государственный, кооперативный и частный секторы. Автор, большой знаток русской кооперации, правильно подчеркивает для России значение кооперативного сектора, который играет также большую роль в скандинавских странах.

Исходя из этих основных положений автор последовательно рассматривает вопросы промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли (внутренней и внешней), денег, кредита и финансов. Для каждой хозяйственной отрасли он указывает определенные решения, в соответствии с русскими условиями, по созданию «третьего строя». Так, например, в отношении сельского хозяйства он считает невозможным сохранение в каком-либо виде колхозов. Крестьяне потребуют и добьются распределения земли между ними. Но нужно обставить дело так, чтобы этот всероссийский передел не привел к гигантской продовольственной катастрофе. Индивиду-

альное ядро (т. е. отдельные крестьянские дворы) обросшие кооперативными кольцами — такова его формула. В области промышленности — решение таково: крупные предприятия должны остаться государственной собственностью; но должна быть восстановлена свобода учреждения новых предприятий, частных и кооперативных, и должен быть поощрен переход части государственных предприятий в кооперативный сектор по австрийскому образцу — путем планомерной продажи паев отдельным рабочим и служащим, которые в случае ухода с этих предприятий, должны свои паи продать. В области средней и мелкой промышленности должна быть допущена денационализация, опять-таки с упором на кооперативный сектор.

Нет оснований продолжать здесь беглый просмотр конкретных планов, изложенных проф. Билимовичем относительно других отраслей хозяйства — книга его настолько хорошо продумана и содержательна, что с ней непременно должен ознакомиться всякий, кто мыслит о будущем России. Не со всеми частями можно согласиться; но сам автор отлично понимает, что его план не имеет «временного измеренья». Он отнюдь не говорит, что освобождение России произойдет завтра или послезавтра, и подчеркивает, что окончательная формулировка плана будет зависеть от условий, в которых состоится освобождение, в особенности от того, сохранится ли органическое единство России — СССР или же это громадное экономически почти самодовлеющее тело, в котором так хорошо сбалансированы все отрасли хозяйства, распадется на части.

Мне думается, что книга проф. Билимовича может быть принята за основу планирования хозяйства освобожденной России, как теми, кто, как автор этих строк и профессор Мозли, думают, что на ближайшие годы шансы падения большевизма невелики, так и оптимистами, которые считают, что советский строй весьма недолговечен.

Н. С. Тимашев

НОВЫЙ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР

Первый Уголовный Кодекс РСФСР был принят в 1922 году, второй — оставшийся в силе до конца прошлого года — был принят в 1926-м. В 1935 году был опубликован проект сталинской конституции, согласно четырнадцатой статье которой издание Уголовного кодекса переходило от отдельных союзных республик в область общесоюзного законодательства. Под руководством известного советского юриста профессора Е. Пашуканиса был разработан проект общесоюзного Уголовного кодекса. Однако, в 1937 году Пашуканис, который до того времени считался одним из главных теоретиков советского права, был репрессирован за то, что следовал теории Маркса об отмирании права. Его проект кодекса утвержден не был.

На смену Пашуканису, как теоретика советского права, пришел А. Вышинский, который «взял на вооружение» тезис Сталина о том, что право, как и государство, исчезнет только на последней стадии коммунизма, с уничтожением капиталистического окружения. Во времена Вышинского вплоть до смерти Сталина не было предпринято никаких серьезных шагов по пересмотру уголовного законодательства.

Смерть Сталина коренным образом изменила положение. Стремясь расположить к себе население коллективное руководство обнародовало двадцать седьмого марта 1953 года амнистию, в которой среди прочего говорилось, что министру юстиции СССР поручено в месячный срок представить проекты Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Как и следовало ожидать, эта формулировка оказалась чисто пропагандной: кодексы были опубликованы только через несколько лет.

Тем временем четырнадцатая статья конституции была пересмотрена и в Советском Союзе вернулись к прежней практике, по которой кодексы издаются союзными республиками, а в общесоюзном плане принимаются только так называемые «Основы» соответствующего законодательства.

В декабре 1958 года Верховный Совет СССР принял восемь законов, в том числе Основы уголовного законодатель-

ства, Основы уголовно-процессуального законодательства, Основы законодательства о судостроительстве, Закон об уголовной ответственности за государственные преступления, Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. Принятые «Основы» должны были послужить фундаментом для новых кодексов союзных республик.¹ Принятые общесоюзные законы должны были быть инкорпорированы в эти кодексы.

Надо сказать, что кодификация коснулась не только уголовного права. Ей были подвергнуты и другие отрасли советского законодательства. Необходимость подобной кодификации вызывалась исключительно запущенным состоянием всего права:

«...действующее законодательство содержит немало норм, формально не отмеченных, но уже потерявших свое значение и фактически не действующих;

при издании новых актов не отменяются или не вносятся изменения в ранее изданные акты;

изменения в действующие нормативные акты вносятся ненормативными актами».²

Уже в 1959 году две союзные республики — Узбекистан и Казахстан — приняли новые уголовные кодексы. Двадцать седьмого октября 1960 года Верховный Совет РСФСР принял новый закон о судостроительстве, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Настоящую статью мы посвятим разбору нового Уголовного кодекса РСФСР, который вступил в силу первого января этого года.

**
*

Как правило, уголовные кодексы делятся на две части: общую и особенную. В первой излагаются основные правила применения кодекса. Во второй перечисляются преступления и применимые к ним наказания. В общую часть нового Уголовного кодекса РСФСР инкорпорированы общесоюзные Основы уголовного законодательства. Одним из важнейших «нововведений» этих Основ является возвращение к норме рим-

1. Об этих законодательных актах см. Н. С. Тимашев, «Реформы в советском уголовном праве», Новый Журнал, кн. 56.

2. «40 лет советского права», издательство Ленинградского университета, 1957, стр. 50.

ского права: *nullum crimen, nulla poena sine lege* — не может быть ни обвинения, ни наказания без соответствующего закона. Статья 3 нового Уголовного кодекса гласит:

«Уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении преступления, то есть умышленно или по неосторожности совершившее *предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние*.

Уголовное наказание применяется только по приговору суда».³

В кодексе 1926 года соответствующая статья (6) гласила:

«Общественно опасным признается *всякое* действие или бездействие, направленное против Советского строя или нарушающее правопорядок, установленный Рабоче-Крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени».

Подобная редакция открывала путь любому произволу, тем более если ее сопоставить со статьей 16 старого кодекса, которая закрепляла так называемый принцип аналогии:

«Если то или иное общественно-опасное действие прямо не предусмотрено настоящим Кодексом, то основание и пределы ответственности за него определяются применительно к тем статьям Кодекса, которые предусматривают наиболее сходные по роду преступления».

Хотя принцип аналогии как правило и не применялся, можно только приветствовать его исчезновение из нового кодекса, так как это свидетельствует о стремлении советских юристов к какой-то нормализации уголовного законодательства. Обращает на себя внимание и следующий момент: в старом кодексе говорилось об «общественно-опасных действиях», и о применении к лицам их совершившим «мер социальной защиты». Эта терминология заимствована из итальянской позитивистической школы уголовного права, которая отказывалась видеть в правонарушении этический момент преступления, а в санкции — этический момент наказания. В статье 9 старого кодекса говорилось:

«Меры социальной защиты не могут иметь целью причинение физического страдания или унижение человеческого достоинства и *задачи возмездия и кары себе не ставят*».

³. Курсив здесь и ниже наш.

Напротив в статье 20 нового кодекса говорится:

«Наказание не только является карой за совершенное преступление, но и имеет целью...»

Это — явное возвращение к традиционным понятиям.

Новый Уголовный кодекс сократил число видов наказания с четырнадцати до одиннадцати, удалив, например, из их перечня изгнание из пределов СССР. Прошли те годы, когда удаление из Советского Союза могло рассматриваться, как наказание. И самовольный уход из страны советов уже давно карается смертной казнью.

Смертная казнь сохраняется в виде «исключительной меры наказания»:

«В виде исключительной меры наказания, впредь до ее полной отмены, допускается применение смертной казни — расстрела...» (ст. 23).

После войны в 1947 году смертная казнь была упразднена Указом Президиума Верховного Совета СССР, с ссылкой на «исключительную преданность Советской Родине и Советскому Правительству всего населения Советского Союза». Но уже в 1950 году Указом того же Президиума этот вид наказания был восстановлен.

Максимальный срок лишения свободы установлен теперь в пятнадцать лет, тогда как в прежнем кодексе это была неизвестная «катушка» — 25 лет.

Перейдем теперь к особенной части нового Уголовного кодекса. Начинается она с инкорпорированного общесоюзного Закона об уголовной ответственности за государственные преступления. Раньше этим положениям соответствовала небезизвестная статья 58. Первая статья этой главы говорит об измене родине и в числе прочих вариантов такой измены приводит «бегство за границу, или отказ возвратиться из-за границы», которые могут караться смертной казнью. Этот пункт бесспорно следует отнести к величайшим достижениям советской «прогрессивной» юридической мысли. Первое преступление — бегство за границу — фигурировало уже в старом кодексе. Хорошо еще, что из нового текста удалено совершенно чудовищное положение, согласно которому родствен-

ники бежавшего, «не знавшие о готовящейся измене», карались ссылкой (ст. 58^{1в}):

«Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления — подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на пять лет».

Следует особо остановиться на статье об антисоветской агитации и пропаганде (ст. 70):

«Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого содержания —

наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет или ссылкой на срок от двух до пяти лет».

Эта статья содержалась и в предыдущем кодексе (58¹⁰), однако в ней не говорилось о «распространении клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Эта формулировка по меньшей мере любопытна. Кроме того интересно было бы уточнить, что именно законодатель имеет в виду под понятием агитации против «Советской власти». Распространяется ли действие этой статьи на пропаганду против коммунистической партии? И совместимо ли это положение со статьей 125 конституции о свободе слова, митингов и демонстраций? Наконец показательно, что и в новой редакции сохранен пункт о наказании за распространение пропагандной литературы. Надо отметить, что за последнее время советская печать много писала о распространении в стране подобной литературы.

В статье 72 среди прочего говорится о наказании за «участие в антисоветской организации». В соответствующей статье старого кодекса (58¹¹) мы не находим подобной формулировки. Появление этого пункта вероятно вызвано возникновением в СССР различных видов подполья, о котором советская печать тоже много писала за последнее время («иеговистское подполье» и т. д.).

Теперь перейдем к неполитическим преступлениям. По статьям 153 и 154 преследуется коммерческая деятельность. Со-

гласно первой из них карается «коммерческое посредничество, осуществляемое частными лицами в виде промысла или в целях обогащения». Согласно второй — преследуется «спекуляция, то есть скупка и перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы». Интересно, что в данном случае самая обычная торговля квалифицируется как спекуляция. По соответствующей статье старого кодекса (107) каралась только перепродажа сельско-хозяйственных продуктов и предметов массового потребления. Необходимость более широкого определения «спекуляции» явно вызвана, расширением в Советском Союзе нелегального частного сектора, который за последнее время принимает в отдельных отраслях народного хозяйства угрожающие размеры.

В теперешнем кодексе введена и такая глава: преступления против правосудия. Как правило новые статьи вводятся в кодекс в связи с тем, что за предшествовавший период установлено значительное увеличение числа соответствующих преступлений, а следовательно ощущается и необходимость в более подробной регламентации их пресечения. В рамки главы о преступлениях против правосудия введен ряд новых статей; и из них следует обратить особое внимание на две первые:

Статья 176: «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, — наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, соединенные с обвинением в особо опасном государственном или ином тяжком преступлении либо с искусственным созданием доказательств обвинения, — наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет».

Статья 177: «Вынесение судьями заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления — наказывается лишением свободы на срок до трех лет. те же действия, повлекшие тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет».

Весьма показательно упоминание о «привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности» с «обвинением в особо опасном государственном преступлении» и «искусствен-

ным созданием доказательств обвинения». Думается, что многие советские «контр-революционеры» увидят в этой статье точное описание суда над ними. Интересно остановиться и еще на ряде статей, существовавших, правда, уже в прошлом кодексе. Так, советский закон продолжает преследовать мужеложство (ст. 121). Как известно, в свободном мире далеко не во всех странах преследуется это извращение. В свое время оно не преследовалось и в Советском Союзе, в период, когда еще проповедывалась свобода половых отношений.

Следует сказать несколько слов о «преступлениях, составляющих пережитки местных обычаев» (глава одиннадцатая). Кодекс преследует уклонение от примирения в случаях кровной мести, уплату и принятие выкупа за невесту, многоженство и т. д. Но действие этой главы распространяется только на отдельные части РСФСР.

Статья 190 преследует в определенных случаях недонесение о готовящемся или совершенном преступлении. За границей подобное бездействие считается преступлением только в отдельных странах, но трудно было ожидать, чтобы Советский Союз не последовал их «прогрессивному» примеру. Наконец в главе двенадцатой инкорпорирован общесоюзный Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. Мало кто, вероятно, заметил исчезновение из нового кодекса статьи о нарушении нанимателем коллективных договоров (ст. 134 старого кодекса). По свидетельству советских юристов, со времени возобновления практики заключения коллективных договоров в 1947 году эта статья «вообще не применялась».⁴ Таким образом трудящиеся окончательно лишились одного из без того немногих средств защиты своих колдоговорных прав.

Подводя итоги сказанному, нельзя не признать, что новый уголовный кодекс РСФСР — несмотря на перечисленные нами недостатки — по сравнению со старым кодексом представляет все же определенный прогресс. Советские юристы видимо много и долго трудились над его составлением и, нам кажется, им удалось, хотя бы на бумаге, отвоевать некоторые позиции. Вопрос теперь в том, насколько все это оста-

⁴ Г. Москаленко, «Повысить действенность коллективных договоров», *Советские Профсоюзы*, 1958, №2.

нется на бумаге. Возьмем, например, статью 132, которая гласит:

«Подлог избирательных документов или заведомо неправильный подсчет голосов, а равно нарушение тайны голосования, совершенные членом избирательной комиссии или другим должностным лицом, — наказываются лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до одного года».

или статью 135:

«Нарушение тайны переписки граждан — наказываются исправительными работами на срок до шести месяцев, или штрафом до трехсот рублей, или общественным порицанием».

Этих статей не было в прежнем кодексе. Однако, трудно поверить, что они будут действительно применяться. Известно, что переписка советских граждан подвергается в «нужных случаях» цензуре. Что же касается «неправильного подсчета голосов», то здесь надо обратить внимание на новую, опасную для правительства тенденцию: на последних выборах в целом ряде избирательных участков кандидаты были забаллотированы. И если действительно правильно подсчитывать голоса избирателей, то население — чего доброго — может войти во вкус и отклонять все большее число партийных ставленников.

Не надо забывать, что сталинская конституция, «закрепившая» за гражданами такое количество прав, была принята непосредственно перед ежовщиной. Провозглашение каких-нибудь норм далеко еще не значит, что эти нормы будут хотя бы частично соблюдаться. Все зависит от политического положения в стране. И тут надо сказать, что положение в стране значительно отличается от того, каким оно было во времена ежовщины. Сейчас власть вынуждена считаться — правда в какой то очень ограниченной мере — с общественным мнением, главным образом с мнением «нового класса» — советской аристократии. Поэтому не следует и преуменьшать значение нового кодекса, который при определенных обстоятельствах может явиться средством защиты прав граждан.

Последнее время в Советском Союзе наблюдается определенная тенденция к нормализации отдельных отраслей жиз-

ни страны и в частности к нормализации права. Это отразилось в проводимой в настоящее время кодификации, которая явно направлена на сближение юридической теории и практики. До недавнего времени в некоторых отраслях права между теорией и практикой наблюдалось полное расхождение. Так например, согласно советским же источникам, из всего Кодекса законов о труде РСФСР применяется только две статьи.⁵ Мы знаем, как соблюдалась статья прежнего Уголовного кодекса, карающая «принуждение к даче показаний при допросе путем применения незаконных мер со стороны производящего допрос лица». В Советском Союзе создалась поговорка — был бы человек, а статья всегда найдется. Подсудимому «пришивали» дело, часто вне всякой связи с его поведением. Может быть поэтому так долго и не принимался новый кодекс — хоть разговоры об этом шли уже с тридцать пятого года: в нем не было по сути дела надобности, поскольку правосудие отправлялось так сказать независимо от этого документа.

В настоящее время положение несколько изменилось. Советские юристы явно стремятся к тому, чтобы выдвигаемые против подсудимого обвинения действительно соответствовали с одной стороны каким-то его проступкам, а с другой — определенным нормам советского права. Это им не всегда удается, потому что в советской уголовной практике укоренилось правило считать преступлением всякое «общественно-опасное» действие или бездействие. Гораздо сложнее предусмотреть все возможные варианты преступлений, чем предоставить на усмотрение органов госбезопасности судить о благонадежности советских граждан.

В связи с тенденцией более последовательного применения законов, в советской печати стали появляться письма читателей и даже статьи, авторы которых искренне удивляются тому, что вот поведение такого то гражданина явно противоречит социалистическим нормам, а наказать его нельзя, «только потому» что нет соответствующей статьи. Советское руководство и тут показало свою находчивость. Изобретен новый метод, получивший наименование «шелепинщины» (по фамилии председателя КГБ Шелепина). Заключается он в привлечении к подобным делам «общественности». Это — образование так называемых народных дружин, представление все большего числа дел на рассмотрение «товарищеских су-

5. «Известия», 14 августа 1956.

дов», передача правонарушителей на поруки коллективов трудящихся. Теоретически эта политика обосновывается «переходом к общественности ряда функций в области охраны общественного порядка и соблюдения законности, ранее выполнявшихся государственными органами»,⁶ переходом, которым должно сопровождаться «отмирание государства при коммунизме». Практически же эта политика вызвана необходимостью заполнить пробелы уголовного законодательства.

В Советском Союзе есть, например, целая категория лиц, живущих так сказать вне социалистического общества, не нарушая в то же время его писанных норм. Это — люди торгующие продуктами со своих огородов, сдающие комнаты на своих дачах, зарабатывающие вообще себе на жизнь путями, не предусмотренными социалистической экономикой. Раньше таких людей вылавливали и подводили под какую-нибудь статью. Теперь, в результате попыток играть в правосудие, с ними не знали, что делать: они проскальзывали между статьями уголовного кодекса. Но, как мы уже сказали, советское руководство, — весьма находчиво, и к этому делу была привлечена «общественность». В целом ряде союзных республик был принят закон, согласно которому общие собрания колхозников или, в городах, граждан, проживающих на той же улице, имеют право принимать решение о ссылке лиц «злостно уклоняющихся от общественно-полезного труда». Это решение подлежит утверждению местных властей. По месту ссылки осужденный привлекается в обязательном порядке к работе. По сути дело это — административная ссылка. И ею грубо нарушаются Основы уголовного законодательства, в которых говорится, что «Уголовное наказание применяется только по приговору суда».

В РСФСР аналогичный закон был введен только в мае этого года. Он отличается от соответствующих законов других республик тем, что им предусмотрено два пути преследования «тунеядцев» — административный и судебный.

Кроме того за последние месяцы ряд изменений был внесен в общесоюзное уголовное законодательство. Так согласно новой редакции статьи 25 Закона об уголовной ответственности за государственные преступления нарушение правил о валютных операциях может караться теперь — помимо лишения свободы и конфискации валюты — и конфискацией имуще-

⁶. Советское Государство и Право, 1961, №1, стр. 24.

ства осужденного. Это изменение было внесено в феврале. Одновременно к Закону была добавлена статья 27, преследующая недонесение о некоторых государственных преступлениях, в частности, о нарушении правил о валютных операциях.

В мае месяце Президиум Верховного Совета СССР издал указ, в котором говорилось:

«Допустить применение смертной казни — расстрела: за хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах, за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, совершенные в виде промысла, а также в отношении особо опасных рецидивистов и лиц, осужденных за тяжкие преступления, терроризирующих в местах лишения свободы вставших на путь исправления заключенных или совершающих нападения на администрацию, или организующих с этой целью преступные группировки, или активно участвующих в таких группировках».

В соответствии с этим указом изменен Закон об уголовной ответственности за государственные преступления и Основы уголовного законодательства. Издание этого указа весьма показательно. Оно свидетельствует о том, что в Советском Союзе есть лица, «занимающиеся изготовлением поддельных денег в виде промысла», группировки преступников, совершающие нападения на администрацию, а главное участились случаи хищения государственного имущества «в особо крупных размерах». В статье, помещенной в том же номере «Известий», где был опубликован указ,⁷ генеральный прокурор СССР Р. Руденко приводит следующие примеры подобных хищений:

«На Киевском заводе химических изделий местной промышленности шайка воров похитила государственного имущества на сотни тысяч рублей. Расхитители занимались изготовлением и сбытом неучтенной продукции, которую они вырабатывали из сырья, похищенного со склада завода, и сырья, приобретенного ими по нарядам. На деньги, нажитые преступным путем, участники хищений приобретали дома, дорогую мебель, ценные вещи, драгоценности, золотые изделия. У преступников изъято ценностей и наличных денег на сотни тысяч рублей.

⁷. «Усилить борьбу с особо опасными преступниками», «Известия», 7 мая 1961.

В городе Гори Грузинской ССР в ателье индивидуального пошива обуви большая шайка преступников расхитила государственного имущества на многие сотни тысяч рублей. В шайку входили заведующие цехами, складами, ателье, работники магазинов. В цехах они изготовляли из добытых преступным путем кожаных материалов значительное количество неучтенной модельной обуви, которую сбывали через работников торговой сети, а вырученные деньги делили между собой. При обысках у них обнаружено и изъято много похищенных материалов, готовой продукции и на очень крупную сумму различных ценностей. Один из расхитителей некий Шаташвили на похищенные средства построил себе двухэтажный дом, оцененный в 432 тыс. рублей...»

Показательно, что все новеллы, изданные за последние месяцы, направлены по сути дела против «спекуляции» — в различных ее вариантах. Мы уже говорили о статьях Уголовного кодекса РСФСР, преследующих спекуляцию. Но, видимо, за последнее время она принимает такие размеры, что этих статей оказалось недостаточно.

Т. И. Троянов

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

HUMANITAS HEROICA

По поводу статьи Г. В. Вернадского «Повесть о Сухане»¹

Утверждая, что в плаче Сухановой матери —

«Плачу я о твоём доротцтве во истинной храбрости,
Что еси дорос человечества» —

слово *человечество* равносильно черногорскому понятию *чойство*, Героргий Владимирович Вернадский конечно совершенно прав. Его утверждение стало бы совсем неопровержимым, если бы он также растолковал слово «доротцтво». В плаче это слово употреблено в смысле *зрелости*, т. е. именно в том смысле, в котором выходцы с крайнего севера СССР — народные музыканты и исполнители старин — его толковали. Об этих северянах уже писалось². И, будучи переведенными на современный русский литературный язык, вышеприведенные строки плача матери Сухана звучали бы следующим образом:

«Плачу я о твоей зрелости во истинной храбрости,
Потому что ты дорос до человечности».

Человечность героя — черногорское *чойство* — или, как Герхард Геземан чрезвычайно метко определяет его, *humanitas heroica*³ отразилась во Владимирском пергаменте⁴ в понятиях *чойства* и *чайства*. Слова *чайсть* и *чясть* были в обиходе вышеупомянутых северян⁵. Понятия *чойство*, *чонства*, *чайства*, *чайсть* и *чясть* вытекают из одного и того же героического миропонимания, даже если бы все эти пять слов не могли бы быть приведены к общему знаменателю посредством лингвистических закономерностей. Закономерности же эти сплошь да рядом теряют свою правдоподобность для тех, кто — как, например, я — изучают не только литературные языки, но и народные говоры. Но о неточности лингвистических закономерностей, о их крайней недостаточности в отношении народных говоров все еще не принято думать вслух...

Однако же открытие Г. В. Вернадского столь значительно, что я — вопреки своему обыкновению — решаюсь дополнить его моими собственными наблюдениями, а скудость их да простится в свете следующих фактов: Упомянутые северяне — выходцы с побережья Белого моря, с берегов рек Мезени, Печоры и Пинеги и из Архангельской и Олонецкой областей — их было 29 человек — скрывались под вымышленными именами в украинском секторе лагеря

перемещенных лиц в Регенсбурге. Члены этой группы северян — «заслуженные народные артисты» — особенно крепко хлопнули дверью, покидая пределы СССР. Мое общение с ними продолжалось почти три года.

Один из северян, глубокий старик — уже умерший — помнил еще исследователей старин, посещавших его в царское время. Он пел для них, пел позже и для советских собирателей, а потом — отказался. Таким образом из «заслуженного народного артиста» он был переименован во «врага народа». Тем не менее он и дальше оставался верным заветам отцов, предпочитая кличку «врага народа» *позору* «заслуженного народного артиста».

«Позор» — это его собственное выражение. И этот то позор был совсем не в том, что ему пришлось петь не только старые, но и «новые» песни, которые стремились найти советские собиратели. В угоду им он импровизировал «старинны» и о «Ленине» и о «Сталине», ибо и эти понятия были для него таким же «звуком пустым», как и «Царь-батюшка», только вот последний «не силовал». В своем «новом» творчестве старик пользовался испытанными приемами — текстовыми и музыкальными моделями, издавна служащими средствами народной импровизации⁶, заменяя лишь имена богатырей именами, подсказанными ему «новейшими собирателями фольклора». Так на первых порах создавался «советский героический эпос».

И если бы «пронски власть имущих» остановились бы только на этом, никакие силы не заставили бы старика покинуть свою «весь» и начать «бегать по иностранствам». Однако «охальники», следуя тенденции генеральной линии⁷, стали требовать от него «господских — распутных песен», т. е. песен обусловленных не русско-народным горизонтальным, а западно-европейским вертикальным тоноощущением⁸. «По-барски» же петь он не захотел и именно поэтому бежал.

Возможность вступить в конфликт с каким бы то ни было правительством из-за различий взглядов на музыкальную культуру покажется невероятной каждому неискушенному. Но искушенный то конечно вспомнит, что под игом национального социализма приверженцы современной художественной музыки⁹ подвергались гонениям. Присовокуплю, что случай этого старика далеко не единственный. У каждого из вышеупомянутых «заслуженных народных артистов» — какого возраста он ни был бы — была своя подобная «беседа» о том, как он стал «изменником родины». А этих то «бесед» — повествований о житейских неудачах я наслушался до отвала во время моего краткого, но весьма тесного общения с северянами.

Чайсть — *чьясть*! Эту поговорку мне приходилось слышать не раз из уст моих северян. Благодаря расспросам я выяснил, что в их толковании между понятиями *чайсть* и *чьясть* нет казуального, но есть потенциальное соотношение. Если философское определение уместно в настоящем изложении, то тогда *чайсть* здесь относится к понятию *чьясть* как отвлеченное явление к вещественности как таковой. Больше того *чайсть* и *чьясть* могут входить в состав одного и того же обобщенного понятия, но тогда они указывают на различные полюса той же самой сферы. Принимая перечисленные характеристики во внимание и мысленно переносясь в героически-патриархальные пределы западных Балкан, можно установить, что в миропонимании северян *чайсть* соответствует древнегреческому понятию *arete*, а *чьясть* является ее неотделимой спутницей — «честью»¹⁰. И в сфере древнегреческой мысли уже Вернер Егер¹¹ блестяще доказал это положение. Но, заимствуя его терминологию, *чайсть* северян в одном из своих проявлений может быть также и «духовной крепостью, отвагой, которых нельзя рассматривать как рыцарскую доблесть в западном смысле» и «которые всецело отрешены от физического начала»¹².

Тем не менее предшествующие определения ни в коем разе не исчерпывают всех значений поговорки *чайсть* — *чьясть*! В толковании северян эти два слова также обозначают градации *humanitas heroica*. Второе слово поговорки символизирует обуздание отваги, а первое — приобретение человечности. Сам же процесс достижения *humanitas heroica* выражался северянами следующим образом: *дорóци чело́вечество*¹³. А это то выражение весьма недалеко от слов «дорос человечества» плача Сухановой матери.

В то время как на сербо-хорватском языке есть немало трудов¹⁴, посвященных проблемам героизма, геройство в понимании жителей крайнего севера СССР все еще освещено чрезвычайно скудно. Этот промах не может не сказываться на изучении и интерпретации народного эпоса — былин¹⁵ или, как сам народ предпочитает звать их, старин. Но для того, чтобы пополнить таковой пробел, необходимо непосредственное и самоотверженное общение с деревенскими жителями крайнего севера, т. е. то, что в свое время проделал Павел Иванович Якушкин. Именно в таком духе я и вел свою работу на Балканах в 1933-42 годах.

Здесь, в героически-патриархальной зоне Балкан¹⁶, становится совершенно ясным, что взаправду истинное геройство всегда ясно и чисто или — по-черногорски¹⁷ — *ведро и чисто*. Чтобы быть героем *юнаку* недостаточно отваги — он должен обуздать ее и сделаться *человеком*. Безусловно, человечность и геройство должны быть здесь слиты в одно целое¹⁸, но следует добавить, что ни од-

но из них не смеет перевесить другого — нарушить состояние равновесия. Из этого же духовного равновесия проистекает та неподдельная терпимость к другим, но ни в коем случае не к самому себе, которую мне всегда приходилось наблюдать у тех, кто — будь они албанцы, черногорцы или русские северяне — уже подступали к вершинам *humanitas heroica*. На Балканах высоты *humanitas heroica* достигали и — на основании тщательно проверенных известий — все еще достигают современные эпические герои, живущие вне рода и племени в неприступных горах северной Албании. В киевском же цикле старин¹⁹ *humanitas heroica* выделяет богатырей отшельников — Светозара, Святозара или Святогора, — которые достигли такого совершенства, что им не место в свите Владимира Красного Солнышка. И, сравнивая тип этих богатырей с типом упомянутых отшельников северной Албании, невольно склоняешься к заключению, что совершенство это достигалось уже после всеобщего признания богатыря героем, когда он удалялся от мира соревноваться с богами и духами в человечности по отношению к простым смертным. Вот это крайний предел *humanitas heroica* — это апофеоз культа патриархального героизма и человеко-герой такого стиля рассматривается его средой как полубог, а Светославу или Святославу — богатырям далекого севера неоднократно придается эпитет *светого* — «просветленного» или — под позднейшим влиянием церкви — «святого».

Как бы скромны мои дополнения к открытию Г. В. Вернадского ни были, они могли бы — и тут я нескромен — указать молодежи новый путь к изучению русского эпоса.

Юрий Арбатский

¹ *Новый Журнал*, 59 (1960), стр. 196-202.

² См. мои *Этюды по истории русской музыки*, Нью Йорк, 1956, стр. 104-107, 143 и "The Soviet Attitude towards Music: An Analysis Based in Part on Secret Archives," *The Musical Quarterly*, XLIII (1957), стр. 303-304.

³ Gerhard Gesemann, *Heroische Lebensform*, Берлин, 1943, стр. 107, 208-226.

⁴ О котором см. George Vernadsky, *The Origins of Russia*, Оксфорд, 1959, стр. 310-314, 322.

⁵ Следует отметить, что особенности выговора северян, повидимому, не сказывались на их произношении этих двух и подобных им слов, связанных с понятиями героизма.

⁶ Касательно народной импровизации и так называемых эпических моделей см. "Der musikalische Bau des montenegrinischen

Volksepos," *Archives Néerlandaises de Phonétique Experimentale*, Амстердам, 1933 и G. Gesemann, "Die Asanaginica im Kreise ihrer Varianten," *Archiv für Slavische Philologie*, том 38-ой, стр. 1-44; "Der Klaggesang der edlen Frauen des Asanaga: Zu Goethes Gedächtnis," *Slavische Rundschau*, том 4-ый, стр. 97-114; *Studien zur südslawischen Volksepik*, Рейхенберг, 1926; и «Вук Лопушина», *Sišićev Zbornik*, Загреб, 1929.

⁷ О которой см. мою статью "The Soviet Attitude... итд.", стр. 301 f.

⁸ Подробности и детальное объяснение этих тоноощущений читатель найдет в моей книге *Этюды...* итд., стр. 90 ff.

⁹ "Entartete Musik."

¹⁰ G. Gesemann, *Heroische...* итд., стр. 108-131.

¹¹ Werner Jäger, *Paidaeia: die Formung des griechischen Menschen*, Берлин, 1934 I, стр. 25; см. также W. Jaeger, *Paidaeia: The Ideals of Greek Culture*, Нью Йорк, 1939.

¹² W. Jäger, *ibid.*, стр. 27.

¹³ Винительный падеж.

¹⁴ Главные из них — следующие: Stojan Cerovic, *Primjeri iz zivota Crnogoraca: Njihovog cojstva, vitesstva i karaktera*, Никшич, 1929-1932 I-II; Marko Miljanov, *Primjeri cojstva i junastva*, Белград, 1901; и M. M. Pavicevic, *Crnogorci u pricama i anegdotama*, Белград, 1928 I, Подгорица, 1928 II, Херцеговни, 1929 III-IV, Загреб, 1929-1932 V-IX, Самобор, 1931-1932 X-XI, и Великий Бечкерек, 1932 XII. См. также Vladimir Dvornikovic, *Karakterologija Jugoslovena*, Белград, 1939.

¹⁵ Этот термин, вошедший в русский литературный язык, был введен в употребление в тридцатых годах прошлого столетия известным собирателем фольклора Сахаровым.

¹⁶ Касательно балканских зон см. Jovan Cvijic, *Balkansko poluostrvo i Juznoslovenske zemlje*, Загреб, 1922 I, Белград, 1931 II.

¹⁷ Прекрасно зная, что черногорское наречие относится наукой к сербо-хорватскому языку, я тем не менее выделяю «по-черногорски» из-за особых понятий встречающихся только в этом наречии.

¹⁸ Г. В. Вернадский, «Повесть... итд.», стр. 199.

¹⁹ В бытность мою в Регенсбурге мною было заснято 88 звуко-лент со старин этого цикла и 129 звуко-лент со старин цикла который я хотел бы окрестить *северным*, исполненных северянами. И у меня есть все основания доверять этим лентам несравненно больше, нежели опубликованным записям общепризнанных авторитетов. Таким образом в продолжении настоящего изложения я ссылаюсь только на свои собственные материалы.

БИБЛИОГРАФИЯ

THE CONSCIENCE OF THE REVOLUTION. *Communist Opposition in Soviet Russia*, by Robert Vincent Daniels, Harvard University Press, 1960.

Эта книга посвящена истории всех оппозиций политике и тактике Ленина, существовавших раньше в рядах единой Российской Социал-демократической Рабочей Партии, а после раскола в 1903 г. в рядах большевистской партии на протяжении чуть ли не двадцати лет, а также истории оппозиции Сталину, начиная с 1923 г. Автор книги, молодой ученый, профессор Роберт Дэниельс хорошо владеет русским языком. Он тщательно изучил громадный материал по истории РСДРП и КПСС и различных течений и оппозиционных групп, существовавших в ней со дня основания партии и до конца тридцатых годов, когда всякая оппозиция была «вырвана с корнем», а ее активные деятели были расстреляны.

Книга «Совесть революции» — вполне научная, объективная историческая работа. Описывая борьбу против Ленина в рядах РСДРП автор правильно указывает на выступления Троцкого. Известно, что не кто иной, как Троцкий еще в 1904 г. в своей брошюре «Наши политические задачи» пророчески предсказывал, к чему приведут методы Ленина. «Во внутренней партийной политике, — писал Троцкий, — методы Ленина приводят к тому, что партийная организация заменяет собой партию. ЦК замещает партийную организацию и, 'наконец', диктатор заменяет собой ЦК». В 1908 году с Лениным порвала целая группа самых видных большевистских деятелей (А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров, Г. А. Алексинский, Л. Б. Красин, Н. А. Рожков, М. Покровский и др.).

Дальше автор подробно рассказывает о различных оппозициях к Ленину уже после революции. За две недели до октябрьского переворота, 11-го октября 1917 г. (по старому стилю), после того, как ЦК большевистской партии постановил приступить немедленно к организации вооруженного восстания против Времен-

ного правительства с целью захвата власти, два видных члена ЦК, Л. Б. Каменев и Г. Зиновьев, голосовавшие против этого постановления ЦК, разослали главным большевистским организациям за своей подписью письмо такого содержания: — « Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание — значит ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной революции. Нет никакого сомнения, что бывают такие исторические положения, когда угнетенному классу приходится признать, что лучше идти на поражение, чем сдаться без боя. Находится ли сейчас русский рабочий класс именно в таком положении? Нет, и тысяча раз нет...»

А через одиннадцать дней после захвата власти большевиками, когда большинство ЦК партии, под давлением Ленина, высказалось против организации правительства, в котором были бы представлены все социалистические партии, пять членов ЦК. (Каменев, Рыков, Милютин, Зиновьев и Ногин) подали заявление о своем выходе из ЦК. В этом заявлении они писали: « Мы не можем нести ответственность за эту гибельную политику ЦК, проводимую вопреки воле громадной части пролетариата и солдат, жаждущих скорейшего прекращения кровопролития между отдельными частями демократии. Мы складываем, поэтому, звание членов ЦК, чтобы иметь право откровенно сказать свое мнение массе рабочих и солдат и призвать их поддержать наш клич: Да здравствует правительство из всех советских партий. Немедленное соглашение на этом условии».

На другой день, 4-о ноября 1917 г. (по старому стилю) Ногин, Рыков, Милютин, Теодорович, Рязанов и Ю. Ларин сложили с себя звание Народных Комиссаров. В своем заявлении они писали: « Мы стоим на точке зрения необходимости образования социалистического правительства из всех советских партий. Мы полагаем, что вне этого есть только один путь: сохранение чисто-большевистского правительства средствами политического террора... Мы на этот путь не можем и не хотим вступать. Мы видим, что это ведет... к установлению безответственного режима и к разгрому революции и страны. Нести ответственность за эту политику мы не можем и потому слагаем с себя перед ЦИК звание Народных Комиссаров».

С самым ярким протестом в индивидуальном порядке к большевистской фракции ЦИК обратился Лозовский. « Я не считаю возможным во имя партийной дисциплины, — заявлял он, — молчать, когда я сознаю, когда я чувствую всеми фибрами моей души, что тактика ЦК ведет к изоляции авангарда пролетариата, к гражданской войне внутри рабочего класса и к поражению ве-

ликой революции... Я не могу... предаваться культуре личности и ставить политическое соглашение (с другими социалистическими партиями)... в зависимость от пребывания того или иного лица в министерствах и затягивать из-за этого хотя бы на минуту кровопролитие...»

В данном случае Ленин прибег к методу личного воздействия и внушения: он приглашал в кабинет отдельно каждого из членов ЦК и предлагал подписать составленное им заявление. Так создалось ленинское «большинство» — вернее, его партийная «диктатура». ЦК партии, по настоянию Ленина, предъявил оппозиции ультиматум — подчиниться решениям ЦК и, под угрозой исключения отказаться от «саботажа» и «дезорганизаторской работы». И все, один за другим, постепенно капитулировали. Обо всём этом подробно рассказано в книге Дэниельса.

Дальше автор рассказывает о группе левых коммунистов (Бухарин, Пятаков, Осинский, Владимир Смирнов, Радек) уже при советской власти, проповедывавших «революционную войну», когда Ленин шел на сепаратный мир с Германией. Потом идет рассказ о группе Рабочей Оппозиции (Шляпников, Лутовинов, Медведев, Коллонтай и др.), требовавшей продолжения рабочего контроля на фабриках и заводах после того, как Ленин решил установить государственный контроль с единоличным начальником. Автор рассказывает и о тех коммунистах, которые во время гражданской войны предпочитали партизанскую армию, а не созданную Троцким регулярную армию под командованием бывших царских офицеров. Есть рассказ и об оппозиционерах, требовавших расширения демократии в партии. Это — Осинский, Сапронов, Владимир Смирнов. Затем дано подробное описание установок и деятельности левой оппозиции Троцкого, Зиновьева, Каменева и правой оппозиции Бухарина, Рыкова, Томского и, наконец, последней оппозиции — Сырцова-Ломинадзе.

Рассказ о попытках работы оппозиции, о взглядах и требованиях этих групп, о их борьбе и о их ликвидации показывает читателю политическую эволюцию советского государства в сторону тоталитаризма. Профессор Дэниельс рассказывает, как огромное большинство старых коммунистов рано или поздно приходили к заключению, что партия не оправдала их надежд, и как эти люди либо отстранялись властью от всякой работы, либо попросту уничтожались.

Профессор Дэниельс пишет:

«В теории коммунистическая партия, как и советская система была вполне демократична... На деле же, в силу целого ряда

причин, демократия внутри партии быстро превратилась в пустую форму. В условиях партийной жизни, созданных Лениным, при большевистской дисциплине защита точки зрения оппозиции стала невозможной». И как одно из доказательств Дэниельс приводит известную историю оппозиции Мясникова, выступавшего в защиту свободы печати. В феврале двадцать второго года Мясников был исключен из партии. Такая же судьба, — говорит Дэниельс, — постигла и лидеров оппозиционной группы «Рабочая правда», которая открыто агитировала за создание «новой Рабочей партии, чтобы бороться за те демократические условия, при которых рабочие будут в состоянии защищать свои интересы».

Так же как и Ленин Сталин еще в 1925 году на словах признавал право не только членов партии, но и беспартийных рабочих и крестьян открыто критиковать деятельность партии и правительства. На тринадцатой московской партконференции Сталин сказал:

«Вопрос стоит так: либо мы, вся партия, дадим беспартийным рабочим и крестьянам критиковать себя, либо нас пойдут критиковать путем восстаний. Грузинское восстание — это была критика. Тамбовское восстание — тоже была критика. Восстание в Кронштадте — чем же это не критика? Одно из двух: либо мы от своего чиновничьего благополучия и чиновничьего подхода к делу не будем бояться критики и дадим критиковать себя всем беспартийным рабочим и крестьянам, которые ведь испытывают на собственной спине результаты наших ошибок, либо недовольство будет накапливаться, будет нарастать, и тогда критика пойдет путем восстаний».

Так было — на словах. А на деле партия и правительство самым жестоким образом расправлялись со всеми, пытавшимися критиковать политику партии и правительства. Например, на словах Сталин защищал и идею коллективного руководства. Он говорил: «Руководить партией вне коллегии нельзя. Глупо мечтать об этом после Ильича, глупо об этом говорить... Что это значит? Это значит руководить партией без Рыкова, без Калинина, без Томского, без Молотова, без Бухарина. Невозможно руководить партией без товарищей, которых я упомянул». В последующих изданиях этой речи Сталина были упомянуты только имена Молотова и Калинина. Потому что Рыкова и Бухарина Сталин в то время уже расстрелял. А Томский покончил самоубийством.

Так называемой «правой» оппозиции, которую возглавляли Рыков и Бухарин, профессор Дэниельс посвящает больше пятидесяти страниц книги, но крестьянскому вопросу, который был главным пунктом расхождения между правой оппозицией и Сталиным,

он уделил сравнительно мало места. Он рассказывает, что еще в двадцать пятом и двадцать шестом годах Бухарин доказывал, что социализм в деревне может быть введен только путем добровольной кооперации. Что касается Рыкова, то еще до октября семнадцатого года он вел борьбу с Лениным по вопросу о захвате власти большевиками. Рыков не мог быть идейным сторонником сталинизма. И Сталин убил Рыкова и Бухарина так же, как перед этим он убил Зиновьева и Каменева, а Троцкого выслал из СССР. Так Сталин освободился от правой и левой оппозиции в партии.

Причиной поражения всех оппозиционных групп профессор Дэниельс считает отчасти то, что они слишком робко действовали там, где должны были проявить энергию и решимость. Это дало возможность Сталину перебить их по очереди.

Одной из последних оппозиционных групп была группа Сырцова-Ломинадзе. В двадцать девятом году Сырцов был выбран председателем Совета Народных Комиссаров на место Рыкова и на шестнадцатом съезде был выбран кандидатом в Политбюро. В брошюре «О наших недостатках и задачах», изданной в тридцатом году, Сырцов писал: «То, что коммунисты называют опытом, на самом деле представляет собою проявление самоуверенности людей, не знающих, что они творят; они действуют по правилу: попробуем, что из этого выйдет, а если жизнь ударит по лбу, то убедимся, что надо было сделать иначе». В 1936 году, в ожидании ареста, Ломинадзе покончил с собой, а арестованный тогда Сырцов бесследно исчез. Оппозиционные группы в разное время принимали друг друга за настоящих врагов и, борясь друг с другом, облегчали этим Сталину задачу справиться с ними со всеми. Но главная причина поражения оппозиции была, конечно, в том, что все эти оппозиционеры были ленинцами, то есть сторонниками демократии только для партии. Только уже в изгнании, незадолго до смерти, Троцкий признал, что в СССР необходимо подготавливать почву для существования двух, а может быть, даже четырех партий. В случае нового переворота в СССР, — говорил Троцкий, — народные массы, наученные горьким опытом, никогда не допустят опять диктатуры одной партии. И еще раньше Мясников — тоже за границей, в изгнании, — в тридцать первом году, писал: «Только многопартийная форма управления служит гарантией против захвата власти одной партией и превращения ее из слуги народа в его повелителя, эксплуататора и поработителя».

В книге есть немало и ошибок. Некоторые из них я считаю нужным отметить. На стр. 38 автор пишет: «Между 1905 и 1917 гг. теория перманентной революции или родственных идей чем далее, тем более стали популярны в левых кругах внутри

русского марксистского движения». Это чистая фантазия. После окончательного поражения революции в 1907 г. даже Парвус и Троцкий, авторы теории «перманентной революции», больше о ней не упоминали. На странице 41 автор пишет, что так наз. «межрайонная» с. д. организация в Петербурге («межрайонка») была меньшевистской организацией. В действительности в эту организацию входили, главным образом, большевики, отколовшиеся от ленинской организации, и бывшие меньшевики, ставшие во время войны «левыми интернационалистами» и на три-четверти большевиками. Все они, еще до захвата власти большевиками, и примкнули к Ленину. На странице 42 автор называет Н. Н. Суханова меньшевиком. На самом деле Суханов за весь период февральской революции был беспартийным крайне левым социалистом и был в явной оппозиции как к Временному правительству, так и к меньшевистско-эсэровскому большинству Совета. Лишь после разгона Учредительного собрания и закрытия всех умеренно-социалистических газет и преследования правых социалистов, когда во главе РСДРП стали левые «интернационалисты», руководимые Мартовым, Суханов вступил в РСДРП, но вскоре покинул ее ряды. Газету Горького «Новая жизнь» проф. Дэниельс называет органом «левых меньшевиков». На самом деле «Н. Ж.» до большевистского переворота была органом правых большевиков и левых «интернационалистов». Ни сам Горький, ни его главные сотрудники — В. Базаров, Б. Авиллов, Н. Строев-Десницкий, Ст. Вольский, Н. Суханов — никогда не были меньшевиками. Все они за исключением Суханова, были большевиками, но антиленинцами. На странице 69 автор называет Луначарского, Рязанова и Лозовского «бывшими меньшевиками». В действительности никто из них никогда не был меньшевиком. Несмотря на то, что книга Дэниельса вышла через два года после опубликования в Англии и в Соединенных Штатах документов германского министерства иностранных дел о германо-большевистском заговоре 1917-1918 гг., полностью подтверждающих обвинения, предъявленные в июле 1917 г. Временным правительством Ленину и другим большевистским лидерам, проф. Дэниельс называет документы Временного правительства «знаменитой фальшивкой к которой приложил руку бывший большевик Алексинский». Автор здесь заблуждается. Обвинения Ленина и его партии в получении ими больших сумм от правительства Вильгельма II на разложение русской армии и на свержение Временного правительства надо теперь считать точно доказанными. Дэниельс также продолжает отрицать, что большевики в июле 1917 г. пытались захватить власть в Петербурге, хотя сами большевики уже давно признали этот факт.

Название книги «Совесть революции» тоже представляется нам неудачным. Совестью русской революции были те деятели и участники революции 1917 г., которые боролись за торжество в России идеалов просвещенной свободы, действительного народовластия и социальной справедливости и которые до конца остались верны этим идеалам. Большевиков же, включая и бывших в оппозиции к Ленину и Сталину, никак нельзя назвать **совестью** революции. Но несмотря на многие ошибки и недостатки, книга проф. Дэниельса всё же очень ценный и полезный труд. В заключение своей книги проф. Дэниельс пишет: — «История советского коммунистического опыта это непрерывная цепь предательства и извращения великих идеалов... Совесть революции, олицетворением которой могли бы быть оппозиционные коммунистические группы, не смогла действительно проявить себя... Коммунизм, по существу, стал движением, действующим при помощи насилия, обмана и жестокого контроля. Коммунизм — это милитаризованная индустриализация, опирающаяся на непререкаемую догму». С этим нельзя не согласиться.

Д. Шуб

ДВЕ КНИГИ О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Л. Т. ОСИПОВА. ЯВНОЕ РАБСТВО И ТАЙНАЯ СВОБОДА. Заметки о советской литературе. Изд. ЦОПЭ, Мюнхен, 1960.

ABRAHAM YARMOLINSKY. LITERATURE UNDER COMMUNISM. Indiana University Research Center, 1960.

«Заметки о советской литературе» Л. Т. Осиповой, по сути дела, — отрывки задуманной, но не доведенной до конца истории советской литературы. Н. Осипов, автор вступления к книге, подводит читателя к мысли, что, если он такой истории у Л. Т. Осиповой не найдет, то всё же найдет основные идеи, без которых правдивое описание развития советской литературы немыслимо.

Насколько это верно? У книги Л. Т. Осиповой есть немало достоинств, но есть и серьезные недостатки. «Трагическую сторону явления, именуемого советской литературой, она ощущала очень остро», — пишет автор вступления. Это бесспорно, и это оправдывает факт публикации пусть фрагментарной, а местами и противоречивой книги.

Нельзя также не отметить исключительной начитанности автора. Л. Т. Осиповой использован большой фактический материал. «Природа советской литературы двойственна, — пишет Осипова. — Она лжива по самому своему замыслу, и в ней есть элемент правды. Она сознательно служит злу и бессознательно иногда добру. Она является одновременно орудием советской власти и ее врагом. Советские авторы верно изображают советского человека и в то же время допускают в его изображении страшнейшую фальшь». Уменьше Л. Т. Осиповой выявить эту двойственность советской литературы на конкретных и убедительных примерах следует причислить к достоинствам книги. К числу же недостатков книги я бы отнес, например, то, что автор нередко выдает прописные истины за некое откровение. Совсем, к примеру, не ново, что история советской литературы есть история явного духовного рабства и тайной творческой свободы. Эту мысль можно найти у всех писавших о советской литературе. Родоначальником ее надо признать Александра Блока (впервые он высказал это в своей знаменитой речи «О назначении поэта», опубликованной в третьем номере «Вестника литературы» за 1921 год). Не секрет также и то, что тайная свобода, переставая быть достоянием печатной литературы, сохранялась в советской жизни «подпольно». И совершенно непонятно почему Л. Т. Осипова говорит обо всем так, будто открывает дотоле неизвестное. Это несомненно снижает ценность «Заметок». Удивляет и настойчивое желание автора представить всю советскую литературу своего рода альбомом «загадочных картинок», которые кроме Осиповой никто разгадать не может.

Л. Т. Осипова часто говорит, что для правильного понимания советской литературы необходим многолетний опыт непосредственного общения с советской действительностью. Тот, у кого такого опыта нет, по мнению Л. Т. Осиповой, «решительно ничего в советской литературе не поймет». Никаких исключений в этом смысле автор «Заметок» не делает. Поэтому старым эмигрантам и иностранным исследователям не рекомендуется подходить к советской литературе на близкое расстояние.

Но вот у Авраама Ярмолинского, автора вышедшей по-английски книги «Литература при коммунизме», многолетнего опыта непосредственного общения с советской действительностью нет. Тем не менее его работа служит наглядным опровержением ошибочного утверждения Л. Т. Осиповой. Из появившихся за последние годы исследований о советской литературе, книга Авраама Ярмолинского «Литература при коммунизме» принадлежит к числу наиболее умных и глубоких. В состоящей из двенадцати глав работе Ярмолинский обстоятельно анализирует советскую литера-

туру — в связи с политикой партии — с конца второй мировой войны до смерти Сталина. Все его выводы опираются на хорошо подобранный и документально обоснованный материал.

В отличие от Л. Т. Осиповой, которая сажает читателя на школьную скамью и тоном строгой учительницы сразу же дает ему понять, что он недоучка, не разбирающийся в предмете, Ярмолинский предлагает читателю делать самостоятельные выводы из интересно поданного и хорошо проверенного материала.

На наш взгляд это более правильная методологическая установка, с помощью которой можно выяснить, и объяснить многое. В частности, научное изучение международных связей современных литератур отчетливее выявило бы провинциальный характер советской литературы. Ведь в Советском Союзе писатель и сейчас остается либо бытовым наблюдателем, либо «лакировщиком действительности», либо фальсификатором культуры современного Запада.

Таких далеко идущих выводов А. Ярмолинский в своей книге «Литература при коммунизме» не делает. Но книга его ценна тем, что дает исследователю достаточно прочную точку опоры, чтобы такие выводы сделать. Тем более, что Ярмолинский, будучи исключительным знатоком русской классической литературы, особенно остро чувствует моральное и художественное падение литературы советской, если последнюю сопоставить с русской классической. «Заметки» же Л. Т. Осиповой можно рассматривать, как ценную «копилку» добротного вспомогательного материала.

Вяч. Завалишин

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- РОДИОН БЕРЕЗОВ. *Золотая Ракета*. Рассказы. USA. 1956.
- ПАВЕЛ ФИДЛЕР. *Приглашенный на пир*. Париж. 1960.
- БАРБАРА УОРД. *Пять идей, которые меняют мир*. Перевод с англ. Из-во Ф. А. Прегер. Нью Йорк. 1961.
- ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. *Десять лет*. Стихи. Из-во имени И. Яссен «Рифма». Париж. 1961.
- Л. Т. ОСИПОВА. *Явное рабство и тайная свобода*. Заметки о советской литературе. Изд. ЦОПЭ. Мюнхен. 1960.
- ПРОФ. А. Д. БИЛИМОВИЧ. *Экономический строй освобожденной России*. Изд-во ЦОПЭ. Мюнхен. 1960.
- КН. А. В. ОБОЛЕНСКИЙ. *Мои воспоминания и размышления*. Издание «Родные Перезвоны». Брюссель. 1961.
- ПРОФ. ПРОТ. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ. *Н. В. Гоголь*. УМСА-Press. Париж. 1961.
- БОРИС ЗАЙЦЕВ. *Москва*. Изд-во ЦОПЭ. Мюнхен. 1960.
- М. М. НОВИКОВ. *Великаны российского естествознания*. Изд-во «Посев». 1960.
- А. КАШИН. *Советско-китайские отношения*. Изд-во ЦОПЭ. Мюнхен. 1961.
- К. Д. КПСС *под маской философии*. Изд-во ЦОПЭ. Мюнхен. 1961.
- ИГОРЬ ЧИННОВ. *Линии*. Вторая книга стихов. Изд-во «Рифма». 1960.
- THE AMERICAN BIBLIOGRAPHY OF SLAVIC AND EAST EUROPEAN STUDIES for 1959 Vol. 21. Bloomington. 1960. Indiana Univ. Publ.
- JOHN F. O'CONNOR. *Cold War and Liberation*. Vantage Press. USA. 1961.
- DAGOBERT D. RUNES. *Letters to my Teacher*. New York. 1961.
- URIEL ZIMMER. *Torah-Judaism and the State of Israel*. Jewish Post Publication. London. 1961.
- REUWEN MICHAEL. *M. Jost und sein Werk*. Publikationen des Leo Baeck Instituts. Sonderdruck. Tel Aviv. 1960.

- ARAMAIS HOVSEPIAN. *Your Son and Mine*. Murray and Gee, Inc. Culver City 1950.
- IVAN TURGENEV. *Fathers and Sons*. Translated by George Reavey. With a Foreword by Alan Hodge. New American Library of World Literature. N. Y. 1961.
- JAN M. YARKOVSKY. *It Happened in Moscow*. Vantage Press, Inc. N. Y. 1961.
- BIBLIOGRAPHY OF THE WRITINGS OF W. S. WOYTINSKY. Prepared by Emma S. Woytinsky. Washington, D. C. 1961.
- Л. РЖЕВСКИЙ. *Показавшему нам свет*. Оптимистическая повесть. Изд. «Посев». Франкфурт на Майне. 1960.
- ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ. Альманах II. Редактор-издатель Р. Н. Гринберг. Нью Йорк. 1961.
- ANNALI. *Sezione Slava*. III. Istituto Universitario Orientale. Napoli. 1960.

КНИГА 57-я: Из литературного наследства И. А. Бунина. *Николай Туроверов* — Степь. *Вл. Корвин-Пиотровский* — Два рассказа. *Г. Евангулов* — Кентавр, поэма. *А. Кашин* — В стране дракона. *Ю. Иваск* — Я уеду в Юкатан. СТИХИ: *А. Величковский, А. Гингер, О. Ильинский, С. Лифтон, А. Присманова, Вл. Смоленский, Л. Страхковский, И. Чиннов.* ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: *Н. Берберова* — Набоков и его «Лолита». *Н. Ульянов* — Арабеск или Апокалипсис? *П. Ершов* — «Анатэма» Л. Андреева. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *С. Бертенсон* — Письма О. Л. Книппер-Чеховой. *К. Штепла* — В плену коммунизма. *Н. Алексеев* — В бурные годы. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *М. Вишняк* — Заключительное слово. *Д. Шуб* — Ленин и Вилгельм II. *Ю. Денике* — Партия без идеологии? *М. Карпович* — К друзьям и читателям «Нового Журнала». ПАМЯТИ УШЕДШИХ: *Ю. Д.* — *И. Г. Церетели.* БИБЛИОГРАФИЯ: *В. Сечкарев* — D. Tschizewskij. Das Heilige Russland. *Е. Каннак* — Rose Celli. L'art de Tchekhov. *Н. Лосский* — С. Левицкий. Трагедия свободы. *Е. Каннак* — Раиса Блох и Михаил Горлин. Избранные стихотворения. *Р. Плетнев* — Н. Арсеньев. Преображение мира и жизни. *М. Вишняк* — Из истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 1917-21 г.г. *Письма в редакцию.*

КНИГА 58-я: *А. Керенский* — М. М. Карпович. *Г. В. Вернадский* — М. М. Карпович. Памяти друга. *Фируз Каземзаде* — М. М. Карпович. Памяти учителя. *М. Вишняк* — М. М. Карпович — политик. Роман *Гуль* — М. М. Карпович — человек и редактор. *М. Карпович* — К друзьям и читателям «Нового Журнала». Из литературного наследства И. А. Бунина. *Н. Берберова* — Черная болезнь. *Иван Елагин* — Небо. *Гайто Газданов* — Судьба Саломеи. СТИХИ: *Георгий Иванов* — Посмертный дневник. *А. Величковский, Ирина Одоевцева, Ек. Таубер, А. Туроверов, Николай Туроверов, Вл. Корвин-Пиотровский, С. Лифтон, Ю. Трубецкой.* ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: *И. Одоевцева* — Николай Моршен. *Вяч. Завалишин* — Николай Заболоцкий. *Г. Адамович* — О чем говорил Чехов. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *К. Штепла* — Ежовщина. *Письма Марины Цветаевой к Роману Гулю.* ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Прот. В. Зеньковский* — Памяти Гоголя. *М. Вишняк* — Ревизия социализма. *М. Поливанов* — Русский социализм и русское земство. БИБЛИОГРАФИЯ: *Н. С. Тимашев* — The Soviet Citizen by A. Inkeles and R. Bauer. *Ек. Таубер* — Роман Гуль. *Азеф. Зоя Юрьева* — С. В. Бенз. Дьявол и Даниель Вебстер и др. рассказы. *М. Поливанов* — Проф. А. Боголепов. Церковь под властью коммунизма. *В. Булгакова* — Stanislavski's Legacy by E. Reynolds Hargood. *В. Варшавский* — Воздушные пути. *И. Одоевцева* — Е. Рубисова. Нью Йорк. *К. Соллицев* — The Kilgour Collection of Russian Literature.

КНИГА 59-я: Из литературного наследства И. А. Бунина. Г. Газданов — Панихида. Георгий Иванов — Посмертный дневник. Б. Темирязев — Рваная эпопея. И. Чиннов — Пять стихотворений. Эк. Таубер — Сосны молодости. Н. Берберова — Шесть стихотворений. С. Маковский — К. Случевский, предтеча символизма. Г. Адамович — Отрывок. Н. Нароков — Оправдание Обломова. С. Маковский — Requiem. Л. Фогельман — Шолом Алейхем. О. Можайская — Три стихотворения. Н. Ульянов — Д. Кленовский. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: В. Муромцева-Бунина — Беседы с памятью. К. Штеппа — Ежовщина. Н. Нижальский — Фарт. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Тимашев — М. М. Карпович. Г. Вернадский — Повесть о Сухане. С. Левицкий — Толстой и Шопенгауер. Б. Двинов — Назад к Ленину? Е. Петров-Скиталец — Кронштадтский тезис сегодня. А. Давыдов — Декабристы и крестьянский вопрос. Ю. Денике — Вместо комментария. Прот. А. Шмеман — Церковь, государство, теократия. СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: А. Вельмин — Американская помощь голодающим в Киеве. БИБЛИОГРАФИЯ; Роман Гуль — В. Дудинцев. Новогодняя сказка. А. Гольденвейзер — Г. Адамович. В. А. Маклаков. В. Франк — F. Stepun. Der Bolschewismus und die Christliche Existenz. Б. Прянишников — Б. Тельпуховский. Великая отечественная война СССР 1941-45 г.г. О. Анстей — Ю. Лавриненко. Розстріляне відродження. В. Завалишни — Мосты. В. З. — Странник. Странствия. З. Юрьева — А. Slonimski. Nowe Wiersze.

КНИГА 60-я: Прот. А. Шмеман — Умер Пастернак. Из литературного наследства И. А. Бунина. Вл. Корвин-Пиотровский — Два рассказа. Николай Моршен — Ямбы. Б. Темирязев — Рваная Эпопея. Ирина Одоевцева — Стихотворение — Лидия Алексеева — Три стихотворения. В. С. Яновский — Заложник. Олег Ильинский — Стихотворения. Г. Адамович — Мои встречи с Алдановым. Н. С. Трубецкой — О двух романах Достоевского. Ю. Иваск — Бодлер и Достоевский. Сергей Бертенсон — В. И. Немирович-Данченко в Холливуде. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: В. Н. Муромцева-Бунина — Беседы с памятью. Эк. Брешковская — Ранние годы. К. Ф. Штеппа — Ежовщина. Н. Нижальский — «Кавказский пленник». Письма М. О. Гершензона к В. Ф. Ходасевичу. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. С. Тимашев — Вместо комментария. Ф. Степун — Москва — Третий Рим. М. Карпович — Два типа русского либерализма. СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: Из детства В. М. Чернова. Н. А. Бердяев и В. А. Тернавцев. БИБЛИОГРАФИЯ: Роман Гуль — «Культура», русский номер. Д. Шуб — Книга о русском еврействе. Роман Гуль — Е. А. Извольская. Американские святые и подвижники. В. В. — I. D. Levine. The mind of an Assassin. P. Плетнев — Об одном чешском поэте. Книги для отзыва.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ
ПЛАЧ О ЕСЕНИНЕ

Поэма

Изд-во «Мост»

Цена 1 дол.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ
1943-1958
СТИХИ

Вступительная статья Романа Гуля

Издание «Нового Журнала»

Цена 2 дол.

А. И. ГЕРЦЕН
НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА
к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати Л. Л. Домгер

Издание «Нового Журнала»

Цена 1 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ
СКИФ В ЕВРОПЕ

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост»

Цена 2 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ
АЗЕФ

Исторический роман

Издательство «Мост»

Цена 3 д. 50 ц.

Эти книги можно заказывать в редакции «Нового Журнала». Можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового Журнала» за исключением № 1 и № 3. До № 25 книги стоят 2 дол. (10 цент. пересылка), начиная с книги № 26 — 2 дол. 25 цент. (10 цент. пересылка).

“Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1961 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.

Во Франции — 8 франков.



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня
